
Юрий КАЗАКОВ
ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ



Юрий КАЗАКОВ

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Рассказы

Москва
«Современник»
2000

УДК 882-32Каз
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К14

Серия «Золотое перо России» основана в 2000 году

Федеральная программа книгоиздания России

Составитель *Т. М. Судник*

В оформлении переплета использована пастель художника *С. А. Куприянова* «Купола. Переделкино» (1978)

Казаков Ю. П.
К14 Во сне ты горько плакал: Рассказы / Сост. Т. М. Судник. — М.: Современник, 2000. — 447 с. — (Золотое перо России).
ISBN 5-270-01312-6

Юрий Казаков — продолжатель традиции Тургенева, Чехова, Бунина, Пришвина, писатель «пронзительного таланта» (К. Г. Паустовский). Он был мастером рассказа, рыцарски преданным этому жанру, где, как он говорил, «миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». Его творчество неразрывно связано с путешествиями по Росиии: он любил Север, Беломорье, Соловки, десятки верст прошел пустынным морским берегом от селения к селению, плавал на рыболовецких судах, выходил на зверобойный промысел в Карское море, бывал на Валдае, подолгу жил на Оке, ездил на Смоленщину — родину своих предков... Очарованный вечной красотой русской природы, не переставая удивляться «великому, непостижимому множеству судеб, горя и счастья, и любви, и всего того, что мы зовем жизнью», он создавал неповторимый мир своих рассказов. И они по праву вошли в золотой фонд русской классики.

УДК 882-32Каз
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-270-01312-6



ТИХОЕ УТРО

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила корову и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя, спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого заморыша, хотел места рыбные ему показать — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»!

— Для кого рано, а для кого не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А калоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да... — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене. — У вас там, в Москве, небось босиком не ходят...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое, насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой, пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом. На что уж Колька да Женька Воронковы — рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыплют! А этот... пришел вчера, вежливый... «Пожалуйста, пожалуйста...» Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал, идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло за-

смеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается, они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал Яшкиному загару и его походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком.

Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка.— Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью, вытащил тяжелую бадью с водой и жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

— Законная! — отозвался Володя и поежился.

— Небось в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал...

У Володи заблестели глаза.

— Большой?

— А ты думал! Метра два... А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал, крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

— Я вру? — Яшка изумился. — Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

— А чего... — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится... Скоро заведется... Слушай. Вово... Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Кос-

тылев — всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... когда чисто. А когда попоздней, к сентябрю поближе, глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

— Гм... Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только... кошке.

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это? Это ути летят... Чирочки.

— Ага... знаю. А это что?

— Дрозды звенят... На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

— Никогда не ловил...

— У Мишки Каюненка сетка есть, вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие... По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут... Потешные они... Не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила.

Деревня скоро осталась позади, бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом, пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и

кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянули над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизал пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черной, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то, что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

— Тут, знаешь, глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так всё... Вода как лед и вниз утягивает. Мишка Каюненок говорил, там осьминоги на дне лежат.

— Осьминоги только... в море, — неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— В море... Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит, из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бег! Хотя, наверно, он врет, я его знаю, — несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же за-

кинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепетывал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах.

Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянула бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой... Один ловишь или с настоящим рыбаком, только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и,

чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновенье рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилища в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ешь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось...

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо.

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа...» — и упал в воду.

— Дурак! — закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!..

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: «Уаа... Уаа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли и, вытирая липкую руку о штаны, чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна. Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке, с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него и по-прежнему выдавливал из себя нечеловечески страшные звуки: «Уаа... Уаа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил его ногой в живот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с волос воду яркий сплющенный шар солнца, чувствуя еще на себе тяжесть Володи, оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И, только ухватясь рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности. Из глубины весело выскочили несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы. Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно горела паутина между цветами, и трясогузка сидела наверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и все было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно случилось страшное — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его.

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно оно последовало за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер», — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страш-

но. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватало сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве. Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюненок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет.

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами. — Ты уто-о... утопа-ать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, и сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Ка... как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу. Светило солнце,

пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. И запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

1954



НА ПОЛУСТАНКЕ

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. — Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру...

Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?

— Ну-ну... — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну, хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. — Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну, брось! — сказал парень.— Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка. — Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

— Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась лицом парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. — Вася! Поцелуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завыла по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой.

— Скоро и я уеду... — забормотал он — На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти — как их? — кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

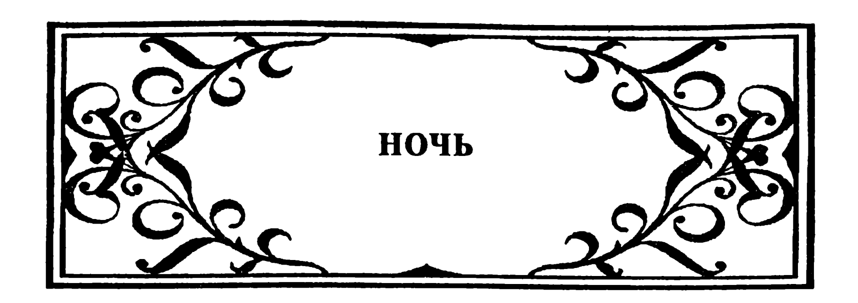
И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954



НОЧЬ

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу — я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стукнул обухом топора по дереву. Далеко впереди на другой стороне реки яркой точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты: вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, и мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стукались плывущие по воде бревна, появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и за-

растающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: «оооо... аааоо...», — но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой запутанной нитью. «Кто это? — думал я. — Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником, человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра.

— Кто тут? — вполголоса испуганно спросил он.

— Охотник, — ответил я, подходя к костру. — Не бойтесь...

— А я и не боюсь. — Он сделал равнодушное лицо. — Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

— За утями идете?

— Да вот хочу на озеро пройти, — сказал я, снимая ружье.

— Это на какое же?

Я объяснил.

— Ну, тут близко! — успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался.

— Это не вы сейчас кричали? — спросил он немного погодя.

— Нет... А что?

— Не знаю, кричал кто-то... Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

— Семен, Семен! — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос. Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

— Ну что? — лениво спросил Семен.

— Ой, Семен! Сидит ктой-то! — Мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. — На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там — ходит!

— Врешь!

— Большая рыбина ходит! — И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: «Я сейчас!», пропал в темноте. Мальчик некоторое время, не моргая, смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту — только ноги затопотали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

— Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

— Одну я вытащил, — прошептал мальчик и, потупившись, стал теребить пуговицу на телогрейке.

— Но-но! — веско произнес Семен и зловеще замолчал. Мальчик засопел и еще больше смутился.

— Брат мой, — отрекомендовал мне его Семен. — Лешка. Вы не глядите, что он тихий, — притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

— Что? — Семен широко открыл глаза. — Что ты сказал?

— Ничего... — испугался Лешка.

— Смотри у меня! — Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо, блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись. Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался

— Не курите, значит? — сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу. Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

— Идет ктой-то, — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

— Ерунда! — сказал Семен и покосился на мое ружье.

Несколько секунд прошли в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

— Медведь, наверно, — прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

— Полуношничаем, рыбаки? — неожиданно громко раздался хрипловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем. Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно покряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

— Ах, будь ты неладна, — бормотал он. — Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? — снова обратился он к нам и поднял голову. — Э-э, да тут знакомые! — Он улыбнулся ребятам. — Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешку. Тот фыркнул.

— Маловато, Петр Андреич, — смущенно заулыбался Семен. — Разве вот под утро что будет...

— А ну, покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

— А, стерлядки, — с удовольствием выговорил Петр Андреевич. — Ну и хорошо. Мелковаты только.

— Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

— А конешно, — охотно согласился Петр Андреевич и задумался. Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках, губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб — шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жестокого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом, из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

— А вы что, или на Суглинки идете? — спросил вдруг Семен.

— А? — вздрогнул Петр Андреевич. — На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

— А то ваш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

— Двух щук поймал на дорожку, — вставил Леша. — Бо-ольшие щуки.

— Это Попов-то? — спросил Петр Андреевич. — Ну, ему хорошо — он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полевее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

— Около Овшанки? — задумчиво переспросил Семен. — Нет, в тех краях не был я... Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

— Не знаешь, перевозчик у себя? — спросил Петр Андреевич.

— У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

— Это рябенькая такая?

— Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

— Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, — усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гуляние. — Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? — обеспокоился вдруг

он. — Не повезет, пожалуй, а? А то — повезет, да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

— Кто ее знает, — сказал он неуверенно. — Да вы лодку-то сами отвяжите да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

— А и верно! — Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог.

— А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, — только трыкнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусок бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.

— Вы на что ловите-то? — невнятно спросил он.

— На подонник, — быстро ответил Семен. — На миногу.

— На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю, на той стороне волки воют. Не слыхали? Подрос, видно, молодняк-то.

— У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мемекнула — и готова! А он через огород да в поле, да полем, полем в лес... Дядя Федор с топором выскочил, глянул да как топором в стенку саданет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может...

— Это верно, было такое дело, — подтвердил Семен. — А то еще было: иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смерклось... Та́к только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем — знаете? — и будто кто меня толканул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу, возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу, и по́том ошибло. Думал — конец, но обошлось. Не тронули.

— Летом они к человеку смирные, не трогают, — уверенно сказал Петр Андреевич.

— Дядя Петь... — начал Леша, взглянул на нас и улыбнулся. — А ведь мы на вас думали — медведь! Идет похрястывает...

— Кто думал-то? — Семен пожал плечом. — Сам думал, так на других не вали.

— Нет, ребятки, — улыбнулся Петр Андреевич. — Медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по

ночам бродит? Только медведи да охотники... Тоже охотник? — обратился он ко мне. — Может, места здещние не знакомы вам, так пойдемте со мной. Не хотите? Ну-ну... Конешно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды, протянул широкую темную ладонь Семену.

— Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет. Да! Ведь я слыхал тебя прошлый раз в клубе-то... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони, хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь все телом, зевнул и потер глаза.

— Спать охота, — заявил он.

— Ну и спи. — Семен почесал брата за ухом. — Спи.

— Да, — Леша недоверчиво улыбнулся. — А сам утром пойдешь проверять и не разбудишь.

— Да разбужу, вот чудашка!

— Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала, или так что померещилось...

— Лешка! — встрепенувшись, сказал Семен. — Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушняку. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

— Гляди, лопнешь, — серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

— Да так, вообще... — пробормотал он.

— Он у нас всякую музыку сочиняет, — охотно сказал Леша. — У нас в школе даже два раза играл и в клубе...

— Ну? — повернулся к нему Семен. — Дальше что?
— Ничего...
— Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

— Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

— Ему батя баян купил, — опять не вытерпел Леша. — Он знаете как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

— Это верно, — подтвердил Семен и вздохнул. — Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть, и сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой — там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкусу нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, как вот река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну, совсем не могу — и начинаю по-своему перекладывать...

Он вдруг подозрительно вгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук:

— У меня мечта есть... Сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком — хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают, поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки все свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают, и все вместе играют громче и громче: «ту-ру-рум, та-та-та...» И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые, как колокольцы, звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат

опять же одни скрипки, долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

— А еще, — продолжал он, — надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо, чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу, на сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а засну — часто такая музыка играет! Проснусь — все хочу вспомнить, и не вспомнишь... Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фадиез»...

Семен замолчал, смущенно улыбнулся и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звездную тишину, пронеслось по реке.

— Эге-геее... — донесся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

— Эге-геее...

— Сплавщики голос пробуют! — облегченно засмеялся Семен. — Правда, здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слыхать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «тииу, тииу, тиииу».

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

— Лешка боится, а я нет, — улыбнулся Семен. — Скучно, правда, одному, а так — хорошо!

— Никого я не боюсь! — сказал вдруг громко Лешка и прищурился.

— Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

— Народ здесь сильный ужасно, — снова начал он. — Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал? А он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на мое ружье.

— А ты сам стрельни, — ответил я, подавая ему ружье.

— Баловство! — недовольно сказал Семен. — Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леши, острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пень невдалеке и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

— Погоди! — строго остановил его Семен. — Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

— Давай! — скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пень с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

— Да скоро ты... — не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леши подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрещали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

— Здорово! — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. — Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробин, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу, эх, и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу — направо рябчики, тетери, глу-

хари, налево — озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Чикого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно:

— Семе-ен...

— Ну? — Семен с удивлением посмотрел на брата.

— Семен, возьми меня-я... — тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

— Как? Взять? — с сомнением спросил меня Семен.

Большие мокрые глаза Леши тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

— Взять? — снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу. Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.

— Возьмем! — решил я наконец.

Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

— Ага! — торжествующе закричал он. — А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой мину-

той все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-ре-ку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти — взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

— Аааа... Оооаа... — дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стукает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

1955



НЕКРАСИВАЯ

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, от того, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют, и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей

было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее, темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось, как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда — на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну, довольно! — говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. — Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Что такое? — громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

— А! — пьяно сказал он. — Это вы? А я... на огороде... был. — Он качнулся и прижался к ней. — На свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он. — А! Убью!

Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался

— Вам плохо? — испуганно спросила Соня. — Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь? — тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то? — спросил он, вернувшись. — Обидел кто? — У Сони благодарно забилось сердце. Она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! — Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный! — с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да! — Николай тер себе рукою лицо. — Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

— Ну расскажите же что-нибудь, — попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать?.. — хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите! — шептала она, вырываясь. — Пустите!

— Тихо! — говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. — Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня? — бормотал Николай. — У, собака!

— Не надо, Коля, не надо! — сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну ладно... — сказал он. — Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда? — спросила шепотом Соня, вся дрожа.

— Часов в семь. Ладно?

— Приду...

— Ага... — Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком. — Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! — подумала она и вздрогнула. — Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки! «Придет, не придет...» Вышло — не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась,

когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутом на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

— Благополучно вчера дошли? — спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

— Нормально... — Николай зевнул и снял пиджак. — Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший, — мягко сказала Соня.

— Чего еще! — Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет, — заметила Соня, покорно приникая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднеет, пойдем в горох, а? — Николай мотнул головой куда-то вправо. — Там шалаш есть. Пойдешь?

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх, — воскликнул вдруг Николай. — Спать охота! Ну-ка дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый! — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть:

— Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

— Ну, ну... — забормотал он. — Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел — гад буду! Это по работе — привыкнешь.

— Нет, не по работе, — уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. — А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

— Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

— Что это вы ругались вчера? — спросила Соня после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят, — сказала Соня.

— А! — Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. — Знаю я ихнюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. — Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите? — упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... — Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугунной силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

— Коля... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, — сказала она еле слышно.

— Обожди! — Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени.

По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

— Эй, — крикнул Николай.

— Зачем вы, Коля! — шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

— Куда это? — опять крикнул Николай.

— На гулянку. А кто это? Никак, Николай!

— Он самый. Где гулянка-то?

— В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

— Погодите! — крикнул он вдруг. — И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

— Ну, пока! Еще когда повидаемся... — Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: «топ-топ-топ»...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

— У-у! — сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. — У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира: и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров — и

почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами!

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» — задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

1956



ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

1

— Лиля, — говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать — танцевать я не умею, — я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще

медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго. Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали

на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощание. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улицу. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лиля, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос.

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лиля.

Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из

ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудно́е платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто тысяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делают-

ся темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга, я читаю ее, и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадается длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том Энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подо-

лгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, — мне купили его, когда я окончил девять классов, — и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают

совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удается услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют — и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки.— Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигаешь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильней блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего

не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лиля краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурок на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и напиться чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

— Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она.— А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

— Ерунда! — опять повторяю я.— Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

— Да?

— Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слыхали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нащупываю в

кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то сзади. — Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да? — спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня? — Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля.— Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздается вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча, в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-

то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрей, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со всей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — всё, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать Май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к Маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей — не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не

пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить Май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить Май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у Телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у Телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо по середине идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша, — говорит Лиля. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на пар-

ня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну, как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?.. Ах, ты про вчерашнее? — Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня.— Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну, мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах, да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в Консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядыва-

лась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй.— Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами, — совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

6

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит

прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лиля внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, это счастье.

Лиля смеется.

— Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом, я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала?

— Да, я помню. — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменилось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

— Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся

внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют. Наверно, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и томна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

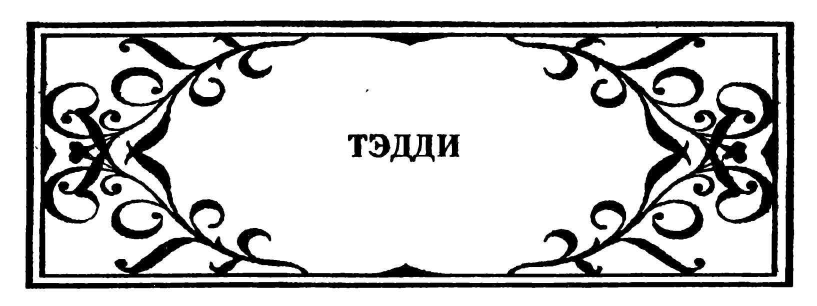
Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это всё сны. Сны, сны... Непрошеные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, Господи, как я не хочу снов!

1956

3 Во сне ты горько плакал



ТЭДДИ

1

Большого бурого медведя звали Тэдди. У других зверей тоже были имена, но Тэдди никак не мог запомнить их и постоянно путал и только свою кличку знал твердо, всегда откликался и шел, если его звали, и делал то, что ему говорили.

Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счет потерял дням. Его по привычке держали в клетке, хоть он давно уже смирился и в клетке не было необходимости. Он стал равнодушен ко всему, ничем не интересовался и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но он был старым опытным артистом, и в покое его не оставляли.

Вечером его выпускали на ярко освещенный манеж, посередине которого не торопясь расхаживал высокий человек с бледным лицом. На человеке были белые панталоны, мягкие черные сапоги и лиловая куртка с нашитой спереди золотой тесьмой. И панталоны, и куртка, и бледное равнодушное лицо человека всегда производили на Тэдди сильное впечатление, но больше всего медведь боялся его глаз.

Когда-то давно несколько раз Тэдди поднимал свой страшный звериный бунт. Он тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми жестокими мерами нельзя было его успокоить. Но приходил человек с бледным лицом, становился возле клетки, смотрел на Тэдди, и каждый раз под его взглядом медведь покорно стихал и через час уже позволял выводить себя на репетицию.

Теперь Тэдди уже не бунтовал и послушно проделывал всевозможные неловкие и ненужные, часто даже неприятные штуки, и человек в белых панталонах давно уже не грозил ему взглядом, а когда говорил о медведе, то называл его не иначе как «старый добрый Тэдди»,— и в голосе его слышалась ласка.

В кожаном наморднике выходил Тэдди на манеж, кланялся зрителям, которые встречали его радостным шумом. Ему подавали велосипед, он задирал через седло ногу, отталкивался и, сильно нажимая на педали, крепко вцепившись в руль, ездил кругами по манежу. Громко играла музыка, а зрители смеялись и хлопали в ладоши.

Он умел делать еще несколько забавных штук: быстро перебирая лапами, катался на круглых чурбаках, подымался и балансировал на тонкой металлической планке, дрался в надетых на передние лапы перчатках с другим медведем, черным и маленьким. Тэдди был лишен чувства юмора, вернее, юмор его был другим, звериным, и он не понимал, почему так веселятся все эти люди, когда он с отвращением проделывает свои неудобные и неприятные штуки.

По ночам медведь часто не спал. В коридоре тускло горела маленькая лампочка, громко храпел сторож-старик, от которого всегда вкусно пахло. Звери рычали и повизгивали во сне, от клеток шел тяжелый звериный запах. В углах было темно, по полу перебегали наглые большие крысы, вставали на задние лапы, и от них тянулись тогда длинные тени.

Подумав и поворчав некоторое время, Тэдди решал заняться своим туалетом. Он долго и равномерно вылизывал лапы и живот, а когда лапы и живот становились совершенно мокрыми и липкими, принимался за бока и спину. Но спину лизать было неловко, он скоро уставал и предавался тогда печальным размышлениям.

Вспоминал он детство свое и мать — красивую медведицу с мягкими лапами и широким горячим языком. Но детства Тэдди почти не помнил, помнил только небольшой ручей с желтыми песчаными берегами; песок был мелкий и горячий. Помнил еще кисло-сладкий запах муравьев, которых ему с тех пор не доводилось попробовать.

Вспоминал он также вкусные обеды, которыми его иногда кормили в цирке. Один раз заболел небольшой ишачок, всю ночь кряхтел в стойле, а утром затих. Пришли хмурые люди и вынесли куда-то мертвого ишака. А вечером Тэдди дали не обычный суп-овсянку, а целый таз вареного пахучего мяса, и в этот день был у него праздник.

Думал он и еще о многом: какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то свое, звериное, и громко вздыхал он всю ночь, а на другой день был особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию.

2

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тэдди. Он ездил так много на своем веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запаха бензина, которым пахли автомашины.

Все происходило так же, как и всегда: на станции клетки со зверями закатывали в вагоны, кричали, ругались, что-то приколачивали, вообще производили много шума. Наконец двери захлопнули, и скоро все равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось два дня, потом стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, все кругом было другое и пахло иначе, но Тэдди не удивился этому.

Решено было накормить зверей, прежде чем везти их дальше. Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду. Сунув в клетку Тэдди немного вареной картошки, хлеба и тазик с овсянкой, служитель отвлекся на секунду чем-то и ушел, позабыв запереть клетку.

Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка поварчивал — так он проголодался. Съев обед и облизываясь, он по привычке стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не прикрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улегся, прикрыв глазки. Но через минуту он встал и опять высунулся. Понюхал воздух, поглядел, будто что-то припоминая, подумал, еще высунулся и спрыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением потянулся и стал с любопытством обходить машину.

К машине в этот момент подходил шофер. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал. Ветер дул от него, Тэдди почуял запах колбасы и пошел навстречу. Увидев медведя, шофер перестал жевать и замер. Тэдди поднялся на задние лапы и ласково заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронил кепку и бросился бежать со всех ног к низкому длинному дому с какой-то вывеской над дверью.

— Помогите! — в ужасе закричал он.

Тэдди опустился и на всякий случай подался в сторону. Он даже повернул было назад, чтобы залезть обратно в привычную клетку, но тут из дома высыпали люди и закричали на медведя дикими голосами. Тэдди повернулся в испуге, ища среди всех этих людей знакомое лицо, но знакомых не было. Тэдди стало страшно, и он побежал. Он промчался

мимо коновязи; лошади, увидев его, шарахнулись, заржали. Тэдди тоже рявкнул и наддал ходу.

Он пробежал огородом, запинаясь на грядках, перемахнул через плетень и помчался полем к далекому лесу. Бежал он быстро, прижав уши, фыркая, испытывая острое незнакомое удовольствие, но, добежав до первых кустов и запыхавшись, он остановился и с испугом посмотрел назад: станции не было видно, не было ни людей, ни машин, только голое поле и темнеющие вдали крыши. Медведь затосковал, ему очень захотелось попасть опять в цирк, жить в темном коридоре, слушать по ночам храп вкусно пахнувшего сторожа. Назад идти он боялся и тихонько ворчал, приподымаясь на задние лапы и раскачиваясь. Потом он обернулся, посмотрел на лес, несколько раз фыркнул, чтобы прочистить нос, и понюхал. Пахло сладко смолой, грибами, и еще было много будоражащих запахов. Тэдди пошел к лесу. Он медленно шел кустами и каждый раз, выйдя на чистое место, оглядывался назад в надежде увидеть служителя или человека в белых панталонах, которые ласково сказали бы ему: «Тэдди!» Но никто не показывался, никто не звал его, было тихо, а из леса все более явственно доносился могучий зов. И Тэдди со смешанным чувством страха и любопытства вошел в лес.

3

Тэдди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был леспромхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза неприятные в лесу предметы: линия узкоколейки, обрывки тросов, масленые тряпки, изъезженные дороги, гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны враждебные лесу и тишине звуки: шум моторов, металлические удары, тонкие паровозные гудки.

Тэдди было дико и непривычно в лесу, и он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми, но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин. Все его раздражало, он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на всю жизнь заученные фокусы в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит. Он делал стойку на передних лапах, уморительно дрыгал задними в воздухе и так обходил поляну. Потом он кувыркался через голову, плясал, «умирал» и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторо-

нам, ожидая подачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких глазках медведя рождалось тоскливое изумление. В конце концов он, доведенный до отчаяния непонятностью леса, пришел бы к людям, но тут произошло событие, которое только утвердило в нем страх перед человеком.

Однажды утром, весь мокрый от росы, Тэдди угрюмо брел по дну оврага, выкапывал какие-то травки и ел их. Подняв голову, он внезапно встретился взглядом с человеком, который стоял наверху. Тэдди удивился и стал подниматься на задние лапы, он даже хрюкнул от радости. Но человек не обрадовался и не сказал ничего похожего на «Тэдди», как ожидал медведь, — человек побледнел, быстро сорвал с плеча ружье, поднял его, сверкнул огонь, ударил резкий гром, что-то больно хлестнуло Тэдди по ушам, он рявкнул, повалился на траву и замахал всеми четырьмя лапами. Медведь ревел от боли, обиды и удивления, а человек, сделав свое злое дело, бросился бежать, и даже сквозь свой рев Тэдди слышал, как быстро топотали его ноги и как все трещало на его пути.

Еще через минуту Тэдди пришел в дикую ярость и бросился напролом за человеком, но тот успел куда-то спрятаться или убежать, и Тэдди так и не нашел его. С этого момента он стал бояться людей и еще усиленней начал искать глухих мест.

Но для того, чтобы уйти в глушь, в настоящий лес, медведю надо было переплыть реку, а он этого не знал, и положение его становилось все отчаяннее. Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.

Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тэдди вышел опять к реке и остановился пораженный: к берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не было ни души и ни звука не было слышно, только между бревнами плота сонно журчала вода. Тэдди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тэдди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял.

Идти туда, откуда пахло, он боялся, так как знал, что там люди, ненавидящие его и ненавистные, в свою оче-

редь, ему. Болевшие уши не давали ему забыть об этом. Но соблазн был так велик, что медведь, походив по берегу и попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах, как замечательно пахло!

Плот был подогнан к берегу не вплотную, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тэдди в нетерпении не обратил на них внимания, вдруг сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп, Тэдди вспомнил цирк и приободрился. Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул обильную слюну, — так вкусно пахло здесь портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тэдди подошел к столу, свалил с чугунка теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная, торопясь и давясь, глотать хлеб.

— Эй! — крикнул вдруг человек с полатей, перестав храпеть. — Кто это? Ты, Федя?

Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рявкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Тотчас что-то никак не похожее на человека свалилось с полатей, на карачках юркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу.

Тэдди понял, что дело плохо, но продолжал торопливо есть, чавкая, рыча, роняя на пол слюну, зная, что он совершает преступление против человека.

Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся окончательно, еще схватил с полу несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытиснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тэдди растерянно остановился: путь к берегу был ему отрезан. Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стегануло медведя по животу. Он рявкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал, окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой

задвигались, он зашлепал ими что есть силы, вытягивая нос кверху, к звездам. Вода мягко сносила его на низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху.

Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес — сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел, — это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья.

Почуяв дно под собою, Тэдди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы ручьями. Оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте и понял, что там остались люди, и бараки, и плот, и еще понял, что там было опасно и шумно, а здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворчал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез вверх по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.

5

Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того, он уходил на восток до Уральского хребта и на север — до самой тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами. Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы.

Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где свалившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседая постепенно к земле.

Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь проходил косяками и затихал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья и пепел и редкие обгорелые стволы.

Скоро на гари начинала расти буйная красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые березки и сосенки; по краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой

кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху.

Жизнь кипела в лесу, не омраченная пришествием человека. Правда, и здесь шла вечная борьба, здесь царил закон клыка и когтя, и как много костей и перьев догнивало по укромным местам этого прекрасного края! Но опасная борьба здесь не была вовсе безнадежной, как с человеком.

Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и гулко раскатывался по холмам, по звонким борам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже послабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством; зайцы на лежках вставали столбиками; лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место; рыси, дремлющие в чащобах, приоткрывали на мгновение дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах; и только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком ненавистный запах человека.

Еще было здесь много тихо звеневших родников; возле них в самую жару было прохладно. Овраги, незаметно возникающие тут и там, долго и запутанно тянулись к реке, прерываемые зарослями смородины и мелким осинником. В оврагах любили рыть сложные норы барсуки и лисы, и тут же, близ ручьев, селились в логовах волки.

6

Всю ночь шел Тэдди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся, лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома, она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла резче: звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но потом быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал.

Но в конце концов обилие новых впечатлений, заставлявших все время держаться настороже, так утомили медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослью елочек, лег и задремал до утра. Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса, все перезабыл из того немногого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули, и он терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время очень хотелось есть, желудок, привыкший к обильной, сытной пище, был теперь пуст и страдал. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть.

Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит мать. Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать, она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные сочные коренья, мышиные норы, рыбы и лягушки; она знает, где есть свежая вода, глухие места, муравейники и солнечные поляны с мягкой высокой травой; ей ведомы тайны запахов и перекочевок. И еще она знает, что ни один зверь в лесу не доживает до глубокой старости, каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство.

Если бы рос Тэдди не в зоопарке, а потом в цирке, среди людей, если бы учителем жизни была для него медведица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, — он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тэдди учился жизни у человека в белых панталонах, и неукротимый звериный дух его был задавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был несомненно опытнее, умнее любого своего сородича, но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал! В лесу он превратился опять в беспомощного жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего. Вся разница была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.

7

Тэдди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тэдди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед, так как что-то еще не нравилось ему тут. И он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившийся в нем, вел его в небывалую страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины.

В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздрей его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в груди его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого сладкого запаха? Тэдди повернул на восток, прошел немного — запах исчез! Он вернулся обеспокоенный, взволнованный назад — опять маняще запахло! Тогда Тэдди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьев, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет.

Какая прелесть эти муравьи! Есть ли что-нибудь вкуснее их! Жирные, кислые, щекочущие, вызывающие сразу жажду и аппетит и тут же утоляющие их — есть их можно бесконечно!

Тэдди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения — так крепок был вблизи этот чудесный запах. Еще глубже зарылся он носом и зачавкал, прижмурившись, высовывая и убирая мокрый язык. Муравьи, крупные, рыжие, мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши, но Тэдди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленней чавкал. Наконец ему стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой. Сейчас же муравьи облепили и лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее — муравьи больше не лезли в нос и уши, в пасть не попадала земля и хвоя, — и Тэдди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего.

Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с

голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера.

Поначалу Тэдди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные. Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.

В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно было никого бояться, кроме человека. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы — все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время, пока Тэдди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем, и, даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали от падали голодные волки.

8

Останавливаясь в одних местах на день, в других — на два, Тэдди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще; малины, земляники и брусники было больше, деревень — меньше. Безбрежная дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг, и, казалось бы, что еще нужно! Но от забытого почти детства у Тэдди остались воспоминания настолько неясно-прекрасные, что ему все было не так и не то, — он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой медвежий рай.

Найдя особенно хорошее, с его точки зрения, место, Тэдди начинал свой обход. Он выдергивал старые трухля-

вые пни, разорял мышиные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей.

Один раз, выйдя к узкому длинному озеру, он остановился, пораженный сильными всплесками. Щуки, греющиеся в осоке у берега, вспугнутые медведем, выдирались из травы и уходили в холодную глубину. Тэдди пошел по берегу, внимательно разглядывая воду и осоку и часто замирая совершенно неподвижно.

Он не знал еще вкуса рыбы, но что-то говорило ему, чтобы он поймал одно из этих существ. Наконец он заметил темную спину неподвижной щуки и стал подкрадываться, прижимаясь к земле. Со стороны это выглядело смешно, так как прижаты к земле были только передние лапы и морда, зад же оттопыривался и потешно колыхался. Но крался медведь беззвучно, а маленькие глазки его злобно горели.

Быстрым коротким взмахом он ударил по тому месту, где стояла щука, заревел и въехал передними лапами в воду. Он не понял сначала, попал или нет, и продолжал колотить обеими лапами, поднимая грязь и волны. Но тут перед ним мелькнуло беловатое, в крапинках, брюхо щуки, и он выкинул ее на берег. Он съел ее всю без остатка и запомнил вкус рыбы на будущее.

За две недели Тэдди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел, он узнал, что помимо ягод и кореньев очень вкусны грибы. Теперь Тэдди не жевал без разбора все, что попадет, как в первые дни; он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах; он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром; чутье его стало лучше, и Тэдди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи; и он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать.

Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, теперь отросли. Ходить он стал тихо, почти неслышно. Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу.

Сперва Тэдди спал больше ночью, как привык в цирке. Но потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда более интересна, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее, что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-то перебегал по оврагам и полянам, стран-

ные крики рождались в тишине... Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тэдди днем. И он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.

9

Однажды Тэдди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу, возле старой заброшенной дороги. Он сразу понял, что это не просто так растет, а както связано с человеком.

Тэдди прошелся краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самый овес, лег там, в этом мягком и светлом под луной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп-овсянку. Сначала с жадностью он ел все подряд — и овес, и стебли, потом стал жевать и сосать только метелки и с рассветом ушел, вытоптав в овсе большую плешину.

Ему очень понравился овес, и через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце, распугав десятка три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом отчищался.

Тэдди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками и долго, стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне.

— Как на заказ сделана! — то и дело повторял кто-нибудь из них, и странная жестокая улыбка появлялась на их лицах.

Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружье из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой бренчало ведро, уехавший запел песню, и песня и бренчание ведра долго еще слышались оставшимся.

Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тэдди. Он долго молча лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об овсе, направился к полю своим неторопливым раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал

нос в траву, долго дышал, выдирал сладкий корешок и чавкал — есть тихо он не умел.

Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном в середине — местом, где он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться каких-нибудь десять — пятнадцать шагов, как вдруг он остановился.

Нет, он ничего не услышал и не почуял, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его: что-то здесь изменилось за время, пока его не было.

Тэдди повернул направо, обходя лесом поле, не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению: что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно, и все кругом — неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы, так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тэдди стал сразу еще более мокрым и холодным. Но Тэдди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся было шерсть на загривке тотчас поднялась: в нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табака и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди на лошади, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля.

Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь днем, уехали, но — странно! — чувство опасности не покидало его и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое ему внушало такой страх — ибо все неизвестное страшно, — и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк.

У Тэдди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного. Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности.

Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то вверху и в стороне. Не успел Тэдди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула огромная вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то жгучее ударило медведя по передней левой

лапе, подшибло ее, и Тэдди упал. Еще когда щелкнуло, Тэдди уже понял, что попался, что это самый опасный враг его — человек, что нужно бежать, и поэтому, как ни взъярен он был в этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху, с корявой сосны, прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хряскнуло совсем рядом и даже как бы впереди. Но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю. Тут только понял Тэдди, что передней лапы его словно не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал, все быстрее, быстрее, с ужасным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, качаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь, — прочь отсюда!

Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, и, наконец, когда совсем отчаялся добежать, остановился и зарычал и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались, вся шерсть на хребте и боках торчала от ужаса и ярости. За шумом своего дыхания он не слыхал ничего и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услыхав и не поверив тишине, подумав, что враг затаился, Тэдди опять прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь.

Но никто за ним не гнался, лес притих, испуганный его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тэдди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усердней лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие.

И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровяному следу и разгадали все: как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, оборотясь к ним: здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже и скоро совсем пропала, и охотники, потеряв след, облазив все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем.

10

А Тэдди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места. Пришла ночь, но боль в лапе не давала медведю заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось, не слыхать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя.

По лесу пронеслось что-то тревожное, и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, опоясывая полгоризонта, заполыхали зарницы. Они вспыхивали беззвучно и таинственно и не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным призрачным светом. Потом потихоньку, очень далеко стал порыкивать гром. Тэдди отвечал ему угрюмым ворчанием и беспокойно ворочался под своей елью. Оттого, что кругом стояла такая зловещая тишина и что издали все явственнее, почти беспрерывно доносились громовые раскаты, ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву.

Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев задернулись чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то лопалось и грохотало резко и страшно: «Тах! Агрррр-бах!» — будто кашляло.

Упал с облаков верхний ветер, вершины сосен и елей ответили ему шипением, а внизу было тихо и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шурстит по листьям и который был знаком Тэдди, — этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и кроме этого гула уже не было слышно ничего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом.

Только к утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся; сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох.

Бедный, бедный Тэдди! Измученный болью, страхом перед грозой и людьми, столько не спавший, мокрый и несчастный, он сидел под старой елью и не мог радоваться

солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь и еще день, пока наконец рана не стала немного заживать и свирепый голод не выгнал его из укромного места.

Кое-как ковыляя на трех лапах, он бродил по холмам, хмурый, осторожный, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло еще несколько дней — медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, и он опять повеселел и приободрился.

Но ему пришлось еще раз встретиться с людьми. Он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тэдди был раздражен: перед этим он гонялся за одуревшим со сна тетеревом; тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о деревья, падал, и Тэдди несколько раз чуть не схватил его, но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тэдди не смог достать его. Теперь он был зол.

Спустившись в овраг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись стреноженные лошади. Это была научная экспедиция, но Тэдди, конечно, не знал этого и с величайшим изумлением присел, чтобы получше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди; они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени.

Тэдди прошел краем поляны, потом подумал, подошел ближе к палаткам и вдруг неожиданно для себя пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапели лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тэдди, но, не добежав шагов десяти, остановилась с разбегу и залаяла злобно и трусливо. Тэдди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу выскочила собака. Люди у костра вскочили, двое бросились в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тэдди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился наутек. Собака бежала за ним не отставая, в восторге от победы и от погони. Промчавшись опушкой, Тэдди завернул к болоту, потом разъярился и оборотился к

собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тэдди хотел пойти и разорить лагерь, но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи.

Уже около двухсот верст прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь, все лучше осваивался со всей массой предметов и явлений, окружавших его. Так он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам, хоть и считаются они самыми пустыми птицами. Он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке сухого дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, — он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чутьем, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется чем поживиться. Тэдди не особенно хорошо лазил по деревьям, но если встречал удобную разлапистую сосну, никогда не пропускал случая взобраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева. Не любил он только, когда сойки и сороки обращали слишком пристальное внимание на него самого. Он старался уйти от них, ворчал, а если они не отставали и провожали его криком, перелетая с дерева на дерево, Тэдди, не долго думая, прятался и выжидал. Потом хитро выглядывал, осматривал ближние деревья и, если не видел назойливых преследователей, удовлетворенно хрюкал и продолжал свой путь. Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осторожным, он превратился, как это могло показаться со стороны, в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так.

Раз утром, подойдя к ручью напиться, Тэдди остановился, как громом пораженный: возле ручья пахло медведем! Это был старый запах, быть может, дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тэдди, позабыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тэдди уже не стало покоя.

Все чаще стал он натыкаться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, объеденные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тэдди приходил на место, то оказывалось, что другой уже побывал здесь и от падали оставил действительно только запах.

Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тэдди в бешенство. Злоба его, накапливаясь, стала такой острой и постоянной, что для него скоро сделалось ясно: двоим в этом краю не ужиться, одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тэдди, не задумываясь, ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи, что Тэдди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще натыкался на старые, но увидеть самого медведя ему никак не удавалось.

Встреча их произошла неожиданно. Тэдди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку среди сосен, поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тэдди посмотрел по направлению запаха и увидел наконец своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу! Как он расправится с ним! Глазки Тэдди зажглись бешенством. Враг его скрылся на мгновенье за соснами и вышел на поляну...

Это был такой зверь-громадина, что Тэдди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага! Это был настоящий зверь, косматый, бородатый, с железными когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тэдди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса.

Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тэдди. И еще не было произнесено ни звука, не было сделано ни движения, а Тэдди уже понял, что именно он должен навсегда покинуть этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой ужасной громадиной!

И то, что понял Тэдди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того, он понял также, что и Тэдди это понял. Нет, он не бросился на Тэдди, чтобы убить его, он только негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тэдди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым, его ухо не способно различить тончайших оттенков в рычании. Тэдди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев, негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое: «Пошел вон!» Ослушаться этого приказа значило для Тэдди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью. И Тэдди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу,

он в последний раз оглянулся: медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов.

Тэдди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники, ушел, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.

11

Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы, и начались первые утренние заморозки, когда Тэдди, перевалив через множество холмов и сбившись вправо от большой реки, вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну.

Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сосны, отцветали последние ромашки, жадно глядящие на бессильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов, мелодично и бесконечно динькала вода, и Тэдди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства. Больше его никуда уже не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено.

Здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тэдди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он объедался муравьями и земляникой и мать долго полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его вздувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тэдди вновь как бы вернулся туда... Но это было, конечно, не то. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени, не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Ах, стать бы ему теперь снова маленьким, найти бы ему свою мать, поплакать бы под ее мягким теплым боком! Как жаль, что это невозможно...

Передвигаясь днем и ночью, Тэдди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился рав-

нодушно, другие раздражали его, и он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю и лес и даже самый воздух.

Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с необыкновенно крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след, оставленный каким-нибудь животным, просто мимоходом отмечал для себя: «Вот здесь прошли лоси. Их было три», или: «Пробегала лиса; она очень торопилась и несла в зубах куропатку».

Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не болела, и он теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или перевернуть упавшее когда-то тяжелое дерево. Он очень много ходил, подгоняемый ужасным аппетитом. Но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал громадное удовольствие, чувствуя себя как никогда свободным и сильным!

Великая вещь свобода! Она похожа на солнце, на огромное звездное небо; она похожа на теплый ровный ветер или на быстро бегущую звонкую воду.

Не нужно никого бояться, не нужно делать того, что не хочется делать!

Можно встать, когда хочешь, и идти, куда захочешь!

Можно остановиться и долго провожать глазами пролетающий над рекой караван гусей; можно подняться на холм, открытый всем ветрам; там слышны все запахи — выбери для себя любой из них, иди туда, куда он зовет тебя!

Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей свободной силой, валить эти деревья — сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском!

Пришел ноябрь — месяц крепких заморозков, — и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тэдди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелколесью, взбирался на сухие гривы, храпел и почти безостановочно ревел. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тэдди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя.

Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день

он был особенно зол, желание прогнать нахала сразу охватило его, с яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полукруг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осиннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток.

Тэдди рявкнул и полез к ним. Лосихи шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он, не задумываясь, последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, весь во власти любовной горячки, он смело пошел навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Тэдди сердито заревел. Лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий парок от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и легким вислым задом.

Тэдди, не ожидавший такой встречи, опешил, он не испугался, он только приостановился, раздумывая, как бы удобнее броситься. Но лось, по-своему истолковавший эту заминку, вдруг нагнул голову, всхрапнул и кинулся на медведя. Тэдди не успел отскочить, и удар сбил его с ног. Тотчас лось поднялся на дыбы над поверженным врагом, и тут, может быть, и закончилась бы жизнь Тэдди, попади ему лось по голове. Но лось не попал в голову, как целил, а попал по плечу. Крепка медвежья кость, выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти!

Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тэдди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тэдди увильнул и заскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было сил улепетывал вниз. Победа, небывалая победа досталась красавцу лосю, но ему теперь мало было этого, ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и, фыркая, вернулся назад, к лосихам. А несчастный Тэдди, весь избитый, забрался в самый густейший бурелом и долго стонал и сопел там, переживая позор своего поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось... Хуже всего было то, что ему

теперь нужно опасаться вообще всех лосей: раз его побил один лось, значит, так же могли поступить с ним и другие. Жизнь его с этого дня стала несносной. Как назло, следы лосей попадались ему все время. Шел ли он за брусникой, или к муравейнику, или к ручью напиться — встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил.

Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями землю и деревья, заявляя о своем владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз, найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать. Он лежал, приникнув к земле, и смотрел между ветками на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный.

Во второй половине дня наверху послышался легкий хруст и пофыркивание. Тэдди поднял голову и потянул воздух: пахнуло лосями. Уши его напряглись, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали — прислушивались или срывали ветки какие-нибудь — этого Тэдди не знал, он терпеливо лежал. Наконец наверху из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились, внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою: впереди — лось, за ним — лосихи.

Все-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тэдди выскочил из засады с глухим ревом, лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана, и показалась кровь. Почуяв запах крови, Тэдди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка. Тэдди покатился, как и в прошлый раз, но теперь на шее лося закровенилась новая рана. Тэдди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнувший все его тело, и прыгнул на лося, норовя наброситься сбоку, так как понял, что рога — такое оружие, против которого он бессилен.

Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран, и на холоде он весь дымился от пара. Наконец медведю удалось прыгнуть на лося сбоку, он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лосю бок. Затем, держась левой лапой и зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, медведь со страшной силой ударил правой лосю по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разодрал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя — так он был силен! Урча и кашляя, глотал Тэдди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился.

Потом медведь, поминутно рыча, ушел в лес, но вернулся и попытался утащить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо.

Через два дня, уже забыв про лося, Тэдди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся. Еще раньше у лося побывали волки — Тэдди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушел и уснул поблизости. Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как территория бородатого медведя.

12

Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тэдди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса. И он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком.

Четыре дня шел он к юго-востоку, пока наконец не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм, на холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тэдди, лежал тракт, часто катили автомашины или медленно проезжали на телеге.

Тэдди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал

бы ему за ухом и сказал ласково: «Тэдди!» — и положил бы своей крепкой рукой кусок сахару ему в пасть...

И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тэдди, как бы вновь постигая великий, таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех уморительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывающая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя.

Становилось холоднее с каждым днем. Тэдди теперь спал много и ходил редко. По .утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тэдди, отступил вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тэдди не давали спать зимой — он должен был выступать, но здесь он подчинялся лесным законам. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.

Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали как сквозь дымку, и Тэдди еще сильнее захотелось спать; даже собственные следы на снегу не удивляли его. Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.

Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами, кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпалась в яму, но лапы и без того были так густы, что когда Тэдди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться. Понемногу темнело, шел неслышный снег, и когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние лиловые краски, Тэдди уснул.

Что снилось ему?

Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом

манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?

Или снилась новая, свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, медведь, прогнавший его, битва с лосем?

Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?

Кто знает!

Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая русская зима!

А сон Тэдди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.

1956



НА ОХОТЕ

1

Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки, на слежавшихся, потерявших запах листьях. Петр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его, Алексей, посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал приклад ружья.

Петр Николаевич обулся, напряженно, боясь сорваться, слез по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку.

Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепех... Теперь уж лет пять все было заброшено, поскотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья.

Дверь в сторожку была сорвана, и Петр Николаевич пошел внутрь. Стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости, дождя и солнца сизым. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот?

Петр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил темными невеселыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой, пыльной паутине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом; из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом, и Петр Николаевич задумался с погас-

шей папиросой о том времени, когда он, совсем молодой, охотился в этих местах.

Было тогда ему двадцать лет. Ошалевший, как молодой жеребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним — нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озерам, лугам, по сумрачным борам, был несказанно счастлив своей молодостью, силой, готов был плыть за подстреленным чирком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить юркого бекаса. И еще — и это, пожалуй, самое главное — он был влюблен тогда, беспрестанно со сладкой тоской думал о ней, и казалось ему по молодости, что еще не то будет в жизни, что пока еще не настоящее счастье, а гораздо большее, невыразимое счастье будет впереди.

Сколько миновалось, сколько прожитого навсегда ушло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда он здесь скитался, так и запомнились как лучшее в жизни, как самое чистое. И он помнил все — все дни и все места, где у него была счастливая охота, помнил приметные деревья, потаенные родники, помнил даже, о чем он думал в то время.

Теперь он снова приехал сюда, уже не один, а с сыном, и когда ехал, было томительно-радостно, что он опять увидит все, а теперь стало тяжело — так все неузнаваемо изменилось, так все постарело, поблекло... Все не то, все не то, только рассвет и роса на траве, запахи — все те же, вечные, навсегда те же! И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли.

2

Сын скоро проснулся, завозился на чердаке. Потом заскрипела лестница, послышался прыжок на землю.

— Отец! — негромко позвал Алексей.

Петр Николаевич вздохнул, провел рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх, лицо его было испуганно и восторженно.

— Тсс! — Он схватил отца за руку. — Слышишь?

— Нет... Что такое? — спросил Петр Николаевич, напрягая слух.

— Ну как ты не слышишь! — прерывающимся шепотом сказал Алексей и посмотрел на отца круглыми счастливыми глазами. — Осы! Их там три гнезда, вчера в темноте не видать было... Я случайно зацепил, как загудели! Слышишь? — Алексей с восторженным ужасом опять посмотрел вверх.

— Да, да, гудят! — подтвердил Петр Николаевич, улыбаясь.

Но он не слышал никакого гудения, и на сердце у него стало нехорошо. «Вот уже и слышать хуже стал...» — подумал он и, чтобы совсем не расстроиться, заторопился.

— Пойдем, пойдем! — пробормотал он. — Поздно уже... Рюкзаки, ружья где?

— Сейчас! — сказал сын и беззвучно полез на чердак. Так же неслышно, с серьезным лицом он передал отцу один и второй рюкзак, ружья, тяжелые патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевел дух.

— Пошли! — громко и бодро сказал Петр Николаевич и первый зашагал по траве за поскотину, туда, где, он знал, должна быть тропинка.

Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к темному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. «Сколько добра пропадает, не косят, какая глушь!» — горько думал Петр Николаевич. Алексей шел сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал, в рюкзаке у него брякало, этот равномерный слабый звук все что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить.

Когда вошли в бор, сразу стала видна старая тропа. В бору было сумрачно, глухо; только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивался голубой неверный свет. Немного погодя там, в таволговых кустах, запикала птица, песня ее была в два колена, очень проста: «пи-пи, пи-пи...»

Алексей снова зевнул, споткнулся.

— Далеко еще? — сонно спросил он.

И, будто ждал этого вопроса, в той стороне, где было совсем еще темно, взорвался глухарь и с частым тугим лопотом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились, у Петра Николаевича зашлось сердце: значит, и сейчас тут есть глухари!

— Фу, как напугал! — засмеялся он. — Идем, потом поохотимся, хватит еще!

Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошел по беззвучному мху, по хвое и бруснике, держа ружье

в руках. Петр Николаевич напряженно смотрел сыну вслед, каждую секунду ожидая выстрела, потом поправил ружье и тихо пошел дальше по тропе.

Он вышел на опушку, сел на поваленное дерево и стал ждать. Впереди было небольшое поле в тумане, за ним опять лес, потом снова должно быть поле, потом маленький еловый колок, затем кочковатая сырая луговина с жесткой осокой и, наконец — озеро, место всех давних охот.

Скоро показался Алексей и пошел к отцу, надевая ружье и смахивая что-то с лица.

— Ну что? Ничего не попалось? — спросил Петр Николаевич.

— Ничего! — точно радуясь, ответил Алексей. — Зато глухо как! Грибов сколько, ягод... Как хорошо! Неужели мы тут целый месяц проживем! Здорово!

— И прекрасно поживем! — Петр Николаевич любовно посмотрел на сына. — Тебе понравилось? Я боялся, не понравится... А ты у меня молодец!

Они пошли заросшей тропинкой через луг к новому лесу, но теперь впереди шел Алексей, а Петр Николаевич смотрел на него и думал, какой у него вырос большой сын и как хорошо, что он именно с сыном приехал сюда.

3

Уже солнце поднялось высоко и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не торопились особенно, наслаждались глухой тишиной и потаенностью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встает солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стуки дятла, пронзительный крик кобчика...

Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил поредевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как все изменилось!

Озеро стало меньше и постарело как будто... Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом; сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на темной воде листьев кувшинок.

«Ну, здравствуйте! — думал, волнуясь, Петр Николаевич. — Здравствуйте, кусты, и деревья, и озеро! Здравствуйте, цветы и осока! Вот я опять с вами. Вы долго меня ждали, снились мне, и я пришел...»

Неуверенно, с трудом отыскал Петр Николаевич ту поляну, где у них с отцом горел когда-то, почти не переста-

вая, костер, где они сушились после дождей, варили себе похлебку, кипятили чай, и набивали патроны, и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой, и нельзя было понять: то ли она заросла, то ли, как почти все давно ушедшее, представлялась в памяти более значительной, чем на самом деле. Петр Николаевич, моргая, чувствуя выступающие на глазах слезы, махнул сыну рукой.

— Пройди вдоль озера... Посмотри там... Иди, иди!

Алексей внимательно взглянул на отца, покраснел и ушел, торопливо шурша сапогами, горбатя худую спину. Петр Николаевич снял рюкзак, опустился на колени, стал перебирать траву руками. «Должно же что-нибудь остаться! — с наивной верой думал он. — Тут было так много золы, углей, головешек... Даже нижняя лапа сосны была подпалена!» Он мельком глянул вверх: серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно млели крепкие зелено-бурые шишки, толклись комары... Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было, только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята; ползали муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. «Конечно... круговорот вещей, — растерянно и огорченно думал Петр Николаевич. — Все проходит, все изменяется... Да полно, тут ли мы были тогда?» Он встал, огляделся: здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днем и теплый ночью шалаш! Так хорошо строили они его с отцом... Где же эта ель? Не приснилось ли ему все на самом деле?

Шумел вершинами плотный лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали светлой изнанкой листья осин, солнечный теплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах, а внизу было царство валежника, мертвых, на вид совсем свежих берез, папоротника...

Петр Николаевич стал лазить под елями, царапал лицо и руки, оглядывался на поляну, стараясь не отходить далеко. Ружье мешало, и он снял его, прислонил к дереву. Попадалось много грибов, костяники, в лицо дышало влажным грибным духом, пряным запахом опавшей хвои. Петр Николаевич машинально срывал костянику и сосал, чувствуя кисловатый холодок на языке и в носу. Наконец он наткнулся на старую толстую ель, оглянулся на поляну, опять посмотрел на ель, и ему показалось, что здесь. Тут на стволе должна быть зарубка — на ней держалась с одной стороны

хребтина шалаша, — он это помнил. Но по мощному в наплывах смолы стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Петр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашел то, что искал: гнилые, почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором; еще и еще...

Да! Вот все, что осталось от прекрасного крепкого шалаша — одни гнилые палки.

Петр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушку ели. Какая же она старая! Сколько лишаев! Вон и вершина совсем засохла... Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зеленой елочкой, совсем высохнет, умрет.. Проходит жизнь!

Отыскав ружье, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашки. Потом вспомнил, как перекликался с отцом, переломил ружье, вынул патроны, приставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий печальный певучий звук и замер где-то за озером.

— Ого-го-о! — откликнулся совсем рядом мальчишеский басок.

Послышался шорох, Алексей подошел с виноватым лицом, и Петр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости, ждал, пока отец найдет, что ему нужно.

— Как это ты? — изумленно спросил Алексей.

Петр Николаевич показал, Алексей тотчас радостно переломил свое ружье, затрубил что есть мочи, и опять волнующий, будто из тридцатилетней дали, полетел над лесом и озером зов.

— Ну вот, тут и будем жить, — негромко сказал Петр Николаевич.

— Ты тут жил с дедом тогда... Да? — краснея, спросил Алексей.

— Вынимай топор, надо шалаш делать, — глухо отозвался отец, роясь в своем рюкзаке и не глядя на сына.

4

Долго рубили жерди, устраивали, поправляли, заколачивали, покрывали шалаш двойным рядом еловых лап, старались, чтобы шалаш стоял под елью точно так же, как стоял раньше. Петр Николаевич все вспоминал, как делал его отец, точно так же делал сам, и точно так, как когда-то

запоминал он, теперь смотрел во все глаза, помогал и запоминал его сын.

Часам к двум, — когда шалаш был совсем готов, когда все из рюкзаков было разложено и поверх еловой подстилки постелили еще куртки и телогрейки и разулись, чтобы отдохнуть, — стал натягивать дождь. Быстро надвигались темные облака, один за другим закрывая голубые просветы вверху. Лес смолк, потемнел, в шалаше от этого стало еще лучше. Ждали сильного дождя, но начало робко капать, трогая цветы и листья, и пошел обложной, реденький, теплый дождик.

Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, оттого, что успели устроиться и могут переждать непогоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Все скоро опять отсырело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, как давеча утром, а грибами, мокрой землей, горькой осиновой корой, березовым листом, и было немного душно.

Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Петр Николаевич подвинулся ближе к низкому входу, стал смотреть на повисшие мокрые пряди берез, на поникшие ромашки на поляне. Он сидел, как часто сиживал раньше, обхватив колени руками, тихонько пел. Пел он все печальные старые русские песни, в которых говорится о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах... Пел и вспоминал многое из своей жизни, мечтал о чем-то, смотрел на хмурое небо и присмиревший тихий лес. Потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях: радости или ревности...

Потом он задремал, побежденный усталостью, склонясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления по чему-то навсегда утраченному. Свешенная рука его затекла, набухла и была похожа на мертвую. А дождь все крапал, все шелестел в листьях осин и в траве, сырело и сырело кругом, и только под елью, где стоял шалаш, было сухо.

5

Проснулись они к вечеру, когда дождь кончился, взяли ружья и пошли мокрым лесом. С ветвей капало; капли были крупные, далеко слышалось: «тук! тук! тук!» Солнце заходило, слабо и желто просвечивая сквозь лес. В лесу стоял золотистый прозрачный пар, отпевали последние минуты

птицы. Такой же пар висел над озером, жемчужно сверкали осока и кусты, чуть заметно колыхалась вода: где-то плавали утки.

Долго и осторожно переходили с места на место, пока вдруг не увидели уток, плавающих близко от берега, но далеко от того места, где они вышли к воде. Маскируясь, долго рассматривали уток в бинокль, потом попятились, неслышно и быстро перебежали вéрхом и в замеченном месте стали пробиратьсй к берегу. Сквозь просветы ветвей показалась темная вода и на ней освещенные желтым солнцем утки.

— Обожди... дай я, дай я... — умоляюще зашептал Алексей.

Петр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он так же просил отца, и отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился, лопатки его дернулись. «Тааах-тиииу-тууухxx!» — широко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду.

Охотники, уже не боясь, треща сучьями, продрались к берегу и еще успели заметить трех уток, стремительно уходящих над озером. А две утки остались на воде. Одна лежала неподвижно, желтея брюшком, другая завалилась на бок, старалась нырнуть, но только опускала голову в воду, слабо подрагивала крылом. Дым от ружья, смешиваясь с туманом, расходился пеленой по воде.

— Подожди, тесину срубим! — возбужденно сказал Петр Николаевич, снимая ружье и доставая топор.

Но Алексей не слушал. Морщась, не спуская глаз с шевелившейся еще утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Петр Николаевич покорно положил топор, присел на сгнившее бревно и закурил.

Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу.

— Отец! — крикнул он, задыхаясь от холодной воды. — Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным... Ого-го-го!.. — И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток.

А Петр Николаевич вдруг вспомнил, похолодев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километ-

рах в двух от этого, и поплыл за ней, а отец сидел на берегу, отдыхал и курил, и дым от выстрела и табака стлался по воде, и так прекрасно, волнующе пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь.

Да, все то же... И жизнь по-прежнему прекрасна, и будет такой всегда, — всегда будут пылать, багроветь и зеленеть закаты и разгораться тихим светом восходы, всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходить на места стародавних охот...

Радостно и печально до сердцебиения стало ему. Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошел, не разбирая дороги, по мокрой траве в глубь темнеющего, примолкшего леса.

А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, плескался, кричал на разные голоса, вызывая эхо, смотрел на таинственный противоположный берег, подернутый уже синей дымкой потухающего дня. Потом вылез — дрожащий, посиневший, — быстро оделся, поскакал на одной ножке, погладил теплых уток с мокрыми лапами, прижмуренными бирюзовыми глазами и каплями крови на клювах, увидел недокуренную папиросу, оглянулся и воровато закурил, неумело затягиваясь, выкатывая глаза, кашляя и улыбаясь от не омраченного ничем счастья.

1956



НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились, испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем.

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий — всё помнят, всё знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его; как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в

повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак... Двадцать верст всего — близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает...

— Но-о!

Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: «тук-ток». Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает, не любит моря, хочет все левее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит! Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним

море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:

— Солнушко, гы-гы-гы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад.

— Кули-кули... — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — следы чаек, долгие, запутанные, тут же помет их сиренево-белый. Лежат грудами водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?

А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, промороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка, много лет тому назад на большой реке Двине запань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбак разве только да охотник редкий — на костер...

Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень драгоценный. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестерь набьешьдак. А ныне отлетела чегой-то птица, Бог с ней, совсем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Мосты сгнили уже, нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглядывается.

— Но! — скажет Никишка потихоньку.

Конь еще шагнет. А звук на таких мостах глухой, мертвый, как по гробу, и вода внизу темная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся такая, и море возле впадения рек желтую пену швыряет на песок.

А вон еще что-то темнеет впереди. Подъезжает ближе Никишка: шхуна в песок вросла. Мачт нет, и киля не видно, засосало. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борта светятся, внутри водоросли с песком, больше ничего нет. Волна подходит, затопляет все, хлюпчит внутри, клокает, булькает, отходит — тонко струйки звенят, стекает вода на камни.

Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг, на много верст. Попадет когда тоня рыбачья пустая, заброшенная. Стены мхом поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, глядит окошками в пустое небо. Вешала повалены, все рушится, только крест старый поморский, черный, восьмиугольный, страшно торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть на такое, отвернись — и мимо, мимо...

Но Никишка не боится. Знает, в таких избушках лешаки живут, смирные, грустные. Скучно им, спят целый день. И теперь спали, да услыхали, едет мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошки потихоньку выглядывают. У одного борода черная, у другого — сивая, у третьего — вовсе не поймешь какая. Болбонят — любопытно им, куда это Никишка едет.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень темный, бугристый. Конь издали еще заметит, насторчит уши, голову задерет и вот вбок норовит, боится.

— Ты уж вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга. Вишь, это тебе ничего.

Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет Никишку дальше, все вперед и вперед. Слушается он Никишку, его все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются; на обрывах сосенки да березки корявые лепят-

ся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь все осторожнее идет, принюхивается, выбирает, куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. «Шшшшу!» — набегают — «ссс!» — откатываются, «шшшшу!» — снова набегают...

Нет, не может идти конь! Чудится ему, разверзается справа водяная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается он в ужасе, храпит, скалит желтые зубы. Сердится Никишка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идет конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шепот, звон моря слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Справа море, слева горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают подковы.

Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди все мысы в море выставляет, будто длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий голубой мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за ним — новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы все, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа все дальше в лес забирается, тихо становится, золотисто. Под ногами коня языки желтые, красные, оранжевые. Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки. Весь лес горит, елочки только зеленые, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, темные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные елки и березы, странно похожие на яблоню.

Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жилье? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. Все тут камень да сырость... Только тропа глубоко в земле выбита, старая, глухая. И вспоминает Никишка, рассказывала бабка, давно это было, шли по мертвым лесам странные люди, шли беглые, больные, несчастные, обиженные — всякий народ шел. И шли они все к одному месту, в одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — Соловецкий монастырь. А где этот монастырь, Никишка не знает, там где-то, где солнышко закатывается, а где, поди-ко узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мертвой, звуков неживых — песня. И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком попахивает. Конь — уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед: жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас лежит, черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.

— Сынок приехал! — говорит радостно отец. — То-то сон мне снился... Ну, как же дома у нас там? Все ли живы?

— Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал... Ехал-ехал, весь заболел, спину больно.

— Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! Надо язык ихний знать. А то где понять!

— А дядя Иван где?

— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре, так и его взяли, баня у них там, у нас-то нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?

— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило, на лошади и поедет по сухой воде.

— А я как же?

— Ты со мной останешься. Останешься? Семгу будем ловить.

— Останусь!

— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает, сарай открыт, не запирается, не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг... Что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая...

Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся — отец не видит, — заговорил с ней:

— Адя... Ууурр! Гу-гуррр... Гам!

Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещенный, как царь лесной.

— Ну, сынок! — весело говорит отец. — Поедем сейчас за семгой! Только постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется, на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы,

да леса, да кресты черные, лешаки из избушки выглядывают, болбонят: «Гляди ты! Никишка-то к отцу едет семгу ловить, чай-сахар везет!» И песню кто-то тонко поет, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: «шшшшу!» — накатывает, «сссс!» — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманят голову, а кулики стеклянно кричат: «пи-пии, пи-пии!»

Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка, в лес!» — «Я в море пойду, семгу стеречь!» — Никишка отвечает. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке.

— Вставай, сынок, поедем!

Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется, вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в воду, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах умостился, Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко гребет, волна по скулам карбаса шлепает, взлетает брызгами вверх.

Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встает отец, чутко вниз глядит, в тайник, — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится, спокойный.

Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, ветерок легкий ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами, семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать...

— А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?

— Это? Колотушка, сынок. Ее бить. Она здоровая, сильная, так не вытащишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

— А если она выскочит?

— Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь, полотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... Глянь-ко, глянь!

Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно, это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет и в тайник, а в тайнике мы ее бьем. От ворот заезжам, выход загораживам, доно подымам и бьем.

— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.

— Я и то говорю, знаешь,— соглашается отец. — Ты у меня все знаешь!

— А почто меня ребята дразнют?

— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнют. Не слушай их, ты всех умней.

— Это потому, что я думаю много.

— А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай.

— А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после обратно приливает. Реки, те в море утекают, а море куда утекает?

— Море? Гм... — скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?

— Много, сынок, и стран всяких много на земле.

— А ты был там?

— Был! В Италии и во Франции был, и в Норвеге, когда моряком ходил.

— А какая Италия?

— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

— Как нет?

— А так, снегу нет, морозу нет ничего. Солнце круглый год.

— Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!

— И поживешь, — говорит отец. — Вырастешь, на капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море.

— А ты капитаном был?

— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, что это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— Знаю. А где он живет?

— В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит в местах глухих на съемных коргах.

— А почто его бьют? Его ведь не едят.

— Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадаются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледоколе. Теперь-то все больше на ледоколе.

— А если темна погода, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блестки, — показывает отец рукой, — где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадятся. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждут, погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Быват, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдет, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесет — да в океан... А там только если с самолета заметят, спасут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, Господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай...

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огромное, сильное,

живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает ее отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места остается, вот она уже два раза поверху плеснула, держит отец одной рукой подобранное доно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса стукает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной, — могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху ее по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается на бок. Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается — огромная, серебристая рыба, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с черным крупным глазом.

Опускает отец доно, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку.

— Вот как мы ее!

Никишка бледен, поражен, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях...

— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смирные...

— Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо. — Глянь, тучи натягивает, солнушко скрыват. Скоро домой поедем. Можно капитаном, а можно инженером тоже...

— А почто инженером?

— Как почто? Строить чего-нибудь будешь, это — тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроим дорогу по берегу асфальтовую, причалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть...

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: какой он темный, безлюдный.

— Ладно, — решает, — буду инженером.

— Ну вот! Посидим еще и — домой. Там у меня рыбка есть, давеча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай вскипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак.. Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело все кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились, да качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал — дремлется ему, думается Бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — полуношнике, побережнике, шелонике, обеднике... Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных, кажется ему, вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и нарушится молчание, заговорят все с Никишкой, все ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, — слышит Никишка ровный отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.

Видит он, что псу рыжему снится — лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит, камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то... Видит, вот отец в шторм на льдине качается, ревит; еще видит, семга огромная, сердитая бережает, по дну плывет, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскакивает пес рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! Глянь-ко, глянь, поди...

Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а вверху, между звезд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой, между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову. Дверь хлопает, пес к Никишке подбегает, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

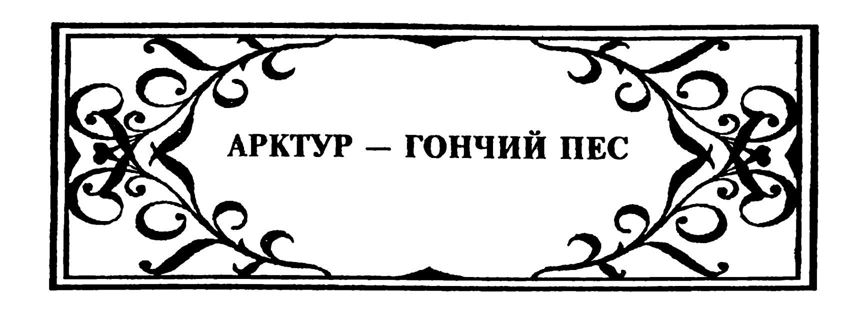
Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все синеют, все густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнем загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но напрасны усилия, все гаснет, и опять большие, смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы, — все молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит...

Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души.

1957



АРКТУР — ГОНЧИЙ ПЕС

Памяти М. М. Пришвина

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить.

Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.

Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам на телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются,— смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он

заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно было только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей...

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли; раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк,

так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками,— а дрался он множество раз на своем веку,— он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и все переменилось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да командированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким, пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стукались о землю.

Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятой, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в

комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: «ду-ду-ду...»

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы.

Пес уперся и задрожал.

— Гм!..— произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на

террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур...— пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном — запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что

это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще, морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверно, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, то в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все

запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие, протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напря-

женному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорея вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, собака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом.

Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дро-

жала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах! Арктур! — тихонько говорил я ему.— Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто се-

рыми и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке — охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так, потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

«Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!»

— Арктур! — в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но тем не менее гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я.

Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверно, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, что так необходимо каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки конечно же был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью перебегает по лазам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и зара-

жает собаку; он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделывал этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все бóльшие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши и наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный

лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек; иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче.

Я сидел на пне, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам — они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях; они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось, пощупав мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах — сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды... — неопределенно начал он и, крякнув, умолк.

Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришли?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Слепой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой!

Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял,— и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьсот рублей сулил — цена-то какова, а?— и не подходи, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят — собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости, Господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня:

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты — голос! Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

— Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее. Святой Крест, продаст! До Покрова-то далеко, чего-нибудь удумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, — когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай...

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться, — для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как? Где? Этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло тор-

чал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов — осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся

Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой, обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!

1957



МАНЬКА

Посвящается К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуди потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком,— а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

— У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуются в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года два уже работает Манька письмоносцем. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая — ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы,

краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

— Семужки, семужки ей поболе! — покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбачьих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженый, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядел в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха,

вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляла шагу, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаечки, чаечки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие и вещие слова: «Стану я, раба Божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попалось в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник,— стоско-

вавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насижусь, — бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием спросил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычайной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустилась на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты, — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съежившуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

— Все одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

— Идти мне надо,— сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет! — сказал он глухо. — Метеористы чертовы! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли

быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

— Шторм идет, а они гулять поехали! — горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька, обмирая. — Куда ты, ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! — пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

— Я с тобой, — сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла в избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцами в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился. — Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму, Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и сходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать колья и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но

она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, колья были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за колья, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задирал нос, заваливаясь набок — голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выдранный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивая сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время набок, перевернулся, и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стукалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну, — тут еще оставалось не-

много пахнущего рыбой воздуха, — и завыла. И опять скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголяя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой — обняла Перфилия за шею и замерла, закоченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. — Живем! Кто у моря не живал, тот и горя не видал!..

А море ревело, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловещая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, выворачивая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак жива! — обрадовался Перфилий. — Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну, берись за шею — понесу! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь, как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, посматривая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах, руки.

— Скоро ль, что ль! — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухающую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Пей, пей! Подымем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Девятнадцать... — соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» — и дико взглянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в нарочитом отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой-то ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Сердце у меня слабое... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растерянно, покаянно просил Перфилий. — Погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней. А я еще неце... нецелованная! — с усилием выговаривала Манька, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол. — Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... Почту надо...

Она переоделась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не простясь с топтавшимся в сенях и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня всё! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне тебе что-то сказать надо... приходи, Маня, а?

— Не знаю, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду! С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что же это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» — думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого, рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещие слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»

1958



СТАРИКИ

1

Сторожка стоит рядом со складом. Если подняться к ней, то окажется, что во всем городе нет места выше склада. Длинное каменное, осевшее от годов здание косо стоит на скате, поросшем мелкой пыльной травой, который в давние времена, говорят, был валом. От склада вниз к реке сбегают крутые спуски со старыми садами, овраги, кривые улицы. Сверху видны колокольни церквей, крыши старинных купеческих домов с галереями, резными фасадами, антресолями и мезонинами, базарная площадь, торговые ряды, зеленое поле стадиона, судоремонтные верфи, трубы двух маленьких белых фабрик, пристань, затоны, река и за рекой — уходящие в зыбкую даль поля, по которым все лето гуляет ветер и бродят смутные тени облаков.

Летом над городом висит белесая пыль, которую поднимают несущиеся по большаку машины, стоит жара, часто дуют суховеи, река сияет, слепит глаза, а вечерами в степи полыхают сквозь мглисто-знойное марево долгие смугло-красные закаты. Летом машины к складу подходят с перегретыми моторами, с жаркими покрышками, а склад пахнет мылом, сосновыми досками, рогожей, бензином и сухой пылью.

Зимой все заносит снегом, по ночам наваливает на улицах сугробы, и утром лошади на них «как на печку лезут». Город делается уютнее, чище, веселее. Скрипят, визжат на морозе сани, звенят цепями машины, на базарной площади по воскресеньям желто от конского навоза, черно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, насупленней, запахи его на морозе приглушаются, снег заваливает здание почти до решетчатых фигурных окошек, и только к двум кованым низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога.

Город древен и глух. Издавна селились тут раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры, строили по лесам

скиты один суровее, потаеннее другого, скрывались от мира, а в городе — запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издавна ничего не строилось здесь, кроме церквей, и ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туесков. Город был азиатски дик, скучен, пылен и всеми забыт.

И до сих пор стучат здесь в колотушки по ночам, до сих пор хоронят стариков по старинному обряду, торчат на буграх громадные дикие колеса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком, до сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчества Коли-дурачка — грязного, загорелого, гогочущего и плачущего...

Но двадцатью верстами ниже по реке началось в прошлом году строительство большой плотины, и день и ночь везут туда самосвалы камень из карьеров. А выше города за какие-нибудь десять лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и всё едут туда на «ЗИМах» иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь, — в узких брюках, в больших ботах, в широких коротких пальто, в высоких шапках, — изумленно щелкают фотоаппаратами, иногда наскоро осматривают какую-нибудь ближнюю церковь, и на иностранцев уже не обращают внимания — привыкли.

2

В сторожке днем кладовщик в телогрейке и перчатках с отрезанными пальцами оформляет наряды, греются, курят шоферы районных автомашин. Стены вдоль лавок и самые лавки замаслены ими до блеска. В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова, которые носит сюда сменщик ночного сторожа Тихона сухорукий Федор из слободы. Над столом прибита полка, на ней стоят банки с солью и чаем, лежат маслянистые черные гайки, гири от амбарных весов, начатые пачки махорки и папирос, которые забывают шоферы.

Потолок в сторожке закопчен, на полу сор, щепки — оба сторожа ленятся мести. Маленькая, обмазанная бурой глиной и невыбеленная печь громко гудит, чугунная плита малиново румяна, крошечное поддувало пылает жарким золотистым светом. Дверь сторожки в сильные морозы по-

крывается курчавым инеем по щелям, на окнах нарастает лед в два пальца толщиной. В оттепели с подоконников течет, пахнет сыростью и еще чем-то, чем пахнет обычно в нежилых помещениях, а дверь так забухает, что в нее нужно биться всем телом, чтобы открыть. В углу, возле двери, висит берданка с залапанным прикладом, потерявшим воронение стволом, заткнутым тряпкой от сырости. Иногда, от нечего делать, Тихон чистит ружье, вынимает патроны из магазина. Патроны набиты крупной дробью, желто маслятся, тяжелые, приятно холодят ладонь.

Тихон любит думать, сидя на чурбаке возле открытой топки, глядя в огонь. Крупное лицо его тогда неподвижно, зрачки сужаются, глаза светлеют. Мысли у него тяжелые, старческие, он много курит в эти минуты, курит до сердцебиения и тягуче сплевывает на яркие стреляющие угли.

В молодости был Тихон даже до странности силен и необычен. Работая грузчиком, редко, свободно шагая огромными ногами, таскал десятипудовые тюки. Необычен был, дик он и в поступках: так же, как и приземистые грузчики-татары с плоскими лицами и просвечивающими редкими усами, ел он сырое мясо. Покупал на бойне фунта два говядины, посыпав солью, рвал частыми белыми зубами, прижмуривая глаза, хрустел хрящами, пускал по бороде розовую слюну — жутко было тогда смотреть на него!

Всю молодость прожил он одиноко, замкнуто, не было у него друзей, никому не открывал он свою душу, был постоянно молчалив и мрачен. Однажды он исчез из города и пропадал года два. Вернулся смуглый, с досиза выбритой головой, свалянной порыжевшей бородой, в шелковой восточной рубахе и разбитых сафьяновых сапогах. О том, как жил и что делал эти два года, никому не рассказывал — сказал только, что был в Персии. Долго после этого вставлял он в разговор резкие гортанные слова и смотрел на всех еще угрюмее и загадочней.

Любят у нас все необычное, сильное, мощное, — Тихона же не любили, а боялись и удивлялись ему. Слава его была необычайна, но слава — дикая, мрачная. Трезвый он не был ни страшен, ни особенно интересен, зато пьяный — был зловещ и неистощим на дикие, буйные поступки.

Пил он редко, но помногу и не пьянел, а дурел: ломались брови, тяжелел, бешеным, стеклянным становился взгляд. И пел, закидывая голову, прикрыв пушистыми рес-

ницами воспаленные глаза, дрожа волосатым кадыком, никому не известные песни без слов и без мелодий. Вернее, не пел даже, а выл фальцетом, тогда как голос был у него низкий и гулкий.

Иногда, начав пить с утра, в полдень выходил он из кабака, сутулясь, поглядывая исподлобья на встречных, сунув руки в карманы грязных, плоско висевших сзади штанов, шел на базар. Поодаль за ним, нервно похохатывая, тянулись любопытные. На базаре Тихон молча, деловито, лиловея лицом, выдергивал коновязи, пугал всхрапывавших лошадей. Потом потный, с белыми дурными глазами, с зловещей шальной улыбкой подходил к какому-нибудь возу. «Ну што ты, што ты! — бормотал, бледнея, хозяин воза.— Слышь! Братцы, православные, да што же это!» Тихон нагибался, брался за колесо, напрягал широкую, сутулую от тюков и мешков спину и перевертывал телегу вместе с лошадью. Вытирая о штаны запачканные дегтем ладони, задыхаясь, злобно оглядывал он сбежавшихся мужиков и шел обратно в кабак. «Дубина! Черт бешеной!» — бормотали вслед ему. Громко кричать боялись.

Женился Тихон пьяным. На свадьбе он долго крепился, потея, под надсадное «горько!» целовал жену, потом зарычал, выкатил налитые хмельной мутью глаза, двинул стол — и с грохотом, давя друг друга в сенях, выскочили на улицу пьяные гости. А ночью, топча сапогами гряды на огороде, подошли к дому, ударили колом, высадили раму в окне комнаты, где спал Тихон с молодой женой, засвистели и, треща плетнем, кинулись врассыпную. И всю ночь с ревом гонялся Тихон за кем-то по слободе.

Было у него потом двое детей, но оба умерли: один — мальчиком в холеру, другой — уже взрослым парнем: утонул, нырнув под баржу.

Старел Тихон тоже не так, как все: не сразу, не постепенно, а временами. В каких-нибудь полгода старел лет на пять, появлялись резкие морщины, ноги становились узловатее, кривее, бороду подбивало сединой. Потом лет десять ходил все такой же, а наступало время — опять седела борода, салился, лез волос.

Изредка вспоминалась ему Персия. Закрывал он тогда глаза — нестерпимо пекло белое солнце, шумел базар, горячо пахло пылью, нечистотами из узких темных переулков, синим дымом плыл, курился капающий на раскаленные угли бараний жир, в кофейнях сидели на вытертых коврах, жевали тугие лепешки, пили кофе, горько-зеленый чай,

курили, скашивая желтоватые белки глаз, пóтом блестели копченые лица. А вечером жарко дышали нагретые за день старые стертые каменные плиты, мглился короткий нерусский закат, розовели на фиолетовом небе башни минаретов, тоскуя, горловым звуком рыдали, вопили муллы, и падали, падали, прижимаясь лицами к пыльному камню, правоверные.

И вспоминая все это, вспоминая еще темную маслянистую воду залива, запах корицы, ржавого железа, гулкую темноту пароходных трюмов, изумрудно-синюю громадность моря и пахнущую острым животным потом толпу грузчиков: персов, греков, армян, азербайджанцев, русских — крепко сжимал Тихон зубы, клал руку на сердце и думал с бессильной тоской: «Уехать бы!..»

Но бывали в жизни Тихона и милые и прекрасные минуты. Каждый год, недели за две до Петрова дня, доставал он из чулана давно уже отбитые, завернутые в мешковину косы, надевал новые, твердые, как черепок, лапти, брал котомку с хлебом и ехал наниматься косить.

Он забирался далеко, в места совершенно глухие, пойменно-черноземные и старообрядческие. И едва только устраивался на нижней железной гулкой палубе рядом с дровами, пахнущими лесом, оврагами, грибами, рядом с мерно вздыхающей, снующей стальными поршнями в желтом масле машиной, едва только ощущал частый лопот, шум и плеск плиц за бортом и дрожь быстроты, торопливости, как уходила на короткий срок, забывалась старая жизнь и больно, сладко манили, звали к себе бесконечные пыльные пороги, речные плесы, дремотные, знойно-пахучие опушки — все давным-давно знакомое, все родное с самого детства.

И становился Тихон разговорчивее, терпимее к людям, совсем не пил во все время покосов. Вставал затемно и сразу начинал косить по росе, по холодку, и косил жадно, широко, не уставая, разгораясь только, глубоко дыша томительно-свежими запахами сена, медовой кашки, пряной, густой влажностью луговой земли.

Он любил раздолье, любил одинокую трель жаворонка в ало-зеленом утреннем небе, дрожал от одного вида жеребенка, бегущего с мокрыми от росы бабками, с глухим дробным топотом, с коротким пушистым хвостом на отлете; любил ребятишек с выгоревшими волосами, босоногих, молчаливо-пугливых, рысцой несущих от деревни косцам полдник; но больше всего, пожалуй, любил он долгие летние сумерки, волглую траву, с хрустом никнущую под

равномерными взмахами косы, любил думать о чем-то неясно-прекрасном, слушать скорбно-медлительный дальний колокольный звон, ржание кобылиц в лугах, тонкие, певучие голоса баб из деревни; и еще любил спать коротким летним сном на теплых, душистых гумнах, любил видеть спросонок неисчислимое сияние звезд, от света которых смутно тлели в темноте наливающиеся ржи.

Но кончался покос, Тихон ехал обратно в пыль и пекло города, в вонь и грязь слободы, опять до хруста в позвоночнике напрягался, шагал по прогибающимся сходням, опять кричали приказчики, пахли смолой и рогожей баржи, затхлостью и тиной тянуло от реки и навозом, мочой — сверху, с базара, от кабаков и чайных, и опять Тихон пил, дурел, дрался и рычал, опять все звали его Бешеным, опять тянуло его в Персию...

Тихон давно овдовел, живет бобылем, посмирнел и подобрел, стал проще, откровеннее, отпустил желто-белую апостольскую бороду, но по-прежнему крепок, не потерял ни страшной силы своей, ни железного здоровья, и попрежнему сопутствует ему слава сказочного силача.

Он стал достопримечательностью района, его полюбили, им гордятся, о нем рассказывают приезжим, в нем открыли вдруг и ум и русскую сметку, и уже лет двадцать без перерыва избирают в горсовет. Завидев громадную его фигуру, останавливает машину секретарь райкома, поспешно вылезает, здоровается, восхищенно спрашивает о здоровье, заранее жалуется на работу, на хлопоты и беспокойство, на планы, но и достижениями не забывает похвалиться. Тихону нравится этот интерес к нему, это почтительное внимание, и, наигранно хмурясь, смаргивая набегающую на глаза старческую слезу, он расправляет сизой громадной рукой бороду, глубоко, свободно дышит, с наслаждением смотрит по сторонам — на улицы, на народ, на небо, на реку внизу.

И, насладившись лицезрением Тихона, хозяйственной беседой с ним, повеселев и как бы поздоровев, секретарь райкома садится в свой «газик», а Тихон идет дальше, расстегнув на морозе полушубок, светло и прямо глядя всем в глаза. С ним здороваются, заговаривают, останавливают и приглашают в чайную. И всем Тихон отвечает охотно, гулко, громко, но в чайную идет только со старинными своими приятелями. Там он снимает шапку, еще шире распа-

хивает полушубок, заводит под стул ноги в высоких негнущихся валенках, требует четвертинку и пару чаю и делает себе «пуншик». К нему подходят молодые ребята, монтажники, такелажники с верфи, просят выпить с ними, подносят ему, и он пьет охотно, не закусывая, немного рисуясь своей крепостью и твердостью.

Еще любит Тихон голосовать. Чуть не каждый день ходит он перед выборами на агитпункт, читает журналы и газеты, внимательно, наставив ухо, слушает доклады. Голосует он всегда первым, а если дежурит в этот день, к нему первому привозят урну. Надев очки, он долго читает, рассматривает бюллетени, снова расспрашивает о депутате — кто, откуда, кто были отец и мать, — приказывает: «Выйдите!» — и, аккуратно сложив толстыми пальцами, опускает бюллетени в урну.

3

Короток зимний день. Быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега, блеснут в последний раз золотом окна домов, ало посветят крыши и колокольни, и ползут на город и реку сумерки.

На дежурство приходит Тихон к девяти часам. Вместе с кладовщиком он проверяет пломбы, зевает, готовится к длинной ночи. Растопив в сторожке печь, он берет ружье, выходит на улицу и привычно осматривается. Небо черно и чисто, зеленовато горят редкие мелкие звезды. Тихон топчется на освещенном фонарем кругу, смотрит на широкую темную реку. Снег под ногами Тихона сверкает, колет глаза, скрипит. Пахнет льдом с реки, холодным железом и тулупом. Когда Тихон проходит под фонарем, тень его коротка и плотна. Потом она с каждым шагом удлиняется, толстеет, становится огромной, зыбкой, пропадает где-то на крышах нижних домов.

Все кругом, скованное морозом, неподвижно, мертво. Только поднимается прямо к черному небу прозрачный дымок из трубы сторожки, бросая на заснеженную крышу склада слабую шевелящуюся тень. Далеко внизу, на набережной, возле пристаней и дебаркадеров горят фонари, но самих фонарей не видно — одни редкие светлые пятна на снегу. Проезжают изредка последние «МАЗы», призрачный свет их фар скользит по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и отчетливо слышен высокий звук моторов. Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте все смутно-металлически светится: улицы, овраги, дворы, са-

раи, сады — только окна ближних домов и низкие двери склада аспидно-черны.

Внезапно из-за елового леска сверху с визгом вылетают маленькие санки, раскатившись, останавливаются возле фонаря. Тихон вглядывается, узнает, подходя, молодого участкового милиционера. Лошадь его, небольшая, крепкая, с курчавыми седыми боками, сразу опускает голову, задумывается. Милиционер хочет вылезть, даже выставляет ногу в валенке, но почему-то раздумывает, бросает вожжи, снимает варежку, лезет, отвалясь, в карман за папиросами.

— Здорово, Тихон Егорыч! — бодро, звучно, нажимая на «ч», говорит он. — Происшествий не было?

— Какие у меня происшествия? — с усмешкой отвечает Тихон.

— Ну, не скажи! Этого у нас хватает! — значительно, с удовольствием говорит милиционер. — Вот хоть бы сейчас... — Он замолкает, прикуривая, потом выпускает вверх целое облако дыма и пара и сплевывает. — Как раз еду с одного дела.

— Но? Откуда это?

— С Бондарева. Парня зарезали одного, механика... Девять ран, ножиком перочинным пырял, сука!

— Насмерть? — огорченно спрашивает Тихон.

— Живой пока. Бредит — смехота одна слушать!

— А энтого поймали? — живо интересуется Тихон.

— Взяли. В сельсовете сидит, завтра с утра машину пошлем.

— Ловко! — помолчав, говорит Тихон. — Как же это у них?

— Из-за девки. — Милиционер морщится, надевает варежку. — Девка там у них есть. Красивая, говорят, так вот из-за нее...

— Что ж ему теперь, энтому-то?

— Да уж не помилуем! Жив останется, лет десять дадут, а помрет — к стенке! Согласно указа.

— Н-да... — Тихон переступает с ноги на ногу, поправляет ружье, снег под ним скрипит. — А все из-за бабы. Сколько из-за ней народищу гибнет — уму непостижимо!

— Ну нет, не скажи! — радостно возражает милиционер и садится поудобнее. — Не скажи! Дурость собственная, распущенность, и все! А баба для нашей жизни... Я вот женился...

— Но? — перебивает Тихон. — Я и то слышу, женился. Давно?

— Две недели, третья пойдет.

— С приданым?

— Какое! Сирота... Вот погоди, премию получу за то дело — помнишь? — свадьбу сыграем. Я тебя, Тихон Егорыч, давно хотел спросить, нарочно крюку дал, заехал: не будешь ли посаженым отцом и все такое?

— А что, хороша? — оживляется Тихон и тоже торопливо закуривает, прикуривая у милиционера.

— А ты думал! — говорит быстро милиционер, глядя на крупное лицо прикуривающего Тихона, расстегивает крючки шинели, лезет в боковой карман. — Нет, дома оставил... Фото я хотел тебе показать. Я как один жил? А тут с дежурства ворочусь, в квартире натоплено, в печке щи горячие, на окнах — тюль! Я с мороза заколенею, аж в носу слипнется, да? Она мне сейчас шинель сымает. Сымает, говорю, шинель...

Голос его звенит восторгом, он растягивает, повторяет слова, стремясь продлить удовольствие от собственного рассказа. «Шинель» он выговаривает как «шинэль».

— Подает умыться, ласкается, щекотит...

Милиционер смеется, не в силах больше рассказывать. Тихон тоже ухмыляется, но слегка пренебрежительно,— хрустит валенками, тянет носом. В санях набито сено. Прядями свешивается оно к полозьям, волочится по снегу — концы прядей белые. В морозном воздухе нежно пахнет летом.

— Вот так и живем, а ты говоришь — баба! — сипловато заканчивает милиционер и покашливает, глядя на далекое зарево огней над строящейся плотиной. — Строют все, — уже другим, будничным голосом замечает он. — Народу понаехало! Вот бы у нас такое подобное начали!

— Воров больше станет, — улыбаясь, замечает Тихон.

— Эх, Тихон Егорыч! Не в этом дело! — Милиционер нагибается, подбирает вожжи. — Воров мы бы повыловили, а жизнь пошла бы веселее. Ну, поехал... А на свадьбу я, значит, на тебя надеюсь!

Он поправляет кобуру пистолета, сморкается по очереди на ту и другую сторону необыкновенно сильным и резким звуком, дергает вожжи. Застоявшаяся, замерзшая лошадь с мохнатой заиндевелой мордой обрадованно трогает, стеклянно стреляют примерзшие полозья, слышится тонкий затихающий визг саней и хрусткое «жик-жик-жик» под копытами лошади. Милиционер едет, так и не убрав ноги. Нога торчит из саней, чертит пяткой снег на обочине дороги.

Тихон снова принимается расхаживать под фонарем, думая о молодой жене милиционера, усмехаясь, поглядывая вниз на город, останавливаясь и прислушиваясь. Скоро он зябнет и, похлопывая рукавицами, идет в сторожку пить чай.

4

А в слободе, внизу, возле самой реки, живет другой старик — бывший миллионер, пароходчик и мукомол Круглов. Зиму и лето ходит он в залоснившемся, потрескавшемся от старости романовском полушубке, зиму и лето не снимает шапки и валенок, не выпускает из рук старинной, с серебряной накладкой палки.

Круглов — ровесник Тихона и в молодости тоже знаменит был на всю Россию. Только иная слава была у него: бешеные тройки, цыгане, разгул — такой дикий, такой изощренный, какой мог быть только в таких глухих, медвежьих углах. Цыгановатый, худой, с жаркими черными глазами, с необыкновенной черной густоволосостью, Круглов ненасытен был в кутежах, в мерзостях, в разврате, как ненасытен он был и в трудах своих после попоек. Кутить ездил он в Москву, в Петербург, забирался даже в Париж, изумляя цивилизованных французов своей тройкой, громадностью сумм, ежедневно просаживаемых в ресторанах и публичных домах, поражал неуемной тоской своей, слезами, пляской, совершенно немыслимым диким озорством.

Но, несмотря на такие разгулы, капиталист, хозяин Круглов был жестокий, умный и хладнокровный. Чуть не весь край держал он под своим контролем, жил нарочно в этом глухом городе, и ездили к нему, проклиная российские дороги, на поклон губернаторы, советники, купцы и даже жандармы.

Женившись, взял Тихон за женой небольшое приданое, задумал осесть в деревне, купил под городом мельницу, переехал туда жить, взялся было ворочать, но в тот же год задавил, разорил начисто его Круглов, трынки не оставил, и, весь в долгах, еще более злобный и бешеный, вернулся Тихон в город. А Круглов, завидя на пристани Тихона, снимал каждый раз высокий картуз с белоснежной шелковой подкладкой, низко кланялся под радостный гогот приказчиков, спрашивал: «Как здоровьице, ваше степенство?» — и только скалился в ответ Тихон.

Революция была для Круглова громом среди ясного неба. А было тогда ему лет сорок, уже немного поостепенился

он, еще более крутым, жестоким, неумолимо-хозяйственным стал, уж капитал его шел в народе за миллионы. И мгновенно мужицким своим чутьем понял он, что на старое не повернет, что слишком глубоко и широко все это, что надо уезжать, бежать. И чуть было не бежал, уж и паспорта достал (английские), уж набил сундучок великоустюжской работы золотом и бриллиантами, да проговорилась жена — женщина простая, недалекая, совсем не под стать ему, — пришли красногвардейцы, конфисковали золото, выселили семью Круглова из дому, а самого продержали три месяца в тюрьме. Вышел из тюрьмы Круглов другим человеком: похудевшим, темнолицым, смирным, простым с виду, но еще более ожесточившимся в душе. И до смерти не мог простить жене своего несчастья, за пятнадцать лет слова путного не сказал ей, а когда умерла — простился в церкви, поцеловал покойницу по обряду в венчик, а провожать не пошел. И, приходя потом на кладбище в родительские субботы, ни разу не подошел к ее могиле, да и не знал, где она.

К старости Круглов стал евангелистом-сектантом, живет замкнуто, всеми забытый и одинокий. По субботам ходит в молельню, жадно читает Библию, с радостью, с торжеством находя там все больше примет близкого уже конца света. По-прежнему люто ненавидит он советскую власть, по-прежнему отказывается участвовать в выборах. «Предо мной губернаторы навытяжку стояли! Я — аглицкий подданный!» — с гордостью, с усмешкой говорит он агитаторам, а когда те слишком донимают его, стучит палкой и белеет от гнева.

Его разбивал уже паралич, моргает он теперь неровно: сперва быстро, как у птицы, падает левое веко, потом медленно взмаргивает правый глаз. Борода его грязного цвета постоянно дрожит, костлявый лысый череп с запавшими висками блестящ и желт, как у покойника. Он старчески неопрятен, нечист, и даже на морозе от него нехорошо пахнет. Но и до сих пор не потерял Круглов крутого своего нрава. До сих пор, униженный, робкий, одряхлевший, он вдруг широко раскрывает мутные склеротические глаза, вздергивает голову, немощное тело его сотрясается от мгновенного гнева — и трудно тогда выдержать его взгляд.

Поразительным бывает иногда человеческое постоянство! Есть человек в городе, которого Круглов ненавидит уже десятки лет, имени которого не может слышать без того, чтобы не почувствовать сотрясающе-бессильной ярости. Чего бы не отдал, не сделал Круглов ради того толь-

ко, чтобы увидеть врага своего униженным, растоптанным, чтобы насладиться сознанием своего первенства, превосходства! Как часто мучает, казнит, жжет огнем его Круглов в бессонные свои ночи! И враг этот, как ни странно, — Тихон.

Ненавидит и презирает его Круглов так долго и сильно, что чувство это превратилось у него в своего рода страсть, в душевный запой: не поговорить с Тихоном, не поиздеваться над ним он уже не может. И вот зимой, когда вечера Круглова особенно длинны и тоскливы, раза три в месяц слышит Тихон короткий звон под палкой Круглова, а спустя минуту видит знакомую и тоже ненавистную ему фигуру. Круглов подходит и останавливается под фонарем.

— Ну? — тяжело спрашивает Тихон.

— У вну... у внука был, — говорит Круглов, задыхаясь, шаря дрожащей рукой по полушубку. — Шел домой, сердце схватило... Думал, помру. Во рте таково сладко стало...

Тихон молчит, насупясь, поглядывает сбоку на Круглова: он не любит больных, боится разжалобиться.

— Ноги затряслися, — продолжает Круглов, немного отдышавшись. — Ноги мои, ноженьки... Второй раз это уже! Скоро, должно, помру... Кому привет передавать, Тихон?

— Чего тебе возля базы надо? — грубо обрывает его Тихон.

— А ничего. Так постоять... Добро свое вспомнить. Моя ведь это творения, — нарочито скромно и простонародно говорит Круглов. — Мой лабаз-то!

— Тво-ой? — Тихон насмешливо-сочувственно чмокает. — Ишь ты... Дела-а!

— Молчи, дура! — хрипит Круглов и яростно вонзает палку в снег.

И Тихон молчит.

— Помирать еще не думаешь? — немного успокоившись, спрашивает Круглов и оглядывает огромную фигуру Тихона. — Н-да... Лет на двадцать тебя еще хватит. А я вот боюсь, — таинственно говорит он и моргает. — Смерти-то боюсь! Я вот с тобой стою, хотя ты и босяк. Меня вся Расея знала, а я с тобой вот стою. А почему?

— Знала, да забыла Расея-то, наверно, потому, — усмехается Тихон.

— Дура! Вот и врешь... Я домой боюсь идить. Придешь, ляжешь, в голове муторно и грудь давит. Давит грудь-то,

как землей заваливает. Смерть, значит, дает себе знать! Тут, я в Бога верую, лампаду засвечу, «Господи!» — думаю. Днем то, се, ничего днем-то, а ночью... Лежу, слушаю: часы стучат, раз пробьют, еще... Птушки в клетке завозются — щеглы у меня, — оно и ничего.

— Живность, значит, любишь?

— Во-во! Люблю, чтобы возле меня живой был. Старуха жива была, так храпела... А сейчас один — дыху ничьего не слыхать, сердце одно свое слышу. Таково оно хрипло бьется. Ох, намучилось сердечушко мое, уж оно намучилось! Не люблю своего сердца слушать. Думал тоже: кого завести? Кошку разве... Да не люблю кошек, не уважаю. Чернота в них, звериность, ну их! Собака у меня была. Дамка, приблудилась, черт! Здоровая сука, жрала много, так жрала — хоть баржами корми, все нипочем. Ну, убил я ее.

— Убил?

— Удавил! — Круглов чувствует скрытую ненависть в вопросе Тихона и смеется: «Вот оно, начинается!» — Гнал от себя, не идет, привыкла. А кормить чем? С вашей властью себе не прокормишь! Не в силах я такую псину кормить. Ну, зазвал в сарай. «Дамка!» — говорю. Пошли... Пошли, значит, взял я веревку, петлю ей на шею исделал, глянула она на меня, поняла, видно, визгнула, ну я ее...

— Не пожалел, значит, — говорит Тихон, тяжело глядя на неестественно веселого Круглова.

— Дура! — с удовольствием отвечает Круглов. — Подумай! Чего ее? Ты знай, ни одна псина своей смертью не сдыхает, то есть всегда что приключится: задавит, утопнет, сбесится, а не то в спутник засодют... Такой уж предел им от Бога положон!

— А и зол же ты! — равнодушно замечает Тихон. — Телом ты таракан, а злобы — на доброго коня. Гнилая у тебя душа...

— Ага-а! — Круглов добивается наконец того, зачем пришел, и сразу сотрясается от слепой ненависти. — Ага, о душе вспомнил! А когда раздевал-разувал меня, о душе моей думал ты? А? Кривишься, стерва, босяцкая морда? Круглов жил и другим давал жить! Мало я вас, сволочей, кормил-поил? Богадельня, где теперь техникум, чья была? А церкву, какую вы разорили, кто построил? А? А груз ты чей таскал? А любовницы... Любовницы-то мои, здешние же бабы... Они что же, добра от меня мало схапали? Бросал я их... Бросал, а не оставлял, дома им строил. А ведь

жили же мы раньше, жи-или! Не вам, антихристам, не вам, беспортошным сукам, дуракам, чета! Я, бывало, работаю до седьмого поту — искры в глазах...

— От пьянства искры у тебя были, — мрачно-радостно вставляет Тихон.

— От пьянства! Знаешь, когда дурак умным бывает? Когда молчит. Молчал бы — от пьянства! Я пил — опять же весь город с меня богател. Сколько я тыщ-то просадил, где они? Я вот ночами не сплю, так все думаю, за что же нас разорили, неужто, думаю, раньше жизнь хужей нынешней была? Начну вспоминать, зуд по телу идет, каждый божий день вспомнишь, слезами изойдешь!

— Ду-умаешь... — передразнивает его Тихон и мстительно смеется, хлопая рукавами тулупа себя по бокам. — Слезьми исходишь... Отлилися, значит, кошке мышкины слезки! А еще ничего не думаешь?

— Думаю и еще, — говорит Круглов и поднимает трясущуюся руку. — Скоро вам всем конец придет, ско-оро! Недолго вам осталось кровушку пить! Библия, она свое предсказание окажет, она ока-ажет! Ух, и загоритесь вы все, ух, и не сладко вам будет... Ты думаешь, атом-то — это тебе так? Так, да? Нет! Сказано: и восстанет брат на брата, и отец на сына, и умножится горе, и разверзнутся небеса, загорится земля и небо... Ага-а! Сами себя жрать будете, как шакалы аравийские, настроили на свою голову, сами же и сгорите, проклятые! Вспомните тогда Круглова! Вспомнишь, иуда, кто тебя поил-кормил и кого ты предал псам смердящим! Ограбили Круглова — ладно! Мне место уготовано...

— В пекле тебе место уготовано! — рычит Тихон, тоже возбужденный, взбудораженный наконец Кругловым. — Капиталы свои жалеешь? А как ты наживал их, а? Папашу-то своего мышьяком кто затравил? А племянника кто утопил? Молчишь, змея подколодная? Сколько ты душ-то по миру пустил, сколько слез сиротских пролилось-то? А из-за кого я пил, из-за кого бешеным дураком был? «Жи-или»! Чтоб ты на том свете так жил! Про Парижи помнишь, а про голода, про холеры не помнишь — твои-то детишки не мерли! От сладкости я хрип гнул на тебя, надрывался, чирьи по теле шли? Жизнь-то мою, молодость-то мою кто загубил, не такие-то, как ты, все душегубы, мать вашу, а? Я и не помню ничего — вся жизня как один день — это как же? Ты-то стенаешь по ночам, дюже прошлое жалеешь, а я вон в сторожке сяду ночью, подумаю, вспомнить ничего не могу. Мало вас таких-то расстреливали! Истязать вас надо за все, за всех голодных, за всех нас — под корень извести! Да ты... Слю-

нявый черт, ах ты... Убью я тебя! Не приходи ко мне — убью, доведешь ты меня, ты меня знаешь, ты меня помнишь, не трожь меня, сердца моего не береди... Я и так жалею, локти себе кусаю, что не достал тебя, не извел в семнадцатом годе... Слышь, купец, слышь — вон тебе Крест Святой, убью!

Тихон со страшным лицом хватает Круглова за воротник, ведет от фонаря. Воротник трещит, Круглов обмякает, молчит, послушно перебирает ногами, дрожит бородой.

— Погоди, весной плотину... кончат... зальет тебя, стерву проклятую! — задыхаясь, гудит, хрипит Тихон и толкает Круглова так, что тот падает.

Круглов с трудом поднимается, поворачивается к Тихону, в горле у него булькает, свистит.

— Не за... не зальет! — заикаясь от ярости, захлебываясь слезами, кричит он.

— Зальет! — уже гулко и бодро повторяет Тихон. — Кончены твои дни, сдохнешь скоро, купец, ваше степенство! Как здоровьице, ваше степенство? А? — вдруг вспоминает он. — А? Хо-хо-хо!

— Не зальет! — плачет Круглов. — Я тебе переживу! Моя кровь неумирущая!

Тихон смеется особенно радостно, особенно мстительно, а Круглов поднимает бороду, закидывает мокрое от слез лицо к черному небу.

— Господи! — отчаянно просит он и невнятно бормочет: — Бу-бу-бу-бу...

И уходит во тьму, истерзавший себе сердце, в диком отчаянии вспоминая, воображая былую свою силу, власть, былую гордость и могущество, ничего не видя от слез. Уходит, чтобы молиться, чтобы утверждать еще и еще раз себя в близком конце света, чтобы глубоко ненавидеть все новое, молодое, непонятное ему, чтобы снова задрожать и задохнуться, увидев где-нибудь громадную фигуру Тихона. Уходит, чтобы, как алкоголик, как жаждущий, опять прийти недели через две к бывшему своему лабазу.

А придя, качаясь, приседая от слабости, прислоняясь к фонарному столбу, опять будет он терзать себя, проклинать, грозить страшными карами Тихону и всем, кто вместе с ним строит новую жизнь. И будет с тоской, с великой болью, мукой и радостью вспоминать старое — свою жизнь, свои успехи, богатство, даже прошлые свои неудачи. И все прожитое, решительно все будет казаться ему сладостным, прекрасным, истинным, а все новое — чуждым, враждеб-

ным, непонятным и несправедливым. И опять, выведенный из себя, будет рычать на него, будет жестоко насмехаться и толкать его в шею Тихон.

И люди, знающие об этой удивительной в своем постоянстве, ставшей уже сказкой города вражде, старики, помнящие молодого Тихона, его дикость, его бешеный нрав, уверены, что когда-нибудь не миновать беды: убьет Тихон Круглова. А уверенные в этом, заранее оправдывают убийство — сам напросился!

1958



НА ОСТРОВЕ

1

Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко-вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше, к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него: так надоел ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов.

Чем больше ездил Забавин по Северу, тем привычнее и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хотя когда-то очень все это любил.

И теперь, в карбасе, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу, в теплой комнате.

Когда карбас, пробравшись возле многочисленных катеров, мотодор и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами, с наслаждением чувствуя твердую землю.

На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще водорослями и послабее — рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем — вообще всем тем, чем пахнут обычно морские пристани.

Забавин пошел по утрамбованному шлаку мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом. Кругом была унылая земля, покрытая белесым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по ягелю, были худы, и на них, забро-

шенных на этот дикий остров и совершенно лишних, ненужных ему, жалко было смотреть.

Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору; ему показали, он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать: последнюю ночь на пароходе он почти не спал.

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно, до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чаю своей заварки и с удовольствием выкурил сигарету. Наконец, достав папку с документами, завязав галстук, радуясь тому, что он хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха соленой трески, который осточертел ему на пароходе, бодрый и свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, он пошел в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда.

Весь этот день и два следующих Забавин провел в сухой работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории.

Все это время он был холоден и деловит, тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивал Забавина об Архангельске. В ермолке, с выпуклыми глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых, склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин — худощавый, черноволосый, в модных, узких брюках — казался подростком и, чувствуя на себе взгляды молодых работниц, делался все холоднее и деловитее.

2

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию, на которой, ему сказали, была рация. Станцию он отыскал без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы.

Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил. Тогда он отворил дверь и вошел в дом. В комнате, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был с тонкой шеей, большими розовыми ушами

и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо.

— Вы кто будете? — спросил он, стараясь говорить строже.

И, не дослушав Забавина, выговорил, торопясь и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее он ничего не принимает для передач и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером.

Забавин сказал, что зайдет вечером, и вышел на крыльцо, чувствуя за спиной недоверчивый взгляд радиста. Погода была хороша, и Забавин решил побродить по острову.

Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку, а немного ниже заметил старое кладбище. Он пошел туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами.

На одной плите Забавин с трудом разобрал: «Под сим камнем покоится прах р. Б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия Иванова Прудникова. Жизни его было 56 лет. Преставился после путешествия на Соловец монастырь 1858 года Сентября 6-го дня. Господи, прими дух его с миром».

«Н-да... — подумал с некоторой грустью Забавин. — Сто лет прошло... Сто лет!»

Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старее, вовсе поросли мохом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени, забытого кладбища, думая о тех, кто жил здесь, может быть, не одну сотню лет назад. Потом медленно, в глубокой задумчивости спустился вниз и пошел к себе спать.

Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ, и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, скрылись цехи и трубы завода.

Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась. Туман поглотил все звуки, только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ.

После того как побывал Забавин на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову. Смотритель

маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее, не выходил у него из головы.

И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных коз ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки. Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках.

Начальником метеостанции оказалась девушка лет двадцати пяти, с редким именем — Августа. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами.

Все на острове звали ее просто Густей. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали слабым румянцем, тотчас розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало щекотно на душе, захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее теплое дыхание...

Отдав радисту текст телеграммы, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину, радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Пока она доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Забавин сел, одергивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения.

С необыкновенной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнату с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью. Ему вспомнилось, как смотрели на него работницы в цехах, и он стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном темнота и туман.

Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот, с тем большим наслаждением слушал он норвежскую музыку, треск печи в комнате, следил исподтишка за хозяйкой.

— Ах, черт! — сказал Забавин, глядя на варенье и на Густины руки. — Простите... Знаете, ездишь, ездишь — и всегда кипяток, черствые булки, одиночество... Ах, черт! В кои веки повезет, как сегодня!

— А! — произнесла Густя, опуская глаза.

— Серьезно! — сказал оживленно Забавин. — На дворе туман, ревун этот проклятый, даже страшно! Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь: давно ли мечтал о любви, о каких-то подвигах, о счастье — и вот ничего, и мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи...

Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густи, спохватился.

— Извините... — пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. — Вам неинтересно, а меня прорвало: молчал целую неделю, и такой вечер...

— Ничего, пожалуйста! — сказала Густя, наливая Забавину чай. — Пейте!

Забавин засмеялся, взял чашку.

Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает по договору уже двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Архангельск или в Ленинград.

Поговорив о скуке, перебрав общих знакомых, заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

— Вот вы говорите о сознательной любви, — вдруг сказал Забавин, хотя Густя вовсе не говорила о сознательной любви. — Все рассуждают о любви, говорят, и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, выше и сознательней, кто более подходит веку коммунизма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное — совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня — дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И, представьте, его страшно любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, пьет, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

— Наверно, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины, — серьезно сказала Густя.

— А! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же, дурак он, наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая морда!

В комнате радиста попискивало, стучал ключ, наконец все смолкло, послышались шаги.

— Ну, я все принял и передал... Сводки на столе! — крикнул радист и хлопнул наружной дверью. — На завтра — «ясно»! Я в клуб прошвырнусь! — крикнул он уже с улицы, затопал по крыльцу, и в доме стало тихо.

Выражение лица Густи сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально-серьезно посмотрела на Забавина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему тридцати пяти лет, не было позади ни армии, ни семьи, ни работы, почувствовал внезапно колющее волнение и сухость во рту, то есть именно то, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи.

— И еще тоже счастье... — начал тихо Забавин, и по тому, как он это сказал, Густя поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, останавливая на его лице прекрасные, бархатистые глаза.

— Надеются обычно на будущее, — продолжал быстро Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. — Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде; счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь и вы знаете, что нравитесь...

Забавин запнулся, передохнул, усмехнулся как бы сам над собой, а Густя, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

— Хочется, чтобы пришел кто-то сильный и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество всегда юно, но мы-то, мы стареем!.. Мне сейчас тридцать пять, вам...

— Двадцать пять, — прошептала Густя, решилась поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Забавину.

— Ну, вот! А через год мне будет тридцать шесть, вам двадцать шесть, мы оба и все остальные постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частичка бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще и еще из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем седеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут — какое же тут счас-

тье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут: вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он не счастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив... Да что говорить!

— В чем же счастье? — тихо спросила Густя.

— В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете: пройдет год, два, три — и я буду счастлива! Нет же, вы сейчас именно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам двадцать пять, смотреть в ваши глаза — наслаждение, и у вас важная работа, и море, и этот остров... Подумайте!

— Легко говорить! — сказала Густя, недоверчиво улыбаясь.

— Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество. И в конце концов почему именно остров? Конечно, Архангельск — место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Архангельске, или Москве, или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда? А между тем когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать обо всем этом только издали, а когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын, что на работе вечером совещание, что торопят с отчетом... И начинаешь крутиться, как белка в колесе, вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле? Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам двадцать пять, а мне тридцать пять!

— В этом ли дело! — сказала Густя, поднимая кверху лицо и вздыхая.

— В этом! Рано или поздно вы уедете, конечно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, Исаакий... Но, поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, штормы, и через много лет вы поймете, что счастливы были именно здесь.

— Не знаю, — задумчиво произнесла Густя. — Я об этом как-то не думала...

— Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем: издали лучше видно.

Забавин волновался и, глядя на Густю, думал помимо воли, как было бы хорошо долго-долго жить с ней где-нибудь. Он расстраивался от этих мыслей, понимая их неуме-

стность, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Густи, хотя было уже поздно.

Он собрался уходить только тогда, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать.

Густя вышла с Забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

— Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, — сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. «Милая!» — мысленно поблагодарил ее Забавин и тут же с грустью подумал о себе.

Туман разошелся, ревун давно умолк, над головой горели маленькие пронзительные звезды, и тек Млечный Путь, разорванный, раздвоенный, но ясный.

Быстро освоившись с темнотой, Густя пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошло несколько минут в молчании, потом Густя остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

— Ну вот... — сказала Густя. — Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свидания.

— Погодите еще немного, — попросил Забавин. — Я покурю.

— Хорошо, — подумав, ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограды, прислонясь к ней и повернувшись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица Густи при свете спички, но ничего не разобрал.

Внизу мерно и широко шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно-черно.

Забавин внезапно заметил, что лицо Густи то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет.

Забавин опять повернулся к Густе.

— Маяк, — сказал он без выражения. — Нам светит маяк.

Потом, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные потрескавшиеся губы.

Ничего не сказав, Густя отвернулась от него. Забавин взял ее за худенькие плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому мху, сквозь который чувствовался твердый холодный камень, — дальше от света маяка. Наконец они остановились, впереди была глухая тьма и гул моря.

— Зачем? — печально сказала она. — Вы меня совсем не знаете! А главное, зачем?

Забавин опять поцеловал ее. И когда он ее поцеловал, лицо его было скорбно и глаза закрыты, хотя он и думал, что, может быть, это и есть то счастье, о котором они говорили недавно.

— Не надо больше, пойдемте назад, — тихо сказала она.

— Не сердитесь, — так же тихо попросил Забавин и покорно пошел за ней.

У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина.

— До завтра, — сказала она наконец, вытирая слезы и вздыхая. — Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой и показалась вдруг очень жалкой, когда он смотрел ей вслед. Он долго потом стоял и смотрел то на вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне Густи. Лицо его горело, в горле першило, и он все кряхтел и морщился, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

3

Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь необыкновенных, счастливых дней. Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано: «Срочно ждем Архангельск тчк Парохода не ждите зпт сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой тчк Максимов».

Забавин похолодел. Радист ушел. Забавин продолжал работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошел домой.

А вечером, когда Забавин собрался последний раз к Густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням — зеленому и белому — на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и шхуна осталась на якоре до утра.

До двух часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных, шершавых камнях, любя друг друга все сильней и больней, и все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке.

Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла тихая веселая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, но мало — больше глядели друг на друга и не могли наглядеться...

— Что это у нас? — спрашивала Густя. — Счастье? Скажите! Я не знаю.

— Ну-ну... — небрежно отвечал Забавин. — Просто приятный вечерок.

— Боже мой! — говорила она. — Как же это вы... Как же вы едете! Вдруг едете! Только появились и уже едете!

— Подари на прощанье мне билет, — протяжно сказал Забавин. — На поезд куда-нибудь...

— Что? — не поняла Густя. — Какой билет?

— Песня такая... И мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь! Веселая такая песня! Не знаете?

— Вы сказали... — Густя покрутила радио. — У вас сын есть?

— Двое, двое. Мальчик и девочка.

Занялся неохотный, скупой рассвет. Окно в комнате побелело. Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло.

Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море — огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, неподвижно стояла черная шхуна на якоре, и на мачтах еще горели бледные огни.

Насколько хватал глаз, все застыло, на берегу и на воде было неподвижно, безлюдно и мертво. Внезапно из-за камней появилась крупная темная собака, деловито пробежала мимо, держа хвост на отлете, и вид ее был столь неожидан, что Забавин вздрогнул.

Он отвернулся от окна и взглянул на Густю. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно надел плащ.

— Густя... пора, — сказал он сипло и стал закуривать. Но почему-то он не чувствовал крепости сигареты.

— Что, уже? Подождите! Я сейчас... Я вас провожу! — заторопилась Густя.

Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.

Вместе вышли они на крыльцо, Забавин вдохнул холодный, резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоравшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. Опять появилась собака, хрупая, побежала за ними...

Был отлив, карбас на катках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, раскраснелись, запыхались, наконец влезли и оттолкнулись от берега.

Забавин взялся за весла, стал медленно выгребать. Собака на берегу сосредоточенно, вытянув морду, нюхала им вслед и вдруг тонко заскулила, переступая мокрыми лапами по песку. Густя сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом.

Вода была необычайно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то.

Карбас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

— Товарищ Забавин? — сильно окая, спросил он, нагибаясь сверху. — Давайте конец!

Забавин подал ему чемодан и бросил веревку. Потом повернулся к Густе, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы в лицо Забавину.

Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу.

Через минуту из кубрика, на ходу натягивая телогрейки, стали вылезать заспанные матросы, и шхуна ожила. Заиндевевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал дизель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еле заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У Густи упала на лоб прядь волос, она не поправила ее, сидела неподвижно.

Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на Забавина, дал малый ход. Шхуна тронулась, карбас с Густей стал отдаляться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, хрипло кричал:

— Восемь!.. Семь!.. Семь с половиной!

В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей и медуз.

Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и карбас. Густя как осталась, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили.

Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным.

— Завтра к вечеру будем в Архангельске, — негромко сказал он.

Остров стал уже тонкой голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка, больше ничего. Началась морская крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась, кругом была вода — покатые гладкие волны до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

— Ветерок будет, — зевая, сказал капитан. — Эй! Эй! Приборочку, живо! — вдруг резко крикнул он. — А вы, пожалуйста, в кубрик, — пригласил он Забавина.

Спустившись в кубрик, они сели за узкий стол друг против друга и закурили.

— Выпить хотите? — спросил капитан и полез в шкафчик.

Забавин выпил.

— Ну как? — спросил капитан. — Еще?

— Все в порядке, старик! — сказал Забавин. — Спасибо!

— Это что, супруга ваша была? — помолчав, спросил капитан.

— Нет, — ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы.

— Лягте, отдохните, — предложил капитан. — Вон эта койка у нас свободная.

Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимало и опускало. За бортом звенела вода.

«Ну вот и счастье! — подумал Забавин и сейчас же увидел лицо Густи. — Вот и любовь! Как странно... Любовь! Подари на прощанье мне билет...»

И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виделись ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли...

Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья.

1958



ЗВОН БРЕГЕТА

1

Еще далеко было до солнца, еще в темноте скрипели и пищали возы, в немногих магазинах со скроготом отворялись двери и ставни, еще безжизненно-холодны были огромные окна дворцов и особняков.

Но по темным, с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам торопился уж мелкий чиновный люд. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни, и свет из окон сквозь замороженные стекла туманно падал на снег, а по лиловому небу летели первые черные галки, и все в одну сторону, все молча. И колебался над городом — далеко и близко, явственно, густо и отдаленно, еле различимо, — колебался ровно и ритмично колокольный звон: звонили к заутрене.

Чуть ли не к десяти часам взошло наконец солнце, и поднималось оно медленно — свирепо-холодное, дымное, к десяти часам только засияли под ним розовым серебром купол и колонны Исаакия, замглилась тусклой иглой Петропавловская крепость, неестественно выпрямился Медный всадник, восстал Зимний дворец и бросила на Дворцовую площадь тень свою шестерка коней на арке Главного штаба.

Солнце взошло будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезла ли, не рассыпалась ли прахом за ночь великолепная столица. И увидев, что не исчезла, тут же подернулось мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкнувший зимний петербургский день.

В день этот Лермонтов положил себе ехать к Пушкину.

Давно уж болел он смертельной тоской бесцельности жизни. Да и что было любить ему! Парады и разводы для военных? Придворные балы и выходы для кавалеров и дам? Награды в торжественные сроки именин государя, на Новый год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры?

Мерный шаг учений, пустой пронзительный звук флейты, дробь барабанов, однообразные выкрики команды, наигранная ярость генералов, муштровка и запах лошадиного пота в манеже, холостые офицерские пирушки — это была одна жизнь.

А другая — женщины, молодые и не очень молодые, с обнаженными припудренными плечами, с запахом кремов, духов и подмышек, карточная игра, балы с их исступленной оживленностью, покупная нагло-утомительная любовь и притворно-печальные похороны — и так всю жизнь!

Одно он любил еще, мучительно и жарко, — поэзию. А в поэзии царствовал Пушкин — не тот, маленький и вертлявый, уже лысеющий Пушкин, которого можно было видеть на раутах и о жене которого последнее время дурно говорили, а другой — о котором нельзя было думать без слез.

Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним, и краснел при одном только имени его. Он тоже мог бы познакомиться — и уж давно! — но не хотел светского пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт и не мог еще, не смел, не был уготован.

И только сегодня наконец какой-то вещий голос сказал ему: «Иди!» — и чувство веселости и страха охватило его. Было что-то странное в его решении, будто вдруг лопнула со звоном, распрямилась и повелительно засвистала стальная пружина — резкий, жаркий толчок ощутил он в сердце: ехать!

И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь, выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал — пустился в роковой свой путь.

Встреча должна была произойти, и казалось, ничто не могло предотвратить ее, но случиться должно это было не тотчас — еще не пора было! — а потом, позже, к вечеру.

А теперь, в час пополудни, похудевший от решительности, от тайной лихорадки, сжигавшей его, с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме, на углу Гороховой и Морской.

2

В час пополудни приехал он туда, закиданный снегом, румяный с холоду. И едва взошел, едва разделся, как его обдало горячим запахом соусов, жаркого, вина и душистого табаку. Сквозь стеклянные двери видел он великолепие зала с низкими овальными окнами, крахмальные скатерти,

внушительных лакеев, блеск хрусталя, синий воздух и слышал гул говора.

— Пожалуйте-с! Давно изволили не быть. Ваши в кабинете! — сообщил метрдотель и отечески пошел впереди Лермонтова.

Вытирая влажные брови, ресницы и усы, оправляя ментик, подрагивая ногами в синих рейтузах, бренча шпорами, Лермонтов шел за ним и только дергал головой, только мгновенно улыбался, когда его окликали. Метрдотель открыл дверь, откинул бархатную занавесь, согнулся в поклоне, и Лермонтов вошел в кабинет.

— А! Майошка! — разом вскричали гусары. — Ты ли это?

Кабинет был полон дыма и озарен блеском свечей. Здесь был Монго-Столыпин и еще три гусара. Все сидели с расстегнутыми воротами, все курили, у всех были раскрасневшиеся лица и блестящие глаза.

Увидев Лермонтова, красавец Монго вскочил и поцеловал его холодное лицо.

— Уже выезжаешь? — радостно спросил он. — Господа, место ему! Что будешь пить?

Все задвигались, потребовали шампанского, еще свечей и трубку. Маленький белокурый гусар с голубыми, туго выкаченными глазами кричал:

— Майошка! А мы сговариваемся ехать вечером к цыганам — нынче Стеша петь будет! Ах, прелесть! — он зажмурился и помотал головой. — Смерть моя! Едешь с нами, Майошка?

— Еду, хоть к черту! — быстро отвечал Лермонтов, принимая от Монго стакан лафита. — Если только лихорадка не уложит меня до вечера.

— Ерунда! — прохрипел мрачный черный гусар и выпустил облако дыма.— У меня тоже лихорадка, но в постель она уложит меня только с цыганкой! Ха-ха...

Тотчас все торопливо отхлебнули по глотку, усиленно затянулись из длинных чубуков, тотчас еще ярче заблестели у всех глаза, и продолжался разговор о женщинах, который за стаканом вина в холостой компании может длиться бесконечно.

А Лермонтову после приступа первой радости стало вдруг как-то не по себе, как-то скучно и одиноко. Он вздохнул и опустил глаза.

— Что с тобой? — спросил Монго, делая серьезное лицо, заглядывая Лермонтову в глаза, но в то же время невольно слушая, что говорили гусары. — Ты еще болен?

— Нет, просто я много думал это время, — тихо сказал Лермонтов.

— Ха-ха! — сказал, прислушавшись, мрачный черный гусар. — Гусар не должен думать. Все дело в случае. А как выпадет случай, сразу сорвешь банк. И любовь — тоже случай! — сказал он уже всем.— Выпьем за случай!

— Случай? — Лермонтов обвел всех глазами.— А кто порукою, что наша воля...

— Ах, опять философия! — уныло сказал гусар с тугими глазами. — Ты делаешься несносным, Майошка! Может быть, ты уж и женщин не любишь? А?

Все захохотали, засмеялся и Лермонтов.

— Нет! С вами невозможно хоть минуту побыть серьезным, — сказал он, весело приподнимая усы и блестя зубами. — Дайте мне трубку, давно не курил... И бокал шампанского! Ах, Монго, — понижая голос, быстро добавил он, — как я рад тебя видеть, если бы ты знал! Сегодня ты мне приснился. Я потом тебе расскажу, как ты мне приснился. Вообще со мной случалось много странных вещей, и я сам не знаю, какой путь изберу — путь порока или путь глупости. И тот и другой в наш век имеют одинаковый конец! Значит, господа, едем нынче к цыганам?

Он заговорил, засмеялся, поворачивая во все стороны желтое лицо, расстегнул ворот, стал потягивать вино, стал пускать кольца голубого дыма.

Свечи трепетали, маленький камин жарко топился, трещал, и Лермонтов с большим наслаждением чувствовал этот свет и это тепло. Мигом стали ему известны все полковые новости, и что сказал позавчера великий князь, и что давали и будут давать в опере. Мигом включился он в этот бессвязный разговор и начал, по обыкновению своему, острить и неприятно хохотать, закидывая лицо.

Вдруг он вспомнил о Пушкине и смолк на полуслове. Торопливо посмотрел в окно, вынул брегет и нажал. Брегет прозвонил два часа. Лермонтов встал.

— Куда? Куда? — закричали гусары.

— Не могу, господа, у меня нынче свидание.

— Черт! — завистливо промолвил Монго. — Новая любовь? Когда же ты успел?

— Наоборот, старая! — сказал Лермонтов.

Быстро, ни на кого не глядя, прошел он залом, оделся, поправил саблю и вышел к саням. Он сел, приподнялся, запахнул шинель, отвалился — напряглась, округлилась ватная спина кучера, визгнули полозья, глухо, дробно застукало впереди — и навстречу ему полетел Петербург.

Надвинув на лоб кивер, уткнув лицо в воротник, дыша морозным ветром, помаргивая, он думал о Пушкине. Он воображал его точно таким, каким видел издали во время дежурств своих во дворце.

Горели окна, ярко сияли фонари вокруг Александрийской колонны и у подъезда. Подъезжали и подъезжали по снегу кареты, возки, вкатывались с плотным скрипом по торцовому подъему, останавливались на минуту возле дверей — новые, на рессорах, блещущие лаком, и старые, низкие, покойные... Широко распахивались двери вовнутрь, в пышущую светом и жаром глубину и высоту, проходили генералы с плюмажами, посланники, екатерининские старухи, сенаторы.

Но вот подъезжала еще карета, и камер-юнкер Пушкин — в шубе, в высоком лоснящемся цилиндре с загнутыми спереди и сзади полями — высаживал жену свою, закутанную в меха. Особенно блистательна, молода и ошеломляюще красива была в такие вечера Натали Пушкина, но почти не смотрел на нее Лермонтов, а смотрел во все глаза на маленького ловкого человека с желчным цветом лица и серыми губами.

Он воображал все это сейчас, днем, под шум города, под мягкие рывки лошади, под крики кучера, и ему делалось страшно.

А в небе было борение: серые, сумрачные облака то расходились слегка, то сходились, и город наполнялся по очереди то фантастически-смуглым, то буднично-зимним светом.

В половине третьего Лермонтов подъехал к дому Ростопчиной. Ростопчина была стройна и молода — с обнаженными плечами, с узким лицом и серыми большими глазами, которые она царственно переводила с предмета на предмет и которые одинаково ничего не выражали ни при виде замерзшей Невы за окнами, ни при виде дворецкого, или матери, или теток, или неслышных старух-приживалок.

И только при взгляде на Лермонтова глаза эти темнели, в них появлялся трепет и разгоралось тайное сияние. А Лермонтов был в эту минуту особенно смугл, некрасив, низок, сутул и большеголов — будто нарочно выказывал все свои недостатки. Был он особенно нервен, быстр и небрежен — и не сидел на месте, а все ходил, замирая возле окон и взглядывая на Неву, все переступал своими кривыми ногами в рейтузах, прихрамывал и позвякивал шпорами.

— Вы, верно, не оправились еще от болезни и потому злы, — сказала наконец Ростопчина и вздохнула. — У вас припасены новые стихи? Доставьте мне удовольствие — почитайте...

Лермонтов подошел к окну и стал смотреть на Неву. Он сложил на груди руки, и плечи его приподнялись.

— Вы любите разгадывать сны, графиня... — сказал он.

— Молчите! — прервала его Ростопчина. — Что же, стихи, Мишель? Вы будто нарочно заехали расстроить меня!

— Разгадайте мой сон, — настаивал Лермонтов. — Я отворил дверь и вошел в большую комнату, но за ней была другая, третья. Я шел по комнатам, каждую минуту ожидая увидеть что-то, что меня поразит, боясь увидеть и, кажется, уже нетерпеливо желая. Наконец я дошел до комнаты, в которой стоял гроб. Я увидел бабушку. Она лежала в гробу и смотрела на меня. Я подошел и заговорил с ней — уж не помню о чем,— она села, и мы обнялись. Она жадно смотрела на меня, а я целовал ей холодные руки. Она тоже стала целовать мне руку. Я почувствовал, как она старается прокусить мне кожу — вот здесь!.. Почему вы побледнели? — спокойно спросил вдруг Лермонтов. — Этот сон предвещает дурное?

— Я убеждена в том, что дурные сны всегда к счастью! Но обещайте мне никогда не рассказывать такие ужасные и удивительно неинтересные сны. Я вас прощаю только по одной причине.

— По какой?

— Я знаю, вы стремитесь к бедному Пушкину.

— Откуда вы знаете?

— Женщина угадывает не тогда, когда она любит, а когда ее любят.

— Вы правы, графиня. Пусть свет зол, но сегодня я счастливее, чем когда-либо! — Лермонтов притопнул ногой. — Я веселее любого пьяницы, распевающего на улице.

И он чуть не бегом пустился вниз, в швейцарскую, пахнущую кофеем и шубами.

При поворотах, на раскатах казалось ему временами, что сани застывают, хотя и заваливался вбок зад кучера, хотя хрипела и мелькала ногами лошадь, хотя и неслись по сторонам дома, блистающие витрины, фронтоны с колоннами, львы, решетки, народ, сани, вывески, хотя и заводил с верхов и все понижал неудержимо, со звериным восторгом и сладострастием, свой крик его кучер: «Пади-пади-и-и!..»

— Стой! — закричал он кучеру после третьего или четвертого визита и вынул брегет. — Поворачивай на Мойку, к Певческому мосту! Пошел!

И в пять часов он подъехал к дому княгини Волконской на Мойке.

3

В пять приехал он на Мойку, в пять, жарко покраснев, будто мальчик, зацепив шпорой за полость, выскочил у ворот дома Волконской.

— Нет дома! — сказали ему, а на вопрос:

— Скоро ли будет? — отвечали:

— Скоро!

Он вышел опять на мороз, вытирая лицо платком, испытывая даже некоторое облегчение от того, что еще не сейчас произойдет встреча, опять сел в сани и медленно тронулся, раздумывая, к кому бы еще заехать.

Но, перевалив Певческий мост, поворотив было на Миллионную, он вдруг велел остановиться и ждать, а сам вылез и стал медленно ходить по Зимней канавке, выходя каждый раз на Мойку.

Думал ли он о поэзии?

Или думал о том, как поедет вечером в Павловск, как будет мчаться на тройке по пустынной дороге, а потом в красном жару свечей и лампад слушать песни цыган?

Стало темнеть, стало все блекнуть, мертветь, глохнуть — и пошел редкий, медленный пушистый снег. Лермонтов миновал Миллионную и прошел даже к Неве. Он увидел черные стены Эрмитажа, синюю прямую полосу льда и снега на Зимней канавке, уходящую под мост, на Неву, и прощальную, последнюю светлоту на западе, пересеченную чернотой горбатого моста и аркой перехода в Эрмитаж.

Фонарщики уже зажигали фонари на улицах. В окнах загорались огни, и теплым и милым был их желтый свет на всем холодном и синем.

Ветер, несколько раз задувавший днем, улегся совсем. Снег падал отвесно и был так пушист и сух, что не держался на кивере, на шинели, слетал от малейшего движения.

Отовсюду слышался визг и хруст снега, храп лошадей, покрики лихачей, голоса седоков, смех женщин... Раза два Лермонтова окликнули, но он не отозвался, не поворотил головы.

Опять подошел он к Мойке и взглянул на дом Волконской. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Золотистое пятно свечи плавало из комнаты в комнату, из окна в окно, и они начинали светиться от разгорающихся канделябров. Но шторы тотчас задернули, окна погасли и стали отливать синим холодом.

В последний раз он вынул брегет и нажал замерзшей рукой. Брегет прозвонил шесть. В ту же минуту Лермонтов увидел черную карету, переезжавшую Певческий мост со стороны Дворцовой площади. Он вздрогнул. Это была карета барона Геккерена, он сразу узнал ее, и у него занялся дух. Мигом вспомнились ему все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса.

Карета показалась ему катафалком. Он двинулся к мосту. Он пошел сперва нерешительно, затем все быстрее, путаясь в полах шинели.

Он почти бежал, когда перешел на другую сторону, и все-таки опоздал! Подъезд в подворотне был уже открыт, люди что-то проносили, что-то тяжелое, неудобное — слышалось их надсадное дыхание, слышен был слабый, прерывающийся голос, виден был колеблющийся свет изнутри. А из-за спин людей видна была еще короткий миг откинутая, пытающаяся держаться прямо, дрожащая голова Пушкина.

— Что? — как сквозь сон спросил Лермонтов у высокого военного, торопливо что-то делающего возле кареты. — Убит? Скажите ради Бога!

Секундант Пушкина Данзас ничего не ответил.

— А! — хрипло сказал Лермонтов, схватил Данзаса за отвороты шинели и потряс так, что у того покачнулась шляпа. — Убили!.. — и увидел лицо Данзаса.

Данзас плакал, тряслось все его большое тело, прыгали щеки обезображенного болью, потерявшего облик человеческий лица.

Лермонтов, хромая, пошел прочь. Не доходя до моста, он остановился, положил руки на перила и стал смотреть вниз, на лед Мойки. «Так вот оно что! — как будто произнес кто-то в нем. — Так вот оно что!»

Он пошел дальше, через мост, к лошади, скользя на ослабших ногах, глядя прямо перед собой. Один раз он упал и долго и неловко поднимался потом. Он облизывал усы — они были холодные и соленые. Обросший снегом кучер взглянул в лицо ему, торопливо свалился с саней и стал усаживать его, испуганно подтыкая тяжелую полость.

— Домой! — низко и хрипло сказал Лермонтов, откидываясь, яростно толкая ногой тяжелые холодные ножны

сабли, — и сани понеслись. Кажется, никогда еще не было у него такой скачки, а ему все было мало — свет Невского слепил его, он закрывал глаза и сквозь зубы злобно и жалобно вскрикивал: — Скорей! Скорей!

А прискакав, даже не взглянул на всю в морозном дыме запаленную лошадь, тяжелым неверным быстрым шагом пройдя к себе, едва успев раздеться, он стащил ментик, дернул ворот и повалился на диван.

Зажмурившись, он молча лежал в неудобной позе, дышал редко и, не желая, все-таки воображал весь свой сегодняшний день: ресторацию Дюме, все визиты, все залы и лестницы, и разговоры, и смех, и улицы, и себя среди всего этого.

И опять вспомнил он Зимний дворец, дальнюю свистящую музыку, повторяющую неестественно-радостный однообразный мотив мазурки, и шумящую толпу, идущую все в одном направлении с мягким и почтительным шумом, шелестом и говором.

И среди всех, точно такой же, как и все, так же отдавший руку чему-то яркому, бледному, сверкающему, что было искусно одето во что-то светлое и пышное и что было женой его, так же шел, как шли впереди и сзади него, в глубь дворца по бесчисленным анфиладам залов, — шел камер-юнкер с усталым лицом и пепельными африканскими губами.

Стихи на смерть Пушкина Лермонтов написал в ту же ночь.

А спустя полтора месяца, отсидев уже под арестом в Ордонансхаузе, допрошенный военно-судной комиссией, сосланный на Кавказ, — в новой драгунской форме, в мохнатой бараньей шапке, ехал он на перекладных.

Звенели бубенцы под дугой коренника, чернели и серели по сторонам деревни, торчали вытаявшие из-под снега голые лозины, дрожали на ветру. Дорога вспухла, снег на ней был темен и зернист, кибитка осаживалась, двигалась тяжело, медленно.

Позади оставался Петербург, совсем уже пустой без Пушкина. И было у Лермонтова смутно на душе. Он ехал далеко, ехал, чтобы через пять лет, точно так же, как и Пушкин, пересказав и описав смерть свою, быть убитым из пистолета выстрелом в сердце.

1959



ТРАЛИ-ВАЛИ

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоминный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает нога-

ми фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленяя коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съежившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутом полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилось сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор

небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя ...а-ася и дядя ...е-едя...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие

изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курево... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему роси-

стые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам!. Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недольют. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидуху в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов,— быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— ЛМ-один, — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки — «болиндер», это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю «болиндер» против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорил. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стекленея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может скласть? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, матерьял, словом. Склади, полтораста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами,

устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет,— поет он на старинный русский манер, врастяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это... А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуетом, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуета», он встает, нечесаный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разымаются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...
Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

1959



В ГОРОД

1

Василий Каманин шел рано утром по дороге в Озерище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела. В спину ему дул холодный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной зяби. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода — дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый, забрызганный грязью конский щавель.

Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна. Василий сплевывал, поднимал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед. Но впереди была грязная исхлюстанная дорога, уныло темнели копны соломы, и до самого горизонта — низкое серое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал места посуше, но потом, поглощенный мыслями, опять шел как попало, осклизаясь, тяжело переставляя ноги, наклоняясь вперед худым телом.

Жил Василий Каманин в Моховатке, в стоящей отдельно просторной старой избе. Моховатка до войны была большой деревней, и дом Каманиных стоял в общем ряду. Но, отступая, подожгли немцы деревню, вся она сгорела дотла, только Каманины чудом уцелели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего, и изба Василия очутилась за выездом. Ему предлагали перевезти избу, он и сам собирался, но как-то все не доходили руки, так и остался жить на отшибе.

Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела, Василий все чаще нанимался

работать на сторону — был он хорошим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Жену Акулину Василий не любил давно. Еще до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на дворе, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую — парки, рестораны, кинотеатры и стадионы — любил до того, что и сны ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даже корову продавал, но Акулина шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе, и он раздумывал и оставался.

Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним.

— Что ж, так и не уехал? — спрашивали его.

— Ночная кукушка денную перекукует, — отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.

Весной Акулина заболела. Сперва думали — переможется. Потом Акулина стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Василию зачастили старухи, носили в пузырьках наговоренную воду, настойки на корнях. Но и это не помогло. Глаза у Акулины провалились, запали виски, лез волос, и вся она неправдоподобно быстро худела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней становилось страшно спать: так она была худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дворе, на свежем сене.

Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она помрет. А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданное авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурым от солнца лицом, садился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел исподлобья на жену.

Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных сухих глаз, но все еще красивая, Акулина подавала на стол. Потом, привалясь к стене, трудно дышала, открыв черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

— Вася! — просила она. — Свези ты меня, ради Христа, в город! Свези! Помру я, должно, скоро... Мочи моей нету, больная я вся, Вася!

Василий молча хлебал суп, боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли.

— Свези, Вася! — совсем тихо говорила Акулина и садилась на пол возле стены. — Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю... Скотина у нас, Вася! Ходить за нею надо, трудно мне — уж я на карачках... Ползаю, легше мне так. А внутри-то так и жгет, так и жгет! Свези ты меня, пущай профессор поглядит. Я уж тут никому не верю, а только худо мне, ой, худо!

И вот теперь Василий шел в Озерище к председателю колхоза просить лошадь для жены, а заодно просить, чтобы совсем отпустили его из колхоза.

Настроение у него было плохое, болела с похмелья голова, злоба на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.

2

В Озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал.

Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу завести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, только крякнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени.

В доме было не убрано, грязно, пахло топленым молоком и кислой капустой. На столе стояла швейная машинка, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приемнику висели носки. Хозяина дома не было. Жена его Марья, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая.

— Здорово! — хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. — Где Данилыч-то?

— На что тебе? — также хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья.

— Дело, значит, есть.

— В поле он, чуть свет поехал.

— Домой-то скоро будет?

— Говорил, к завтраку, а там не знаю...

— Погожу тогда! — решительно сказал Василий и тяжело сел на лавку лицом к печи.

Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курят в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум.

Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что лучше заранее раздобыться хорошими досками. Барана придется резать, а то и двух на поминки, родни припрет, пожрать любят...

Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава Богу, соберется, можно будет в городе какой домишко присмотреть.

Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия.

— Зачем пришел-то? — спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу.

Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые слегка навыкате нагловатые глаза.

— Жена у меня дуже болеет, — наконец сказал он. — Насчет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и потом, значит, по своим делам.

— Сколько ей годов-то, Акулине? — без интереса спросила Марья.

— Годов-то? — Василий минуту подумал. — А вот считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка помене.

— А! — только сказала хозяйка.

Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю, и мерный ровный стрекот наполнил избу.

Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть... Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в Моховатку, — мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Василий забылся под стрекот машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошел хозяин.

Был он крупного роста, с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно.

Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка уводил вдоль забора высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом. Тот разъезжался ногами и задирал голову.

— Ну как? — громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за ухват.

Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смолчав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек, сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги.

Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марью, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, гладкая!»

— Ну, как там у вас? — спросил председатель. — Сено возите?

— Во́зим, — торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. — Возим, но навряд скоро управимся... Дожди не ко времю пошли, дуже сыро. Да и народу мало, по домам сидят.

— Чем у вас там бригадир думает? — поморщился председатель. — Сколько раз говорено было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!

Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке.

— Скоро, что ль, там? — спросил председатель у жены.

— Сейчас поспеет, — невнятно сказала Марья.

Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас — опохмелиться бы и лечь поспать.

— Букатинские поля смотрели, — сказал председатель и оживился, — с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про девок-то наших.

Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил.

— Ну! — притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. — Они напи-шут! Такое ихнее дело — писать...

— Задымили, — хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла на двор.

— Ты зачем ко мне? Дело какое? — спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.

Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.

— Жена у меня дуже болеет, — начал он. — Хочу я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч...

— Лошадь? — председатель покряхтел, поскреб голову. — А что, в медпункт не ходила она?

— Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.

— Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтоб дали. С утра и поедешь.

— А я ть тоже здоровьем плох стал чегой-то... — опять начал Василий, делая грустное лицо. — Да ты зашел бы когда ко мне, а? — перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела насухую не делаются. — Брага у меня есть, дочка посылку из города прислала — сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена намедни заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, восемь пудов потянул поросенок... Зашел бы!

— Зайти можно, — сказал председатель, улыбаясь.

— А я, Данилыч, — подхватил обрадованный Василий, — решил совсем, значит, с колхозом распроститься.

— То есть это как же — распроститься? — председатель перестал улыбаться.

— А вот так, — сказал Василий, набираясь решимости и поводя глазами. — Вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишут, зовут... Чего

мне здесь! Потом же, давно я собирался... Старый председатель отпускал меня, спроси хоть кого хошь! Пущай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что?

— Как что! — председатель оглядел Василия, будто впервые видел. — Ты что, или забыл, об чем на правлении говорили?

— А чего мне правление...

— Погоди, не чегокай! Работы нету! Вот осенью новый телятник будем ставить — это тебе что? Потом клуб перестроить, это тебе не работа? А парники закладывать — не работа?

— Это верно, только пущай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я покуда свои права знаю.

— Знаешь? А что в колхозе людей не хватает — знаешь?

— Это меня не касаемо. Это вы глядите, чтоб у вас никто не бег из колхозу. От хорошего не побегишь! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний — на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить и то негде.

— Живешь бедно, да? — председатель хищно согнулся и начал желтеть лицом. — На колхозных работах убился?

— Ты на меня не сипи! — сказал Василий и сдвинул брови. — Не глотничай! Ты фост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь.

— Так... Люди работай, люди борись, а ты в город?

— У меня вон жена помирает, — у Василия зазвенело в голове, перехватило дух. — В город ее надо везть? Это как?

— Лошадь мы тебе дадим, — председатель встал.

— Не пустишь, значит? — спросил Василий, тоже вставая.

— Деньгами разбогател, видно?

— Денег у меня черт на печку не вскинет, — серьезно подтвердил Василий.

— Известно! — председатель громко задышал. — Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим.

— Телятник? А этого не хошь? — Василий сделал непристойный жест.

Председатель отвернулся к окну.

— Кончен у нас с тобой разговор. Катись! Постановления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. Вызовем на правление, там поговорим!

— Ладно, — Василий нахлобучил шапку. — Ладно, мать твою... Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!

Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле плетня кур.

— Поговорили, растуды твою... — бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. — Ясно, без пол-литра какой разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без пол-литра.

3

На другой день, с утра выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана — в городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял.

Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.

— Чуешь, значит? — бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь.

— Ну, молись Богу! — сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну.

Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.

По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством принюхивавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся в стенку.

Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кисет и стал скручивать папироску кровяными пальцами, гу-

сто смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана.

Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки.

Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия на ногах.

Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сжевал, пачкая губы и подбородок кровью.

На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия, с тоской и любовью глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда, свой дом и деревню.

Немного погодя со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок.

Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка.

Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху и теперь выглядел помолодевшим и веселым.

— Вася! — сказала Акулина. — Глянь-ка, красота какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит...

Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханными клинами, речку, потемневшие от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.

Потом он отвязал и взнуздал лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы; поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях.

Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями.

Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильней и острей, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.

Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась — охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги.

Василий же все понукал лошадь. Красное лицо его было напряженно-ожидающим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан.

Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос.

И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство.

1960



ПО ДОРОГЕ

1

Зима отстояла сиротская, как и все прошлые. Снег сошел быстро — дымом, паром на солнцепеке. Бились жеребцы в стойлах, грызли руки конюхам. Потом стали сипеть, захлебываться ревом, сотрясать дубовые брусья прикованные на ферме быки. Затрюкали на опушках дрозды, засвистели на вечерних зорях угольные скворцы, дурманом зацвела черемуха по оврагам. Бесстыдно оголенная с зимы деревня начала прикрываться распустившейся рябиной, березами, сиренью по заборам.

И уж подернулись зеленым туманом поля, стала попыливать дорога, уж катило сухое лето, когда Илья Снегирев собрался опять в Сибирь.

Он решил уехать еще давно, в феврале.

Был вечер, когда Илья, замученный ездками, вышел из конторы леспромхоза на заваленную обрубленными сучьями просеку, к своей машине. От машины — так же как от его телогрейки, ватных штанов, от рук и от шапки — пахло бензином. И Снегирев никогда не различал никаких запахов, кроме запаха пыли летом и мороза — зимой.

Но в тот февральский вечер стояла оттепель. Небо зеленело поверху, смугло рдело за лесом, деревья были черными и набухли. В воздухе так явственно тянуло весной, что Илья почувствовал ее, подышал, высморкался и, забираясь в настывшую кабину, тогда же решил ехать.

Не впервые весна срывала его с места. Побывал он и в Сибири — промучился там все лето в прошлом году, а вернулся осенью в злом разочаровании. Не понравилась ему барачная жизнь, и возненавидел он Сибирь с гнусом в тайге, с тонким, напряженным звуком «МАЗов» на дорогах.

Черно-белой, исполосованной снегом была земля, когда вернулся Снегирев домой. Лес стоял голый, мертвый, трава пожухла, дрожали на ветру былья, а по ночам мела

крупой поземка. Потом повалил снег, морозило и оттаивало, и Снегирев радостно вошел в свою колею.

Он ездил днем и ночью — на станцию, в лес, даже в соседние районы, ночевал где придется, чтобы затемно нагреть воды, залить в радиатор, завести мотор и пить торопливо чай, переговариваясь о чем-нибудь незначительном с хозяином и с наслаждением слушая, как на улице мягко урчит машина.

Он любил ездить ночью по глухим дорогам, когда, кажется, один только ты не спишь на свете, когда машина валяется и клюет носом, а ослепительное пятно света впереди прыгает от колес чуть не к самому горизонту.

По ночам, в одиноких рейсах, легко думалось о прошлом, забывалась обида на Сибирь, меркло все плохое, будто и не было его никогда, а оставалась одна красота и мощь горных кряжей, неистовых нерусских рек, бетонных тяжелых контуров плотин...

И, решив однажды в феврале снова поехать туда в мае, за неделю до отъезда Снегирев взял расчет.

2

Днем он отсыпается, чувствуя себя как в отпуску. Вечерами, нарядившись, ходит к соседям прощаться. Молчалив он и хорош, как именинник, но постепенно расходится и начинает говорить про Сибирь. Говорит он долго и складно, и у друзей его туманятся лица — им тоже хочется в Сибирь.

Домой Илья приходит поздно, снимает сапоги еще в сенях, ступает по избе в носках, думая, что мать спит. Напрощавшись и нагулявшись за неделю, последний вечер проводит он дома, собираясь в дорогу, и впервые замечает грустную нежность на лице матери и ее заплаканные глаза. Ложась спать, он думает о Сибири, о матери, которая остается одна, ему делается попеременно то грустно, то весело — он курит украдкой и никак не может заснуть.

А утром, но не рано, Илья выходит из дому. Его никто не провожает, он не любит проводов. Идет с ним только мать. Все утро она проплакала и теперь, идя с сыном по деревне, задыхается, но говорит о вещах неважных.

На выезде, там, где дорога круто уходит вправо и, минуя перелески, тянется полем, попадается навстречу им машина — везет кирпич со станции. Работает теперь на ней Мишка Фирсов, сосед и приятель Ильи.

Снегиревы сторонятся, их обдает весенней легкой пылью, Мишка кричит что-то на ходу, потом тормозит, выскакивает из кабины и возвращается к Илье.

— Едешь, значит? — спрашивает он, подавая Илье ладонь.

От Мишки теперь пахнет бензином.

— Еду, — говорит Илья.

— Гляди, может, опять не понравится?

— Не боись, понравится... — бормочет Илья и напряженно смотрит в поле. Он слышит, как мать сзади начинает неровно дышать.

— Эх!.. Отгуляли, значит, мы с тобой, — говорит Мишка и оглядывается на машину с работающим мотором. — Гляди, в общем... Закурим напоследок?

Они закуривают и некоторое время молчат.

— А как с Тамаркой? — вспоминает Мишка. — Улажено?

— Чего с Тамаркой! — отвечает Илья беспечно. — Захочет — приедет.

— Так... Ну, давай жми, в общем!

— Ладно, — говорит Илья.

Им хочется обняться, но чего-то стыдно, и они просто жмут друг другу руки.

— Прямо к поезду? — спрашивает Мишка.

— В самый обрез вышли, — говорит Илья, уже нетерпеливо переминаясь.

— А то я так часика через полтора опять на станцию, подвез бы... Ну, гуд бай!

Мишка бежит к машине, а Илья с матерью идут дальше. Через минуту они слышат, как Мишка дает газ и тяжело трогает.

Мать долго молчит, стянув платок на глаза, загородив лицо от солнца. Наконец говорит рассеянно:

— Я тебе скажу, Тамара — совершенство против твоих девок, — она старательно выговаривает «совершенство» и, видно, довольна, что так складно получилось. — Да и любит тебя Тамара по-настоящему, не как эти все льстят...

Илья молчит, но матери обязательно нужно говорить. И она говорит о Тамаре, о том, что будет перекрывать летом дом, о том, чтобы попала хорошая лошадь, когда настанет ее очередь распахивать огород на усадьбе, и опять о Тамаре. Илья смотрит на часы и прибавляет шагу. Мать начинает торопиться, семенить. Мысли ее путаются.

— Ну, сынок... — говорит она и останавливается.

Илья тоже останавливается, ловит на себе выцветший, близорукий, любящий взгляд матери и начинает тереть переносицу. Рот его ведет на сторону, все в нем замирает, но он выпячивает подбородок и приподнимает брови, делая спокойное лицо.

— Дай я тебя... тебе... — говорит мать и мелко крестит его. — Иди, иди, тебе ходчее надо идти, а я еще... я тоже... пойду потихоньку.

— Я вам напишу, мамаша! — говорит Илья высоким голосом и неумело целует ее. — Не хворайте!

— Не дерись там, одевайся теплей... Может, там холодно еще, в Сибири этой, — говорит мать, стараясь не заплакать.

— Да бросьте вы, мамаша! — слишком бодро отвечает Илья. — В первый раз еду, что ли? Вы себя берегите, пишите мне, как и чего. А денег вам я пришлю с первой же получки.

Он еще раз обнимает ее, потом поворачивается и быстро идет по дороге. Он сопит, глаза ему щиплет, в горле чешется. Шагов через двести он успокаивается, дышать начинает ровней, переносицу уже не трет, и лицо его принимает то сосредоточенно-мечтательное выражение, которое держалось на нем всю последнюю неделю.

Он смотрит на легкие слоистые облака, двигает скулами, сглатывает и видит почему-то уже северный Енисей между громадами скал, сопки, тайгу, бледные электрические огни рабочих поселков при свете белой ночи. Еще шагов через двести он оборачивается. Мать потихоньку бредет следом, держа руку козырьком. Илья останавливается, вынимает платок и машет матери. Но мать не отвечает.

«Не видит!» — растроганно думает Илья, вздыхает и идет дальше.

В то время как он идет все быстрее, все шире и решительней, мать останавливается и с радостной улыбкой машет ему рукой. Ей кажется, что сын повернулся и смотрит на нее. Она даже различает его лицо. И ей удивительно, как это она сквозь слезы все хорошо видит.

Далеко в поле катится по меже точка — бежит какая-то девчонка в сторону леса. «А ведь так вот и мать моя бегала когда-то!» — думает Илья с любовью и печалью и оглядывается. Мать уже так далеко, что нельзя понять, остановилась она или еще бредет.

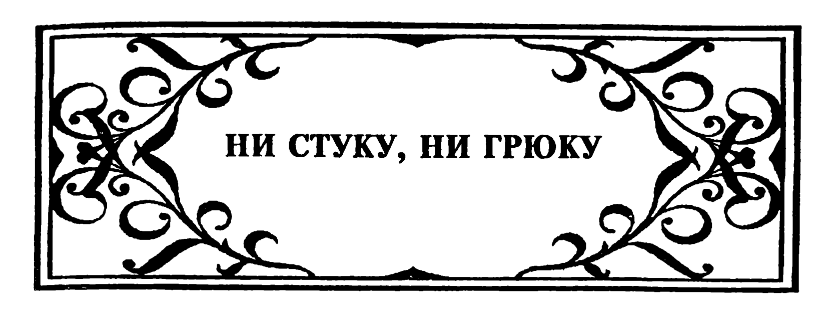
Но мать все идет, все не может повернуть назад. Слезы набегают ей на глаза, и она отирает их концами косынки. Ей теперь не нужно сдерживаться, одна она в поле... «Гос-

поди! — думает она. — Не нужен им дом родной! Ездют, ездют, вся земля поднялась — время какое ноне настало! В рубашоночке... бегал босый, беленький, Царица Небесная! А теперь эвон — полетел!..»

Она останавливается, всхлипывает, смотрит из-под руки вдаль. Давно скрылся Илья, растворился в струистой голубизне горизонта, а матери кажется, что видит она его: повернулся он тоже, машет ей, прощается.

Она глубоко, с перерывами, вздыхает и слабо помахивает ему в ответ.

1960



1

Старик, хозяин сарая, в первый же вечер пришел к ним заспанный, босой и забормотал, поддергивая спадавшие штаны:

— Поскольку, конешно, я разрешил... Только по летнему времю то есть... Оно ничего, живите, вам чего ж — развлечение! Только поскольку сушь, извините, это я насчет курева, значит, чтобы упаси Бог...

А через минуту уже сидел с охотниками на пороге сарая, курил, вздыхал, сморкался и говорил, что пастухи каждый день видят волков, что в Заказном лесу спасу никакого нету от тетеревов и что в полях, за ригами, жуткое дело перепелов.

Охотников было двое. Младшему — Саше Старобельскому, студенту, почти еще мальчику, худому, застенчивому — все казалось счастливым гулом в тот первый вечер.

Вчера только выехал он из Москвы, всю дорогу не отрывался от окна, жадно глядел на входящих и выходящих на станциях. Ехал он на Смоленщину к приятелю, был напряжен и общителен от первой самостоятельности, от мысли о будущих охотах и о деревенской жизни.

Но в Вязьме в вагон сел Серега Вараксин из Мятлева, бросил на верхнюю полку свернутые пустые мешки, сильно и неприятно пахнувшие, положил на лавку арбуз, разрезал его с хрустом и стал есть, сербая, захлебываясь, быстро по очереди оглядывая всех в вагоне.

Был он губаст и красноглаз, с набрякшими лиловыми руками, был в меру выпивши и весел — в Вязьме удачно продал он свинину. Сашу Старобельского он сразу стал звать студентом, а узнав, что тот едет на охоту, загорелся, стал рассказывать, какая пропасть дичи у них в Мятлеве.

— Студент! — говорил Вараксин. — Ты меня слушай, я дело говорю. Я электриком работаю. Совхоз наш — на всю область! Ты куда едешь-то?

— На Вазузку, — счастливо отвечал Саша.

— Э! Я там был. Я везде был, всю область знаю. Ты у меня спроси про охоту! Вазузка твоя ни хрена не стоит, верно тебе говорю! Хотишь поохотиться — валяй к нам в Мятлево. У меня лесничий друг, у нас кого хотишь хватает: перепелки есть, уток на озерах темно, гуси — верно тебе говорю!

И заговорил доверчивого Сашу до того, что тот даже сомлел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме того, что счастлив необыкновенно и что жизнь прекрасна.

Дальше все происходило как бы само собой. В Мятлеве сошли ночью, сразу пошли полевой дорогой, и сразу же, едва ушел поезд, Саша почувствовал, как кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него другая, резко отличная от прежней — глухая, таинственная.

Полыхали по горизонту зарницы, будто мигал и мигал им дух лесов и полей. Не было луны, но звезды были так ярки, так обильны, что все было ими освещено: тонкие прозрачные облака наверху и — внизу, на земле — кусты, поля с редкими, узкими межами, стога сена, еловые лески близ дороги.

Пахло на дороге землей, сухим подорожником. По сторонам все что-то похрустывало, цвиркало, попискивало. Подходили черные телефонные столбы, и тогда слышен был слабый, но внятный многоголосый звон, хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему же звенят столбы.

Попадались бревенчатые, расшатанные, расщепленные тракторами мосты через противотанковые рвы, давно превратившиеся в заросшие кустами и камышом канавы. Кое-где в канавах черно, маслянисто поблескивала стоячая вода. До деревни Сереги было, как он говорил, пятнадцать километров. И раньше, в поезде, расстояние это Саше представлялось пустяковым. Но вот они все шли и шли, и по-прежнему тянулись по сторонам поля и лески, попадались братские могилы с немо чернеющими обелисками, а дорога по-прежнему уходила во тьму. И уж Саша устал, уж ему казалось, что они давно прошли не только пятнадцать километров, но и все тридцать, и что дороге этой, и ночи, и таинственным звукам, и легкому страху, который он начал испытывать, не будет конца.

— Стой! — сказал вдруг шепотом Серега и, затаив дыхание, прислушался. — Ну-ка, студент, вынь ружье!

— Зачем? — тонко спросил Саша, вынимая ружье.

Серега промолчал, а Саша стал торопливо распаковывать рюкзак, доставать глянцевитые картонные патроны с блестящими медными донышками.

— Затем, что пришить могут! Деньги у меня, пятьсот рублей. Понял? — грубо, с удовольствием от мысли, что пугает студента, и сам еще больше пугаясь, сказал Серега. — Пошли ходчее!

Часто оглядываясь, они потом почти бежали дорогой, переходя иногда на сокращающие путь тропки. Саша задыхался, с тяжелым рюкзаком и ружьем, а Серега все нажимал, часто, твердо стукая сапогами по убитой земле.

Наконец попалась возле риги на дороге большая куча светлой соломы, оставленной комбайном. Солому не стали обходить, полезли прямо по ней. Она пружинила и трещала под ногами.

Тотчас стала видна река, а за рекой совхоз, далеко и неясно белеющий своими постройками. Они перешли реку по плавням, пришли к Вараксину и, не ужиная, легли спать. А утром, по холодку, поехали в далекую деревню Кунино.

2

Первым просыпался Саша, вылезал из-под тулупа и будил Серегу. Солнце поднималось медленно, было яркобело, но холодно. Охотники шли гуськом по заливному лугу, оставляя за собой сочно-зеленый след. И чем ближе подходили к мелочам, которыми начинался Заказной лес, тем быстрее шагал Саша, бледнел, сутулился и задолго до мелочей не выдерживал, снимал ружье и взводил курки.

А Серега при каждом шаге подрагивал мясистыми щеками, щурился, зевал, поглядывал на чистое, иссиня-бирюзовое небо и оступался на кочках.

— Студент! — начинал он с хрипотцой. — А ведь мы с тобой папуасы!

— Почему это? — не сразу откликался Саша.

— А как же! — Серега оживлялся и догонял Сашу.— Сапоги бьем попусту. Нам бы с тобой сейчас по бабе какой-нибудь, по мордатой! А? Студент!

— Отстань! — Саша краснел и прибавлял шагу.

— Эх! А какие бабы бывают! — Серега покашливал и раздувал ноздри. — Схватишь ее...

— Тише ты! — страдальчески шептал Саша, пригибаясь.

И, как всегда не вовремя, со страшным шумом, от которого тело Саши становилось гофрированным, вырывался из пустоты тетерев и ошалело лопотал между берез. Саша посылал ему вдогонку выстрел, конечно, промазывал и бешено смотрел на Серегу, переменяя патрон. Серега виновато помаргивал, и охотники уже молча, деловито и осторожно шагали дальше.

К полудню солнце напекало, Серега валился в тень, под кусты, отбирал у Саши рюкзак и начинал с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную, с застывшим жиром баранину, запивая все это сболтавшимся молоком из бутылки.

Саша, покружив в лесу, сморенный жарой, тоже подходил, ложился, смотрел в небо до головокружения. Немного погодя он неохотно принимался за еду, неохотно и хмуро слушал наевшегося, распустившего ремень на брюках Серегу. А тот, позевывая, порыгивая, ковырял спичкой в зубах, пристально и сонно смотрел на какую-нибудь березу и говорил:

— Девки — это не вещь. Ты с девками не связывайся: кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей надо произносить, идейное чего-нибудь, да этих самых слез, попреков не оберешься. Я с ними намучился! Нет, ты возьми бабу... Кха! Ба-бу!

— Брось! — с тоской просил Саша. — Как не стыдно!

— Слушай сюда, дура, дело говорю! — насмешливо отвечал Серега и еще больше оживлялся, ворочался, закидывал ногу на ногу.— Даже не бабу, нет, ты на вдову погляди, не на молодую, а этак лет под тридцать пять — самый цимис! — погляди ты на вдову или на разведенную, да чтобы на морду была не прекрасная. Претензий у ней к тебе никаких насчет там женитьбы и прочего, зато уж душеньку с тобой она натешит, уже она натешится... «И всю-то ночку ласкала меня!» — заорал вдруг он и сел, поглаживая ляжки.

— Студент! — скашивая на Сашу налившиеся кровью глаза, начинал он снова.— А ведь и гады мы с тобой! А? Папуасы! Сколько баб по деревням... Пошли домой!

— Иди ты к черту! — говорил Саша, брал ружье, брел в лес, а подумав, плелся за ним и Серега.

3

На пятый день Серега на охоту вечером не пошел, начистил сапоги, накинул пиджак и отправился в клуб.

Саша один бродил по золотившемуся и розовевшему под низким смуглым солнцем жнивью, вспугивая перепелов, с наслаждением стрелял, бегал поднимать их — тугих, теплых, — клал в сумку и устало улыбался, вытирая рукавом пот.

Скоро стемнело и похолодало. Выйдя к реке, Саша разделся под кустами, забелел нежным худым телом, разбежался, взвизгнул, бухнулся и долго плавал, беспокоя гладкую, темную под берегом воду.

Освеженный, легкий, пришел он в деревню, отдал перепелов хозяйке, ужинать отказался, выпил только парного молока, пошел в сарай, немного помечтал по своему обыкновению и скоро уснул.

А Серега пришел поздно ночью, сопя, залез на сеновал, снял сапоги, разделся, потянулся, зевнул и полез под тулуп к Саше. Умявши подушку, устроившись и согревшись, он толкнул Сашу.

— Ну как, настрелял чего? — спросил он добродушно.

— Перепелок... — невнятно, сквозь сон сказал Саша.

— Ну! А я, брат, сегодня запохаживал. — Серега понизил голос: — Такую девку отколол! Третий двор с краю, видал? Оттуда. Девятнадцать лет, черт... Десятилетку кончила.

— Ты же не любишь девчонок, — не утерпел Саша и язвительно усмехнулся в темноте, уже окончательно проснувшись, с удовольствием нюхая, как пахнет подушкой и сеном.

— А это смотря по тому каких, — нашелся Серега.

— Как же ты с ней познакомился? — спросил, помолчав, Саша.

— Ну, это для меня не вещь! Любовь крутить да письма всякие писать — плевое дело!

Он сел, нашарил в темноте брюки, достал папиросы, закурил, лег и продолжал:

— Пишешь, к примеру, ты девке, к примеру, звать ее Люба... Пишешь: «С горячим приветом к вам, Люба, неизвестный вам передовой электрик Сергей Вараксин. Поскольку несем мы героическую вахту на благо всего советского народа, то я весьма интересуюсь, Люба, знать про ваши дела в вашей повседневной жизни и учебе».

Серега засмеялся от складности того, что говорил, и возвысил голос:

— «Ты, Люба, писала в своем письме, что веришь в чистую дружбу. Вы, конечно, меня не знаете, но вы скоро меня узнаете путем переписки, а возможно, и личной встре-

чи. А в этом вопросе современности я с вами целиком и полностью согласен и предлагаю свою горячую верную дружбу. Люба, напиши по этому поводу, какого вы мнения. А пока, Люба, посылаю вам свою фото, каковой взаимно жду и от вас...»

— А на фото, — добавил он, посмеиваясь, — надо написать так: «Люби меня, как я тебя, и будем мы навек друзья» или: «Пусть этот мертвый отпечаток напомнит образ мой живой».

— Бодяга какая-то, — сказал, тоже улыбаясь, Саша. — Да ты про сегодняшнее-то расскажи!

— Ничего не бодяга! — живо отвечал Серега. — Ты еще сопливый, не понимаешь! А такие слова на девок как кислота действуют. Ты со своей философией да с поэзией век дураком будешь. Эх, тебя бы к нашим корешам, они б тебя обработали! Парень ты на лицо симпатичный...

А сегодня так было. Пришел я в клуб. Ну, клуб у них никуда! Наш — новый, с колоннами, два года строили. А у них тут так... изба большая, пятистенка, без печки и без перегородки.

Пришел, закурил, выясняю положение. Народ собирается, но только сперва все девки, ребят нету. Пришел гармонист, начал скрипеть, девки — танцевать. Я к одной. «Разрешите, — это я ей говорю, — с вами пару подметок не пожалеть!» Танцуем. Я это сейчас тонкий намек ей на толстые обстоятельства, что, мол, не мешало бы ей уделить внимание в более подходящей обстановке.

А девка!.. Бока тугие, щеки так и трясутся. Ах ты, думаю, японский бог, в самый аккурат мой вкус! Ну, она мне в натуре отвечает, что она со мной согласна и внимание уделяет, только не таким, как я. Это, значит, я рылом не вышел. Ну, ладно... Вижу — занятая она, дохлое дело. Я опять попритих, выглядываю.

Вдруг смотрю, одна — молоденькая, красивенькая... Глазами так и стригет, губки красненькие, волосом черная, а я блондинок не обожаю вовсе. И главное, с девчонками все крутится, хихикает. А они, которые незанятые, всегда табунком держатся.

Ну, я заметил: глянула она на меня раз, другой. Я тогда к ней, оттираю ее в сторону... Тут движок застучал, дали свет, при свете-то она еще красивше оказалась. Пластинки закрутили, станцевал я с ней пару раз, интересуюсь, кто, мол, такая. Говорит, телятница на ферме. Ну, ладно, предлагаю ей просвежиться. Выходим в сени, оттуда на крыльцо. Правда, ребята уже собрались, там у них все комсо-

мольцы, сознательные, паразиты, — в сенях курили, — кричат ей: «Галя, Галя!» — это ее Галей звать, — фонариками светят, а я боком на нее, шепчу: «Я тебе, мол, чего-то сказать хочу...» Ну, она задрожала. Они, эти девки, всегда дрожат, прихватишь там ее под руку или лапанешь, она и затряслась.

Ну, она дрожит, а я ходом веду ее по дороге, назад глянул — никого не видать, я давай к ней жаться, а сам покашливаю, молчу, делаю вид, что дюже смущен. «Ты чего, говорю, дрожишь? Замерзла?» — «Не знаю...» — это она-то. Ну, я сейчас ей свой пинжак на плечи. А это, студент, учти, первое дело — пинжак ей свой отдать. Как накинул, так она сразу как мышь.

Так я ее и проводил до самого двора, а пуще всего рад был, что попутно. А то, если б с Горок была, ошалеешь провожать-то! А тут ничего, соседи. За двор зашли, за зады, посидели на бревнышке, я ей про свою жизнь толкую, разливаюсь, говорю идейно, как из газеты, они, такие-то, это любят. А после обжимать начал. Она сперва побрыкалась, потом ничего, сомлела... Сопит, собака, трясется! Через неделю, увидишь, полный порядок в колхозе будет — я с ними умею!

— Подлец ты! — сказал Саша.

Серега захохотал, задирая ноги, шлепая себя по ягодицам.

— Хотишь на спор? Ну? — весело предложил он. И, не дождавшись ответа, все еще улыбаясь, отвернулся, понюхал руки, поерзал, устраиваясь поудобнее, и заснул, вздрогнув несколько раз.

4

Перепали было дожди, и все быстро заосеняло.

Размокли дороги, крыши и стены дворов потемнели, не спеша, плотно и низко поползли с севера тучи, стало холодно, сено в сарае отсырело, и было страшно вылезать по утрам из-под тулупа.

Но скоро дожди кончились, и все опять засияло последней красотой позднего лета. Золотилась паутина в жниве и кустах, опять подолгу кровенела, а потом желтела, зеленела вечерняя заря. Опять падала роса по утрам, воздух был резок, и все чаще крыши и траву обсыпал хрусткий иней.

По садам, по полям, по рябинам тучами летали скворцы. В ригах молотили, веяли, воздух был полон тонкими

звуками работающих моторов, в город шли и шли машины с зерном, и тончайшая пыль висела сухим туманом над дорогой.

Серега пропадал на гулянках. Охоту он совсем забросил, и Саша ходил один, ходил упорно, утром и вечером, хотя и ему уже не терпелось пойти в клуб. Ему теперь не с кем было перемолвиться словом, он часто задумывался, делался тоньше, отчетливее лицом, скулами. Глаза его стали прозрачнее, больше, и все пристальней смотрел он теперь на встречавшихся ему девушек.

А Серега приходил ночью, шуршал сеном, ложился, начинал сопеть, ворочаться, и пахло от него духами и пудрой. Если Саша спал, Серега будил его и начинал изводить разговорами о Гале.

И вот однажды Серега пришел под утро и не разделся по обыкновению, а сел с краю, снял сапоги, свесил ноги, закурил и окликнул.

— Студент! Спишь ай нет?

— Ну что? — грубо отозвался Саша.

Серега помолчал, покашлял, потом сказал:

— Пол-литра с тебя, студент! Проиграл ты.

— Врешь! — сказал Саша и сел.

— Чего мне врать? В милиции, что ли? — равнодушно возразил Серега, и по вялости, с какой он возразил, Саша понял: не врет!

И начал зачем-то обуваться, чувствуя боль в сердце и жалость к себе. Как будто что-то нехорошее, стыдное произошло именно с ним. А Серега повалился на спину, заложил за голову руки, потянулся, посмеялся и заговорил:

— Я еще дня три назад заприметил, что она одна у себя на сеновале спит. Ну, виду не даю, все так уговариваю... Нет, никак! Да ты куда это?

— Никуда, — сказал Саша, замирая, шаря по сену дрожащими руками.

— А мне вроде показалось... Ну, сегодня расстались все честь по чести, взошла она к себе, я за воротами остался... — Он вдруг засмеялся. — А сосед у них, старик шалавый, сад свой стерегет. Выйдет в тулупе с ружьем и вот ходит, как тот часовой. Погомонили по деревне, тихо стало. Дай, думаю, яблочка... Полез. Через плетень перескочил, да неловко, ногами в хворост. Дед зашумел: «Ктой-то! Стрелять буду!» — и курком ка-ак щелканет! Я как брякнулся, так и лежу носом в землю, аж спина похолодела. Вот, думаю, нарвался, вдарит в заднее место — вся любовь пропа-

ла! Ничего, постоял, отошел. Тут я яблок пяток сорвал — и обратно. Хотел тебе пару снесть, да как-то замечтался, сам все съел.

Сижу это я на бревнышке, яблоки грызу, обдумываю положение, у самого уж руки-ноги отымаются, а кругом-то — темно-о! Сгрыз, снял сапоги и пошел. Взошел в сени, как вор какой, весь трясусь. Лезу по лестнице, не дышу, чтобы, значит, ни стуку, ни грюку... Голову вытягиваю, гляжу — где? Гляжу, лежит под самой стрехой. Пополз я по сену к ней... Да кудай-то ты?

— Пошел к черту! — закричал Саша визгливо, нашаривая ногой перекладину.— Скотина! Идиот! У-у!

В нижней рубахе, успев надеть только сапоги, вышел он из сарая, пошел к дороге, сел на бревне возле мостика через ручей, сгорбился, сотрясаясь от озноба, от тоски и гадливости.

А минут через пять, одетый, вышел на улицу Серега, огляделся, увидел Сашу, подошел, сел на другом конце бревна.

— Чего ты, студент? — спросил он насмешливо. — Ай завидно? Я тебе, дуре, давно говорил, брось ты охоту — всему свое время. Ну, хотишь, и тебя познакомлю? У Гальки подружка есть, одинокая, скучает. Та, верно, не такая красивая, ну да тебе и та сойдет... А?

Саша молчал, отвернувшись. Ему было горько и одиноко. За деревней послышались голоса, потом показались темные фигуры — гурьбой шли по дороге, посвечивая папиросами. Подойдя к мостику, замолчали и остановились, приглядываясь.

— Он? — неуверенно спросил кто-то.

— А ну, пойдем...

И они все сразу завернули и пошли к охотникам. Серега поднялся, расставил ноги, сунул руки в карманы. Ничего не понимая, но предчувствуя что-то ужасное, поднялся и Саша.

— Закурить есть? — спросил кто-то из подошедших.

— В сарае... — не своим голосом сказал Серега.

— Постой! — выдвигаясь, сказал низкий крепкий парень в солдатской фуражке и цепко схватил Серегу за рукав. — Гальку знаешь?

— Ну чего ты... Брось! — слабо сказал Серега.

— А чего тебе в клубе говорили, помнишь, сука?

— Да что вы, ребята... — бормотал Серега, начиная дрожать. — Я же свой, деревенский! Не надо, ребята! А с ней я не встречусь больше...

— Ага, не встретишься! — с бешенством повторил державший его и часто задышал.

— Вот гад буду! Честно говорю... Завтра же уеду!

— Ага, уедешь! — все так же бессмысленно, распаляясь, повторил коренастый.

Но тут, кашлянув, придвинулся к ним другой, высокий, гибкий, в галифе и сапогах, с пучком каких-то белых цветов в кармане пиджака.

— Постой, Петя! — неестественно ласково сказал он, отодвигая коренастого. — Я же его знаю! Он парень свой! Не надо его бить...

И, пригнувшись, придушенно ахнув, ударил Серегу в душу. Серега тяжело повалился, потом вскочил, но на него кинулись сразу двое и снова сбили с ног.

Саша хотел остановить их, но его перехватил здоровый парень, ударил слегка, но так, что у Саши зазвенело в голове, схватил за ворот рубашки крепкой бугристой рукой, начал душить и глухо бормотать:

— Тихо, тихо... А то кровь с зубов пойдет... Тихо!

И все смотрел туда, в темноту. А там, толкаясь, мешая друг другу, били и били что-то вскрикивавшее и хрипевшее при каждом ударе. И особенно ловок был высокий парень с белыми цветочками в кармане пиджака. Он приговаривал, задыхаясь: «Не надо... Бросьте, ребята! За что?» — подскакивал и бил Серегу по голове и животу.

— Да что же вы делаете? — закричал изумленный бабий голос с ближнего двора.

Парень, державший и встряхивавший в возбуждении Сашу, бросил его, кинулся к своим, растолкал их, и все вместе они побежали в темноту задами по сырому лугу.

Оставшись один, Саша вытянулся и оцепенел, глядя на валявшегося возле мостика Серегу. И когда прибежали люди, когда, засветив электрическими фонариками, стали спрашивать, кого и за что били, не мог ничего сказать, только стучал зубами и дрожал коленками.

Серегу понесли к сараю, посадили на порог, стали светить на него, ощупывая, разглядывая голову и тело. Закидывая лицо, Серега фыркал кровью и плакал.

— Ничего, цел! — бодро сказал кто-то, осмотрев Серегу и вытирая сеном руки. — Отлежится!

Запыхавшись, пришла фельдшерица в белом халате, обмыла, смазала и завязала Сереге голову. Потом с сеновала сбросили вниз сена, подушку, Серегу уложили, и все скоро разошлись.

Всю ночь Серега стонал, сморкался, плевал кровью, ругал Сашу, Москву и охоту. А утром прибежала Галя, и Саша, впервые увидевший ее, чуть не ахнул: так хороша, так откровенна и стыдлива одновременно была она в своей любви.

— Что они с тобой сделали? Да что же это, Господи! — горячо зашептала она, со страхом глядя на забинтованную голову Сереги.

— А вот погляди! — отвечал Серега, раздвигая бинты, показывая черное лицо и злобно глядя запухшими глазами на Галю. — Видала? Все из-за тебя, стерва! Сегодня же уеду, на хрена мне такая самодеятельность!

— Сережа... — сказала она, опускаясь на колени. — Не нужно, не говори так... Мы на них в милицию подадим...

— Уйди от меня! — сказал Серега, отворачиваясь.

Галя взглянула на Сашу, мучительно покраснела, слезы выступили у нее на глаза. Саша схватил ружье, выскочил из сарая и побрел лугом к лесу, чувствуя опять вчерашнюю тоску, обиду, зависть...

И, как нарочно, был в тот раз чудесный день, особенно тихий, особенно нежный, совсем летний, но бледный и грустный уже по-осеннему.

Целый день, горяча себя, ходил и стрелял Саша, стараясь рассеяться, прогнать тоску усталостью, но уже ни о чем не мог думать, кроме как о Гале.

«Ни стуку, ни грюку...» — с едкой усмешкой вспоминал он. И опять спотыкался на кочках, лазил по оврагам, ел малину и дикую смородину, пьянея от их душного запаха, стрелял,— эхо звонко и резко отдавалось в лесу, и дым пеленой падал на траву.

Измученный, похудевший, пришел он в деревню, отворил дверь в сарай и сразу понял с презрением: Серега уехал.

— У-у, животное! — сказал Саша, положил на сено ружье и пошел к хозяевам. Старик только что проснулся, сидел на лавке с опухшим бессмысленным лицом, шарил темной рукой по клеенке, сгоняя мух.

— Сергей-то? — переспросил он. — Уехал. Н-да... Днем еще подался, дюже расстроился. Два рубля оставил, — грустно усмехнулся он. — Вот как, два рубля, говорю... А ты ай останешься? Ну-ну... Гляди сам. Сарая, сена не жалко. Это кто ж его? Или левошкинские? Я и гляжу: милиция туды погнала. Ловко они его!

Он полез на печь, достал буро-зеленых листьев самосада, стал тереть на ладони.

— Сама садик я садила... — бормотал он, зевая. — Ну, как охота-то? Ай никого не попалось? Это дело на любителя, конешно. Что, ай и в самом деле снюхались они? Не знаешь? Ну-ну...

Он закурил, сладко задымил, закашлялся, краснея лысиной, прижмуриваясь, вытирая шершавой рукой выступившие слезы.

— Настя! — крикнул вдруг он в сени. — Нацеди-ка нам бражки по баночке... Да не оттеда! — прислушавшись, опять закричал он. — Той, которая у ведре!

А когда совсем стемнело, опьяневший, расстроенный, пришел Саша в сарай, забрался на сеновал, повалился и стал тереть онемевшее лицо. Ему вдруг захотелось домой. «Уеду к черту! — тоскливо решил он. — В Москве ребята, девчонки, розыгрыш по футболу... Уеду!»

Он стал думать о Москве, о знакомых девочках, и скоро у него разгорелось лицо от волнения. И жизнь, которой он жил все эти дни, охота, стыдливое, но уже и порочное, как ему казалось, лицо Гали, Серега, звук молотилок, ночная драка, красота осени — все это сразу стало далеким, ушло куда-то, точно так же как ушла вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с поезда в Мятлеве.

1960



КАБИАСЫ

Заведующий клубом Жуков слишком задержался в соседнем колхозе. Дело было в августе. Жуков приехал по делам еще днем, побывал везде и везде поговорил, хотя и неудачный был для него день, все как-то торопились: горячая была пора.

Жуков, совсем молоденький парнишка, в клубе еще и году не работал и был поэтому горяч и активен. Родом он был из Зубатова, большого села, а жил теперь в Дубках, в маленькой комнатке при клубе.

Было бы ему сразу ехать домой, и машина на Дубки шла, но он раздумался и пошел к знакомому учителю, хотел поговорить о культурном. Учитель оказался на охоте, должен был давно вернуться, но что-то запаздывал, и Жуков стал его уныло ждать, понимая уже, что все это глупость и надо было ехать.

Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой. Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице: гнали стадо, и бабы скликали коров.

Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дорогу кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было двенадцать километров.

Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, заклеивал папиросу и смотрел исподлобья на подходившего Жукова.

— А, Матвей! — узнал его Жуков, хоть и видел всего два раза. — Что, тоже на охоту?

Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил, дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая ногтями полу полушубка, спрятал спички и тогда только сказал:

— Какое на охоту! Сад стерегу ночью. В салаше.

У Жукова от кваса все еще была оскомина во рту. Он сплюнул и тоже закурил.

— Спишь небось всю ночь,— сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал давеча, когда была машина, а теперь вот надо идти.

— Как бы не так — спишь! — помолчав, значительно возразил Матвей. — И спал бы, да не дают...

— А что, воруют? — иронически поинтересовался Жуков.

— Ну, воруют! — усмехнулся Матвей и пошел вдруг както свободнее, как-то осел и вроде бы отвалился назад, как человек, долго стесняемый, вышедший наконец на простор. На Жукова он не взглянул ни разу, а смотрел все по сторонам, по сумеречным полям.— Воровать не воруют, браток, а приходят.

— Ну? Девки, что ли?— спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Любку и что сегодня он ее увидит.

— А эти самые... — невнятно сказал Матвей.

— Вот дед! Тянет резину! — Жуков сплюнул. — Да кто?

— Кабиасы, вот кто, — загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова.

— Ну повез! — насмешливо сказал Жуков. — Бабке своей расскажи. Какие такие кабиасы?

— А вот такие, — сумрачно ответил Матвей. — Попадешь к им, тогда узнаешь.

— Черти, что ли? — делая серьезное лицо, спросил Жуков.

Матвей опять покосился на него.

— Такие, — неопределенно буркнул он, — черные. Которые с зеленцой.

Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный сор.

— Вот, глянь, — сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах.

Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах.

— Наговоренные! — с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. — Я с ими знаю как!

— А что, пристают? — насмешливо спросил Жуков, но спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтобы показать, что верит.

— Не так чтобы дюже, — серьезно ответил Матвей. — К салашу не подходят. А так... выйдут, значит, из теми один за однем, под яблоней соберутся, суршат, брякочуть,

махонькие такие, станут так вот рядком... — Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. — Станут и песни заиграют.

— Песни? — Жуков не выдержал и прыснул. — Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, — самодеятельность! Какие песни-то?

— А так, разные... Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: «Матвей, а Матвей! Подь сюды! Подь сюды!»

— А ты?

— А я им: «Ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!»

Матвей любовно усмехнулся.

— Ну, тогда они начинают к салашу подбираться, а я сейчас наговоренный патрон заряжу, да кэ-эк ахну!..

— Попадаешь?

— Попадаешь! — презрительно выговорил Матвей. — Нячистую силу рази убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха...

— Да! — помолчав, сказал Жуков и вздохнул. — Плохо, плохо!

— Кого? — спросил Матвей.

— Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешешь, девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабиасы! Сам ты кабиас!

— Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно.— А вот мимо лесу пойдешь?

— Ну? И пойду!

— Пойдешь, так гляди — навряд домой придешь. Они тебя пирнясуть.

Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность.

Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблекло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей да торчали антенны телевизоров.

Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше — чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную робкую светлую полосу.

Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем

темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.

А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды — их родины.

Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина. Потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было. Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странное впечатление.

Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика. Но ничего не было видно ни спереди, ни сзади до самого горизонта, и Жуков наконец решился и зашагал по-настоящему.

Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебирая кое-где туманом. Ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом. Но потом Жуков опять выходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны.

«Темный у нас народ!» — думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да, — думал он, — надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.

Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же, по своему обыкновению, стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве, и что хор у него в сто человек — академическая капелла.

Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимал и разжимал кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один, без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить.

Когда-то был здесь хутор, но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен и скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глухая чернота.

Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке, решая, как бы ее наконец половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади.

Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами.

Он вспомнил Матвея, жестко-вещее лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным.

Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с задушенным однообразным криком: «о!.. о!.. о!..» — все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу.

«Ну, — подумал он,— пропал!» — и ударился по дороге. Воздух загудел у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо! — думал Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами.— Господи, в руки твои...» А перекрестившись, остановился, не в силах уже бежать, и обернулся, но не было никого на дороге, ни в поле, и сарая не стало видно. Жуков утерся рукавом, не спуская глаз с дороги, и сказал себе хрипло:

— Ха! — и вздрогнул, испугавшись себя. Потом кашлянул, послушал и опять сказал, стараясь, чтобы не вздрагивал голос: — Хо! Хо! Эй!..

Отдышавшись, Жуков торопливо зашагал, с лихорадочной тоской соображая, как далеко ему еще идти, какая ночь и тьма кругом и что лес, на который загадочно намекнул ему Матвей, еще впереди.

Дорога спустилась к речке, и Жуков, как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы. Под мостом загукало, но Жуков даже не разобрал, был ли то действительно звук или ему показалось. «Ну погоди, я до тебя доберусь!» — со страхом думал

Жуков о Матвее, поднимаясь на пригорок, на котором, он знал, начинается лес.

Лес начался росой и сыростью. Что-то мощно дышало из глубины его, вынося в теплый полевой воздух запах прели, грибов, воды и хвои. Направо — в лесу — стоял густой мрак. Налево — в поле — было виднее. Сияли наверху звезды, чем позднее, тем все густевшие. Небо, хоть и черное, все-таки слабо дымилось светом, и деревья выделялись на его фоне твердыми силуэтами.

Из лесного мрака с какого-то сука сорвалась сова, со слабым шорохом перелетела и села впереди. Жуков услышал ее, но не видел, как ни старался. Видел он только, как, перечеркивая звезды, закачался сук, на который она села. Подходя к ней, Жуков снова спугнул ее, и она стала летать кругами, захватывая часть поля и тотчас возвращаясь в лесную тьму. И теперь Жуков ее увидел. На горизонте за полями еще тлел остаток зари, даже не остаток, а просто небо там было размытее, невещественней, и сова, пролетая, мелькала каждый раз там беззвучным темным пятном.

Косясь на сову, Жуков спотыкался о корневища и нехорошо о ней думал. Глянуть направо в лес или назад он совсем не смел. А когда все-таки глянул вперед по дороге, мороз продрал его по спине: впереди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «о-о... о-о...»,— а третий крикнул перепелиным победным голосом: «подь сюды! подь сюды!»

Жуков стукнул зубами и помертвел. Он и перекреститься не мог, рука не поднималась.

— А-а-а!.. — заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг... За елочками что-то зашуршало и покатилось с беспокойным криком в поле.

«Птица!» — догадался Жуков, радостно переводя дыхание и поводя плечами под намокшей рубахой. Духом пронесясь мимо елочек, он вытащил папиросу, достал было и спички, но тут же сообразил, что если зажжет спичку, его сразу заметят во всем лесу. Кто заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметят.

Жуков присел, посмотрел понизу по сторонам, натянул на голову пиджак и так, под пиджаком, прикурил. «Пойду полем!» — решил он. Идти лесом, дорогой он больше не мог, а в поле хоть и было страшно, но не так.

Он прошумел начинающимся по опушке орешником, вышел на открытое и зашагал вдоль леса, далеко обходя все чернеющее на его пути и беспрестанно посматривая направо. Сова все летала, везде шуршало и попискивало, а то где-то в самой глубине леса, в оврагах раздавался не то крик, не то стон и долго колебался в воздухе, перекатываясь, как эхо, по опушкам.

Но вот лес кончился, опять зазмеилась пыльная светлая дорога. Жуков вышел на нее и, повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун. Он бежал, воздух погукивал у него в ушах, лес отходил все дальше, пока не стал едва заметной четкой полосой. Жуков уже решил ни на что не смотреть и начал уже радоваться, начал, подлаживаясь под бег, напевать про себя что-то однозвучное и неестественно веселое: «ти-та-та! ти-та-та!» — как вдруг снова резко осадил и вытаращился.

То, что он увидел, не было на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык, а было что-то живое, что подвигалось ему наперерез по меже. Не было оно похоже ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный. Жуков слышал уже ясно похрустывание бурьяна на меже, мягкое попрыгивание, слабое постукивание...

— Кто это? — раздался звучный голос.

Жуков молчал.

— Знакомый, нет? — обеспокоенно спросил голос уже с дороги.

Жуков теперь понял, что его окликают, что к нему подходит человек и ведет велосипед, но ответить не мог по-прежнему, только дышал.

— Жуков? — неуверенно догадался человек, подойдя вплотную и приглядевшись. — Здорово! Чего ж молчишь-то? А я думаю, кто бы это? Спички есть? Дай-ка прикурить...

Теперь и Жуков узнал Попова из райкома комсомола. Руки у Жукова так дрожали, что спички в коробке гремели, когда он давал их Попову.

— Откуда? — прикурив, спросил Попов. — А я, понимаешь, сбился. Еду к вам, да поворот прозевал, задумался... Вымахал уж к Горкам, да с той дороги сюда — по меже... Да ты что?

— Погоди... — сипло сказал Жуков, чувствуя слабость и головокружение. — Погоди...

Он стоял, виновато усмехаясь, не мог никак справиться со слабостью, окатывался потом и коротко дышал. Пахло пыльным твердым подорожником.

— Заболел, что ли?— испуганно спросил Попов.

Жуков молча кивнул.

— А ну, садись! — решительно сказал Попов и развернул велосипед. — Держись за руль. Ну!

Попов разогнал неровными толчками велосипед, вскочил на седло, сильно вильнув при этом, сдунул упавшие на лоб волосы и покатил в Дубки.

Жуков сидел на раме, ему было жестко и стыдно. Он чувствовал, как тяжело идет велосипед по пыли. Попов горячо дышал ему в спину, поталкивал коленками.

Почти всю дорогу оба молчали. Наконец показались огни колхоза, и Жуков шевельнулся.

— Постой-ка... — сказал он.

— Сиди, сиди! — задыхаясь, ответил Попов. — Тут немного, вот до медпункта доедем...

— Да нет, тормозни... — морщась, сказал Жуков и вытянул ногу, цепляясь за землю.

Попов с облегчением затормозил. Они соскочили с велосипеда и некоторое время стояли молча, не зная, о чем говорить. Рядом была конюшня, лошади услыхали голоса, забеспокоились, переступая подковами по настилу. От конюшни сильно и приятно пахло навозом и дегтем.

— Дай-ка спичек,— попросил опять Попов.

Он закурил и долго с удовольствием вытирал пот с лица и шеи. Потом расстегнул ворот рубахи.

— Ну как? Полегчало? — с надеждой спросил он.

— Теперь ничего, — торопливо сказал Жуков. — Квасу я выпил. Наверно, от него.

Они медленно пошли по улице, слушая затихающие звуки большого жилья.

— Как в клубе дела? — спросил Попов.

— Так себе... Сам знаешь, уборка, народ занят, — рассеянно ответил Жуков и вдруг как бы вспомнил: — Да, не знаешь слова такого — «кабиасы»?

— Как, как? Кабиасы? — Попов подумал. — Нет, не попадалось. А тебе зачем, для пьесы, что ли?

— Так чего-то на ум пришло, — уклончиво сказал Жуков.

Они подошли к клубу и подали друг другу руки.

— Спички-то возьми, — сказал Жуков. — У меня дома есть.

— Ладно. — Попов взял спички. — А ты молока попей, помогает от живота...

Он сел и поехал к дому председателя, а Жуков прошел темными сенями и отомкнул свою комнату. Попив холод-

ного чаю, он покурил, послушал в темноте радио, открыл окно и лег.

Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось, и он, будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час.

Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц.

Ему опять захотелось говорить с кем-нибудь о культурном, о высоком — о вечности, например; он подумал о Любке, соскочил с койки, потопал босиком по комнате, оделся и пошел вон.

1961



«ВОН БЕЖИТ СОБАКА!»

Давно погас высоко рдевший летний закат, пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города, автобус вырвался, наконец, на широкую равнинность шоссе и с заунывным однообразным звуком: «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжествующе и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар.

В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресла, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно, все спали, только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намасленное шоссе и бешено вращались колеса.

Не спали только Крымов и его соседка.

Московский механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг, оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака.

Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, проносившееся мимо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло на далекую матовость шоссе.

А соседка его не спала неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными.

Не спал в автобусе и еще один человек — шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут — сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело, — и только головка была мала, гладко причесана на прямой пробор и глянцевита, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки его, обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэтно темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги.

Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги.

— У вас есть закурить? — услыхал он шепот соседки. — Страшно хочу курить...

Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз, и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова чиркнул зажигалкой. Она, так же как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми, и опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы.

— Ах, как хорошо! — сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. — Это «Ароматные»? Спасибо, они крепкие! От нее горько и нежно пахло духами, и было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность, будто она просила его: «Ну поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе, и будто случайно касаться груди спутницы, и пригибаться, будто выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова: «Вы меня не так поняли», «Что вы! Разве я такой?» — и, конечно же, адресок, телефон в книжечку или просто назначить встречу там-то и тогда-то — это в случае, если едут в одно место.

Он встрепенулся и ощутил сердцебиение, ноздри его дрогнули, но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром.

— Это что! — зашептал он, загоревшись уже другим. — Это не курение — в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьет, и все где-то в стороне, и вдруг у тебя как стебанет! На берег ее выволокешь, с крючка снимешь, бросишь в траву, а она прыгает, ух! Вот тогда закуришь так закуришь!..

— Вы рыбак? — прошептала она.

— Заядлый! — Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. — Я сам механик, месяцами реки не вижу, у нас работа — производство, завод, это вам не артель, не посидишь... Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае! А теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят, дали вот три дня отгула за неурочное время. Ну ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я дорвусь!

— Куда же вы едете? — спросила она, и опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос.

— Есть одно местечко, — уклончиво, суеверно пробормотал он.— А вы почему не спите, скоро сходить?

— Нет, я до конца еду... Вы говорите, на три дня? Когда же назад?

— Во вторник.

— Во вторник? Постойте... во вторник...

Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила:

— А почему же вы не спите?

— Мне сходить в четыре утра.

Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час.

— Три часа осталось. Да и не спится, тут уж лучше не спать, а то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать...

Шофер оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки.

Музыка была тиха, однотонна, одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре, и Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждый о своем и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса.

За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, покуда не иссякнет энергия в аккумуляторах.

Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе, начинало дрожать зарево света, потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка, она близилась, росла, двоилась, троилась, и уже видны были пять мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли, оба автобуса замедляли ход и, наконец, останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались, от моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми столбами. Потом автобусы трогались и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону.

«Интересно, куда она едет? — думал иногда Крымов о соседке. — И замужем ли? И почему стала курить: так просто или от горя?»

Но тут же забывал о ней, поглощенный дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о трех днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет...

Счастливое беспокойство томило его, и соседка занимала воображение. А она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто полуповернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц.

«Кто она?» — думал он, но спросить не решался. И старался догадаться, вспоминая немногое сказанное ею и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красивой.

— Дайте закурить! — внезапно зашептала она. — И расскажите что-нибудь... Что молча ехать, все равно не спим!

Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить? — думал он, уже сердясь немного. — Странная какая-то». А сам сказал:

— Я все думаю про женщин, что вы охоты не любите, рыбалки, а ведь это большое чувство! А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже, будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?

В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб.

— Охота — убийство, а женщина — мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты, вспоминая смерть. И Пришвин тоже...

«Ну, понесла!» — уныло подумал Крымов и посмотрел на часы.

— Полтора часа осталось! — радостно сказал он.

Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову.

«Спать захотела, — решил Крымов. — Ну и ладно, давно пора, не люблю языком болтать в дороге! Хорошо еще, что я не женат, — неожиданно подумал он. — А то была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала... Опупеешь!»

Но ему где-то и обидно стало, и хотя он думал только об утренней рыбной ловле, но прежней глубокой, потрясающей радости уже не ощущал.

Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги, пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, попрежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздохнул, опять запрокинул и отпил, и видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков.

«Что это он пьет? — подумал Крымов. — Пиво, что ли? Да нет, им не положено в дороге... Ага, лимонад! Хоть бы приехать скорее!»

И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке, и ему захотелось кофе.

Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло, но настроение улучшилось, он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман и жадно смотрел вперед.

Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и все — километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе — было отчетливо видно.

Миновали пятисотый километр, шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо, к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, и там, вдали, метрах в семистах от шоссе, чернели верхушки ивняка.

Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише, шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали, наконец все будто совсем остановилось, и только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло, шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником.

— Извините! — сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо.

— А? — сказала та испуганно. — Уже? Вы приехали? Пожалуйста, счастливо... Как это? Ни пуха ни пера?

«К черту!» — по охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял, огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками и мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес.

— Вот, значит, где ваше место! — раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидал соседку.

Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису, но Крымову уже не до нее было.

— Ну, дайте мне на прощание еще закурить, — сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. — Вы очень добры! А я вас всю ночь мучаю просьбами...

Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она? — удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. — Надо идти, пожалуй!»

— Вы счастливый! — сказала она, жадно затягиваясь. — В такой тишине три дня проживете. — Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. — Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков...

«Идти или не идти? — колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь было уже неудобно. — Погожу, пока они уедут, не час же будут стоять!» — решил Крымов и тоже закурил.

— Н-да... — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка? — сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрогнули и пошли вниз. — Я ведь москвичка, и все как-то не выходило...

— Н-да... — сказал опять Крымов, не глядя на нее, переминаясь и смотря на пустынное шоссе, в лес, куда ушел шофер.

Тогда она затянулась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу.

Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усахируснично блестели от заалевшего уже востока.

— Вон бежит собака! — сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. — Вон бежит собака! — медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку.

Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти.

Наконец и шофер появился из лесу, вышел на шоссе, посмотрел на бегущую собаку, посвистал ей, но она не обернулась. Шофер подошел к автобусу и осмотрел его, будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстистых руках была роса. Он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошел автобус, пиная покрышки, и полез внутрь.

— Что ж, спасибо за сигареты! — сказала девушка и тоже поднялась на ступеньку.

— Счастливо, — пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком.

Мотор взревел, автобус тронулся, на Крымова прощально посмотрело изнутри рассветно-несчастное лицо, а он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел прямиком к реке.

«Вон бежит собака! Вон бежит собака!» — нараспев повторял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам.

И с удовольствием смотрел на искристый луг, на небо, дышал во всю грудь, и только одно беспокойство было, как бы кто не опередил его в этот час и не занял место.

Подойдя к реке, он спрыгнул с небольшого обрыва на песок и ревниво огляделся. Но ни одного следа не было на песке. Река — неширокая, медленная, с плесами и камышами, с песчаными отмелями — лениво извивалась по лугам и была глуха.

Крымов быстро распаковал рюкзак, достал кофе, котелок, сахар, зачерпнул воды, набрал сухого плавника и тут же на песке развел небольшой костерчик. Потом воткнул в песок две рогульки, повесил котелок и стал ждать.

Пахло дымом, сырыми берегами и сеном издалека. Крымов сел и ужаснулся своему счастью. Он и не предполагал, что может так радоваться этому утру, и этой реке, и тому, что он один.

«Попью кофе, а потом кину!» — решил он и стал налаживать спиннинг, привычным взглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь, и воду в котелке, которая начинала медленно кружиться.

— Вон бежит собака! — повторял он, как заклинание. — Вон бежит... Попью кофе, а потом кину!

На другой стороне, под камышами, громко плеснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжелыми волнами расходились круги.

«Нет, сперва кину, кофе успеется!» — тут же решил Крымов, продевая леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну «Байкал» — серебряную, с красным пером. Опять, уже в другом месте, ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка.

«Погоди, погоди! — ликующе думал Крымов. — Вон бежит собака! Погоди...» — и насаживал катушку на рукоятку спиннинга.

Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях, и поднялось облачко пара. Крымов поглядел на котелок, снял его и облизал сухие губы. «Ах, черт! Все-таки кофе — это вещь!» — подумал он, осторожно косясь на реку и откупоривая банку с кофе. Он сунул нос в банку, понюхал и чихнул.

— Ух, ты! — уже вслух сказал он и, зажав спиннинг в коленях, стал заваривать кофе.

Заря разгоралась все больше, краски на камышах и воде беспрестанно менялись, туман завитками плыл вместе с рекой, ивовые листья блестели, как лакированные, и уже давно в камышах, и дальше, в лесу, и поблизости, где-то в ивняке, трюкали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким теплым лесным духом и пошевелил камыши...

Крымов был счастлив!

Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но и ночью внезапно просыпался, сам не зная отчего, раздувал огонь, кипятил кофе и, посвистывая, ждал рассвета. А днем купался в теплой реке, плавал на ту сторону, лазил в камышах, дышал болотными запахами, потом опять бросался в воду, отмывался и, накупавшись, блаженно лежал на солнце.

Так он провел два дня и две ночи, а на третий, к вечеру, загорелый, похудевший, легкий, с двумя щуками в рюкзаке вышел на шоссе, закурил и стал ждать московского автобуса. Он сидел блаженно и покойно, разбросав ноги, привалясь к рюкзаку, и смотрел в последний раз на луг, на верхушки ивовых кустов вдали, где он недавно был, мысленно воображал реку под этими кустами и все ее тихие повороты и думал, что все это навсегда теперь вошло в его жизнь.

По шоссе проносились красно освещенные солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось «Волги», и Крымов уже с радостью провожал их глазами, уже ему хотелось города, огней, газет, работы, уже он воображал, как завтра в цехе будет пахнуть горячим маслом и как будут гудеть станки, и вспомнил всех своих ребят.

Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь три дня назад на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала.

— Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тоска схватила его за сердце.

- Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!.. А?

Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно сострадало ему и жалело его.

— Ах, да и подонок же я! — бормотал Крымов, часто дыша, и вытирался рукавом. — Ай-яй-яй!.. — И больно бил себя кулаком по коленке.

1961



ЗАПАХ ХЛЕБА

1

Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.

«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.

— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох-хо-хо... Все там будем. Ты как — поедешь?

Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.

— Не знаю, — сказала она минуту спустя.

Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.

— Ну ладно... Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. — Царство небесное, все там будем!

Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.

Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери были чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.

Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:

— Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина... Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!

2

Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.

Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.

— Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.

И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.

Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.

В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.

Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.

Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.

Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а

главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.

Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.

Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.

В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темно-коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, нестоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.

Оставшись одна, Дуся открыла сундук — запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.

3

Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.

Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрасы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.

Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.

Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той

стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что, казалось, стояла позади солнца.

Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.

Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками — братские могилы...

Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево — среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.

— Вон бабушкина... — сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.

Дуся совсем побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами, что Миша испугался.

— У-у-у, — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — Матушка моя бесценная... Матушка моя родная, ненаглядная... У-у-у... Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?

— Тетя Дуся... тетя Дуся, — хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.

Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятев-

шая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать, только стонала сквозь стиснутые зубы. Лицо ее было черно от земли и страшно.

Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала, глядела на всех огромными распухшими глазами — жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать — еле дошла — и мгновенно уснула.

На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства.

Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише десять рублей. А через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи, и стали в нем жить новые люди.

1961



НЕСТОР И КИР

1

Пять дней уже бушует море. Пять дней каждое утро я слышу его рев, смотрю в окно и вижу все одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег и серые избы на пригорке.

Скучно! Скучно ждать, ни к чему не лежит душа, хочется дальше, но яростная неукротимая сила не пускает меня. Сила эта — ветер и волны, которые захлестывают узкое пространство берега возле гор.

И я опять иду к соседу смотреть ружье, которое он продает мне. Ружье старое, грязное, но мне как-то оно нравится, и не оставляет мысль купить его.

Вхожу в теплую, кислую избу — хозяин на кухне, наваривает капроновую нить, сильно ширкает по ней то варом, то воском. Во рту у него щетина.

— Чаю попьем? — мурчит он.

— Давай, — вяло соглашаюсь я.

Хозяин оставляет дратву, колет лучину, гремит самоварной трубой. Долго и молча потом пьем чай.

— Ну так как? — спрашивает наконец хозяин. — Надумал?

— Дай еще раз гляну, — прошу я.

Он выносит ружье. Я открываю его, десятый раз смотрю в ствол, разглядываю побитый, поцарапанный замок.

— Ты что, — спрашиваю, — гвозди им забивал?

— Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь. Она бьет... — он подыскивает сравнение, — корову наскрозь просадит!

— Ладно, корову! — говорю я и кладу ружье на лавку.

Опять пьем чай, говорим о погоде, о дороге. Идти мне нужно берегом, совершенно пустым на шестьдесят километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные, будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег — камни, метров в пять шириной. При спокойной воде

и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдешь, нужно лезть горами, а в горах масса ущелий — ру́чьев, по-здешнему. Хозяин говорит, что обошел все Белое море, был и на Терском, и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал.

Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояние пугает меня и не горы, а одиночество. Когда идешь и никого нигде нет и ты одинок, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, брошенные тони, черные покосившиеся кресты — это так нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один на земле.

— А погода отдавает, завтра пойдешь, — говорит хозяин.

Попив чаю, думаю некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю море, стараясь заметить в нем хоть какой-нибудь намек на успокоение, и захожу к Пелагее Тимофеевне — восьмидесятилетней старухе. Старуха эта, старая дева, вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света.

Земля будет сожжена на десять локтей в глубину. Города разрушатся, и в них останется по десять человек, а в деревнях — по два. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начинать новую жизнь. Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни.

И горько плачет эта старуха, что поразорили всё, церкви поломали, справных поморов пораскулачили, извели. Тридцать лет прошло со времени «раскулачки», как она говорит, а она все помнит и все тужит о прежней (живой) жизни.

Дом у нее чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общей или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в средней России.

Старуха не видит уже семнадцать лет — у нее бельма, и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: «Во снях вижу все, людей вижу, море, как в церкви служат, а встану — и прощай всё...»

Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираясь в дорогу, и весь пропах дегтем. Вычистил также и смазал ружье, которое не чистили, наверное, лет пять. В этот день мне надо дойти до тони Каменка и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака...

Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинствен после стольких дней шума и воя! Позванивали, булькали волны, и похоже было, что кто-то говорил несколько удивленно, восклицал что-то с бесконечной переменой интонаций или окликал меня — то сзади, то спереди.

На мне были джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов в двадцать, ружье, удочки и в кармане — черные, позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра три, но быстро шел по самому краю воды, пользуясь отливом: здесь особенно гладок, плотен песок и легко идти.

Пройдя за три часа пятнадцать километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лег, закурил и сразу уснул. А проснувшись, заковылял на разбитых ногах дальше.

Начались камни. Начались потрескавшиеся плиты и валуны. Из трещин торчали рыжие водоросли. Но попадались места, где камни были величиной в кулак. Ноги у меня подвертывались и дрожали. Я брел из последних сил, оступался, спотыкался, скрипел зубами при каждом шаге, чувствуя только одно — свои разбитые ноги. Но впереди у меня было, как я думал, тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние четыре километра я шел два часа. Я пришел к тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день двадцать семь километров.

Избушка была пуста — рыбаки куда-то уехали. Я открыл ее и вошел. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развел костер из плавника. Избушка топилась по-черному, я затопил печь, и сразу стало дымно — дым плавал под потолком, лениво выползая в отдушину. Внизу был чистый воздух, наверху плотный сизо-зеленый дым. Если выпрямиться, дым доходил до груди. Приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, тускло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. На потолке была сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая.

Я пил чай, в печи догорали угли — сквозь дым чело печи было как пещера гномов, озаренная горнами. Я закрыл отдушину, заложил палкой дверь и лег, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусе, под которым были телогрейки и мотки веревок. А через часа два проснулся от странного ощущения, которое не оставляло меня и во сне, — будто я начал путешествие в прошлое и ушел далеко, за сто лет, в древность... Да, я далеко ушел в этой

избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый, под плащом, на жестких нарах!

Еловый ручей прорезает горы. В устье его на берегу навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху, мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль нее. Тропа выводит к маяку.

На полпути я сел отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной.

Как все-таки прекрасно это ущелье, какая дикость, какая осень — пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы. Почему тут нет дома, почему нельзя тут пожить месяц и поработать до ломоты в костях?!

Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишье, в горном распадке, злой ветер был не страшен, и осень еще не пришла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху, подошел к обрыву — огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти.

А тропа дальше стала еще мучительней — она шла болотами, сбегала вниз, к ручьям, и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов.

На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно: семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще пятнадцать километров камней, а там пойдет песок... До деревни Кеги, куда я держал путь, был еще тридцать один километр.

О чем думать в пути? Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадаются под ноги, тяжестью рюкзака, стертыми ногами... Опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море — сумрачное, холодное, но спокойное.

Я убил двух доверчивых милых куликов. Они долго перебегали от меня по камням... Сняв ружье, взведя курок, я

спокойно шел мерным шагом и, выждав момент, когда они подпустили меня поближе, — выстрелил. Один не шевельнулся даже, другой низко отлетел на несколько метров. Перезарядив ружье, я подошел к нему. Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И как-то грустно и досадно мне стало.

Какую власть все-таки имеют над нами воспоминания! Давеча на маяке я разговорился о качестве своих сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по Оке и вдруг вообразил поленовский дом, вечер 1 мая, когда мы — продрогшие, грязные, обородатевшие после поездки — сидели в столовой, топили камин, пили доппель-кюммель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком, среди картин и этюдов Левитана, Врубеля, Коровина, развешанных на стенах.

И вспомнив все это, вспомнив еще окские дали, леса и луга по берегам, весну, сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, лопнувшими желудями, первое щелканье соловьев, дымок костра, разложенного возле сторожки бакенщика, — я вдруг почувствовал такую отдаленность от всего этого, такую зависть ко всем своим прежним счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмой дикости, что даже в сердце вступило.

Между тем мыс впереди сменялся новым мысом, пока не показались в море тайники, а на берегу избушка. Это я дошел до тони Варзуга. Было там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше — глухонемой. Я передохнул, помолчал... Молчали и рыбаки.

Изба, как и все тони, грязна, закопчена, спят на каком-то тряпье, нары в два яруса, но весь народ на сенокосе, двое только здесь. Молчание становилось тягостным. Один раз только молодой рыбак сказал скороговоркой, глядя в окно:

Чайки ходят по песку,
Рыбакам сулят тоску...

Оглянулся на меня, засмеялся и замолк — принялся выделывать из пенопластика рукоятку для рыбацкого ножа. За окном молча тяжело летали чайки, садились на песок, темные при темном дне.

Через полчаса должна была идти в сторону Кеги дора. Я так устал, что остался ждать ее — и напрасно: час проходил за часом, а доры все не было.

Я дремал и просыпался, рыбаки все молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким, он улыбался, охотно, но кратко отвечал и опять умолкал. Один раз только рыбаки вышли из оцепенения: молоденький топнул ногой, глухонемой взглянул на него, молоденький кивнул за окно, оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернулись с одной кумжей, скинули проолифленные куртки и сели — молоденький к столу, глухонемой возле окна. Изредка глухонемой зажигал спички и палил на окне осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось.

Наконец послышалось далекое и глухое: «пу-пу-пу-пу-пу», и показалась дора. Мы сели в карбас, выгребли в море. На доре, думая, что сдают семгу, замедлили ход, мы подошли, и вместо семги в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками. На доре все были выпивши и сразу стали извиняться, что пришли не вовремя. Оказалось, выпивали где-то на далекой тоне.

Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжелой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к колхозу, поставили дору на якорь в устье реки, за песчаными барами, подтянули карбас, который был у нее на буксире, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив, везде обмелело, и метрах в ста от берега мы сели на кошку. Подошел еще карбас с двумя молчаливыми девками, часть из нас перелезла в него, он тоже сел на мель, не успев отойти, выпившие рыбаки ухали, толкались веслами в разные стороны, под днищами скрипел песок.

На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами появилась темная женская фигура, тут же к ней присоединилась другая, третья... Скоро на песке образовалась странная какая-то, неподвижная, немая кучка женщин, смотрела на нас, ждала, внимала нашим веселым пьяным крикам. Повыше их едва различались темные пятна изб, слабо горели красноватые огоньки в окнах. И я опять будто провалился на минуту в глубокую древность, пришел к варягам, к их морской жизни — и уж Москва, трехчасовой путь на самолете до Архангельска и Архангельск, каким я его запомнил в последний вечер перед отъездом сюда, прощальный красный свет солнца в окне гостиницы, Двина за окном, мачты пароходов над крышами, гудки, чайки над Двиной, клубочки пара над буксирами, — этого всего будто никогда и не было.

Путь мой был кончен, я приехал в Кегу.

2

Опять я на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море — сейчас черное, керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом. За стеной слышны голоса — там мои новые хозяева: кудрявый седоватый мужик лет шестидесяти, с твердой негнущейся поясницей и громадными сизыми руками; сын его, молодой парень, красавец, так же кудряв, как и отец, только золотоволос, румян, широк в плечах, белозуб и синеглаз — но дурачок, картавый... И жена — маленькая, сухая, темноликая, раньше времени состарившаяся.

Я сижу у себя, пью горячий чай, слушаю, как за окном порывами снова поднимается ветер, снова тяжело и мерно ворочается море, и значит, завтра опять будет шторм и темный угрюмый день, но мне не скучно — наоборот, весело и тревожно, как всегда бывает, когда приезжаешь на новое место.

Занимаюсь я как будто делом: пишу письма, набиваю патроны, чищу ружье и сапоги, какие-то образы, как искры, приходят ко мне, и я некоторое время думаю о них — хорошо ли? Но интересно мне сейчас не это — интересен хозяин за стеной, и я предвкушаю свою жизнь в этой Кеге завтра, и послезавтра, и еще много дней, покуда хватит времени.

А хозяин встретил меня неприветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно и, по всей видимости, не расположен был пускать на квартиру. Но дом был так хорош, из таких сложен гладких огромных бревен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, такие большие в нем окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветью, лесенками, резными перилами и так красиво стоял над морем, что я все-таки стерпел неприветливость и остался.

«Дом чистый, вам там покойно будет, — говорил председатель. — Только хозяин там такой... Из кулаков. Жила! Да вам ведь не век с ним вековать, зато чисто!»

И верно, что-то есть в этом мужике звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость, но еще и другое — какая-то затаенная скорбь, надломленность.

Когда разговорились, и после знакомства, обычного в таких случаях, я узнал, что зовут его странно: Нестор, а сына — Кир, и когда я, несколько ошеломленный такими именами, помолчал, а потом, переведя дух, спросил обыч-

ное: «Как живете?» — хозяин надвинул брови, лицо его дрогнуло, опечалилось, хоть он и улыбался, а ответил так:

— Скучно живем! Только и веселья что на своих именинах...

Утром Нестор вошел ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь, вернее не жизнь, а где и сколько он работал. Как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всевозможных экспедициях и как, наконец, многие годы добывал печуру[1] в горах по договорам с заводами и мастерскими.

Я сперва не понял, почему это он мне так подробно все объясняет, но тут он заговорил о пенсии. Ему шестьдесят один год, следовательно, он имеет право на пенсию. Но он колхозник, и пенсии ему не дают. И вот он пришел ко мне поговорить, как бы все-таки добиться пенсии.

В это утро мы все собирались ехать на тоню к Нестору. У него все было готово для долгой жизни вдали от дома: напечены лепешки, куплено сахару, чаю, не забыта соль и всякая посуда и заранее свезена на тоню сеть. Но погода испортилась, в море выехать было нельзя, и я пошел на рыбную ловлю. Нестор перевез меня через реку на карбасе, немного проводил и вернулся.

— Ты покричи, я тебя обратно перевезу, я возле амбаров буду, точила тесать, — сказал он на прощанье.

Погода была холодная, с сильным западным ветром. Вершины берез и елок трепало, встряхивало. Рыба не клевала совершенно, назад идти не было смысла... Тогда я развел костер и прилег рядом на мох.

Места здесь дикие, холодные, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог. Сенокос поздний — теперь сентябрь, а еще косят, пожни маленькие, стожки тоже маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят одни женщины, мужики не косят, вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем — все рыбачат.

Лист начинает облетать. Береза сыплет желтым, но еще зелена в своей массе, рябина же взялась краснотой, под цвет брусники. Грибов нет совсем. Река поднялась, ветром забило, не выпускает воду в море.

Когда вернулся к вечеру, переехал опять через реку, пошел проулком и зашел в место, очень характерное для Севера теснотой и частотой построек, видом своим, — серо-голу-

---

[1] Печура — точильный камень.

бое от старости и много глухих стен. В деревне так же, как и в городе, есть свои уголки, есть прелестные архитектурные ансамбли, и вся прелесть их еще в том, что все они образовались случайно.

Нестор, весь серый от печурной пыли, радостно говорит, что завтра поедем на тоню. Пошла семга, ему хочется и поесть сладко — давно не пробовал семги, и заработать.

Но на другое утро шторм продолжался, выехать не удалось, и пошел на тоню берегом один Кир, нужно было что-то там подготовить. А Нестор, как и в первое утро, пришел ко мне, опять жаловался, что ему следует пенсия, а вот не дают. «Пензия», «пензия», — повторял он на разные лады, и опять я перебирал с ним возможности получения этой пенсии.

В то время как он говорил, в голосе его, в лице, в глазах виделась скрытая ненависть к строю, который вот не дает ему пенсии; виделось страстное желание этой пенсии, тоскливое сознание, что он заслужил ее всем своим многолетним трудом; и еще — что он все-таки не имеет законного права ее получить, а только свое личное внутреннее право; неверие в то, что он получит ее, древняя мужицкая недоверчивость и боязнь всяких судов и адвокатов и даже разочарование во мне, пренебрежение ко мне за то, что я не могу решительно ничем ему помочь.

А вместе с тем — зачем ему пенсия? Зачем ему эти пятнадцать—двадцать рублей? Вот я гляжу, как он поворачивается у себя дома, как ходит, как смотрит на жену, на сына, как говорит с ними. Сила, уверенность, самодовольство в том, как прочно он садится, как упирается в расставленные ляжки, как раздирает утром гребешком свои сивые кудри, как оглядывается, примечая малейший непорядок, как играет бровями, как сербает, хлебает чай с блюдца.

Дом у него крепок, бревна от старости стали как слоновая кость, есть корова, есть овцы, и вся одежда в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьет, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре, сам разведал, сам вызнал места, где можно легко ее брать. Привозит он ее с Киром всегда ночью, — эти громадные серые плиты спрессованного песчаника, сам выбрал себе место возле амбаров и мостков, там у него мастерская, там он с Киром тюкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точила и жернова, сам следит, как грузят его продукцию на пришедший из Архангельска мотобот, сам все помнит, вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные

накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его — идиот, будто в насмешку названный таким звучным сильным именем, — в полном, в рабском, я бы сказал, его подчинении.

Колхоз с ним ничего поделать не может, потому что как колхозник он тоже работает по нескольку месяцев в году — сидит, как и все, на тоне с сыном, ловит семгу — и там его не обманешь, не обвесишь, и там прекрасно разбирается он в планах, наценках, сортах...

Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем, но только очень напоминает он мне одну легендарную личность, на которую глядел я в свое время, как и все, с изумлением, с некоторым даже испугом.

То был громадный краснолицый мужик, украинец, высланный за что-то в годы войны в Кировскую область. На берегу реки возводился тогда лесозавод, ЦЭС, жизнь была там ужасна и голодна. Работали на строительстве в большинстве своем такие же, как и этот украинец, высланные по разным статьям, эвакуированные, отбывшие заключение, словом, люди, которым не было никуда ходу. Жили в бараках, впроголодь, беспокойно, отчаянно. Не хватало материалов, частей, то одно, то другое на заводе и ЦЭС выходило из строя, людей замучили авралами, ночными работами, а в магазинах ничего не было и в столовой кормили супом, похожим на клейстер. Но план все равно выполнялся, лес по реке сплавлялся, пилорамы громыхали, и составы со шпалами, стойкой, досками и прочим все шли и шли куда-то в необъятность военной страны.

Люди тогда болели дистрофией, какими-то язвами, тосковали по родным местам, умирали, и в поле за поселком необычайно быстро выросло кладбище, и так же быстро пропадали, развеивались ветром там могилы, потому что везде был песок...

И только один человек жил тогда широко и богато, у одного были великолепные шубы, валенки, сапоги, а в кладовке полно было муки, сала, яиц, меду. Он не прибеднялся, не притворялся неимущим — нет, дом его стоял гордо, на отшибе, приходил на базар он как хозяин, как купец — война была ему нипочем!

Он один умел сращивать тросы, и делал это так хорошо, что тросы рвались потом в другом месте, но никогда там, где он срастил. Он постоянно продавал что-то и покупал, каждый раз с неизменной для себя выгодой. Он покупал облигации на сотни тысяч рублей и, конечно

же, выигрывал на них больше, чем все другие вместе взятые.

Деньгам его никто даже приблизительно не знал счету. Деньги держал он дома, под полом, и когда они начинали плесневеть — раскладывал их по всему дому сушить. Трудно поверить, но когда банк задерживал лесозаводу зарплату для рабочих, директор завода на свой страх и риск занимал у этого мужика деньги, и зарплата рабочим выдавалась! Когда кругом уж очень начинали говорить о его богатстве, он брал мешок денег, ехал в сберкассу и вываливал там сто — сто пятьдесят тысяч «на оборону».

В денежных расчетах он был лют, весело-жаден, греб справа и слева, но когда приходили просить у него хлеба ли, картошки ли и попадали в хорошую минуту, тут он бывал добр, даже щедр, и отказа никто не знал. Но и тут не мо́г он утерпеть, чтобы не покуражиться, был насмешлив, ядовит и говорил только по-украински:

— Чого так обидняв?

— Война...

— Вийна? Тебе ж ще не вбилы — чого ж тоби вийна? Дурна в тоби голова! Вумны булы б, в шовку ходылы б и сало илы скильки потрибно. Чого тоби, ну?

— Муки бы...

— Ладно, выдам!

— Да мне в долг, я отдам...

— Знаю, знаю, як вы виддаете! Дэ мешок?

Не знаю, что тому причиной, но только говорили о нем тогда с восхищением, даже с гордостью — вот, мол, черт, умеет жить!

Нет, нет, Нестор не такого размаха, не той широты человек, но хватка и у него та же, есть что-то общее в этих людях — в том, уже полузабытом, и в этом, который вот сидит передо мной и отвлеченно-злобно рассуждает о пенсии. Глядя на него, невольно думаешь: у... и лютый был бы хозяин, дай ему волю!

3

Прошел еще день, погода стала отдавать, и мы с Нестором собрались на тоню. Накануне вечером был у нас с ним вскользь разговор, что недурно бы захватить с собой водки и, сварив ухи из свежей рыбы, выпить на новом месте.

Утром я забыл об этом, а Нестор не забыл, но молчал, думая, что я вспомню. Мысль о водке, видимо, мучила его. Я укладывался, он тоже суетился, с улицы крикнули,

что стучит мотор, мы заторопились, вышли — в самом деле, на реке стучал мотор и двигался по звуку. Мы выскочили на берег между домов, но это оказался почтовый катер, он вез железные плоские коробки с кинофильмом, который вчера крутили в клубе. Спокойно уже пошли мы к рыбоприемному пункту — там пристают и оттуда отходят мотодоры и боты.

И тут Нестор не выдержал, мысль о водке опять пришла ему, он сунулся ко мне, когда уже положили вещи в дору, и скороговоркой напомнил о водке. Я не понял, тогда он повторил уже с каким-то тайным озлоблением, с надеждой и в то же время с боязнью, что я откажу.

Я дал денег, и этот старый мужик, чтобы не опоздать к отходу, рысью побежал в магазин, и лицо у него стало радостное, а я снова подумал, как он жаден — ведь есть деньги, и много, — а такая унизительная радость и такая рысь, чтобы выпить на чужбинку.

Мотодора тронулась с большим опозданием против того, как должна была. Интересно мне было смотреть на мотористов, их два на доре — один пожилой, другой молодой, мальчишка еще.

Вообще, как я заметил, люди, связанные с техникой, от которой зависит передвижение, освещение и так далее — все эти мотористы-механики, шоферы, электрики, — с крайним пренебрежением и высокомерием относятся ко всем прочим.

Так и здесь. Пассажиры уселись в доре и стали ждать. Тут были работник маяка с женой и дочкой, Нестор, еще какой-то рыбак, колхозный счетовод и я. Мотористов не было. Ждем десять, пятнадцать, тридцать минут... «Где же мотористы?» — спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы — боги, по крайней мере, и отчета никому давать не должны.

Наконец пришел пожилой моторист. За ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас, затем стал на борту доры и задумался. Будто решал, ехать ему или нет. Мальчишка стоял на причале и презрительно разглядывал нас. Старший моторист закурил. Потом сел на какой-то ящик.

Когда он появился, никто, конечно, не выругал его, только на минуту примолкли все выжидательно. Затем опять занялись разговорами. Моторист курил, прислушивался к разговору и плевал за борт. Мальчишка зевал. Наконец пожилой встал и завел мотор. Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут пятнадцать бубнили мы у приста-

ни, и я уж думал, кого-нибудь мы ждем, но мальчишка вдруг лениво отдал концы, прыгнул в дору, и мы поехали.

Через полтора часа мы были у тони Нестора. Нас встретил на карбасе Кир, и, едва мы перевалились к нему, сразу закричал,загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвало штормом, как говорили, — снасть эта цела. Нестор страшно обрадовался, заулыбался как-то по-мужицки, мелко, эгоистично, и стал приговаривать: «Вот спасибо-то, вот спасибо-то...» Верно, благодарил Бога или море.

Избушка, в которой мы будем жить, мала и грязна, с тремя окнами на три стороны. Спать мы будем на каком-то тряпье, укрываться одеялом, которое так тяжело, грязно и сально, что, наверное, не меньше трех поколений рыбаков и зверобоев покрывались им, и оно впитало в себя их дух и пот.

Здесь же стоит крест, как и везде, чуть дальше — пустой амбарчик, в котором зимой зверобои разделывают тюленей. А еще дальше другая тоня, на которой живут три моряка — они тут ремонтировали какие-то навигационные знаки и теперь ждут мотобота, чтобы уехать.

Вот и все. Дальше по обе стороны на десятки километров пустое пространство берега, заваленное водорослями и ободранным, обкатанным плавником.

Настал вдруг теплый яркий день, море налилось синевой, Нестор уплыл на карбасе к тайнику, чернеет там, забивает покрепче колотушкой колья, и пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем... А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой секач и рыбацкий нож, вокруг него на песке живая еще рыба, только что привезенная Нестором, шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир берет ее одну за другой, зубатку, треску, камбалу, кладет на сухое бревно, рубит сверху, со спины, и лезет кровавыми руками в брюхо, вытягивает внутренности.

— Хорсё, хорсё! — ликует он, и не сидится ему от наслаждения, ерзает, перебирает ногами, улыбается.

Красавец, хищное животное, бронзовый, кудрявый, белозубый бог — тупая идиотическая сила. «Февраль, — сказал вчера про него Нестор. — Дня одного не хватает!» Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи, в его загадочных бормотаньях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира. Счастлив ли он?

— Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь?
— Не... Ситать не мею. Засем?
— Ну, как это зачем... Ведь ты учился!
— Не... Не сахотел, засем?
— Что же ты любишь? Ну — для души?

Кир не отвечает. Кружатся над нами, хищно и жалобно пищат чайки. Кир, закинув голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно.

— Хорсё! — и кидает им рыбьи внутренности.
— Слышишь, Кир, что тебе надо для души?
— А? Дуси... дуси... а-а, тевку надо! Тевка мякка, хорсё!

Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровавые пальцы о штаны, весь напрягается, напруживается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах.

Занявшись опять рыбой, он вдруг вспоминает, верно, про какую-то охоту, пытается что-то рассказать, но понять его нельзя, — щурясь от напряжения, улавливаешь только, что он куда-то «посол» и что-то такое «насол».

Возвращается Нестор, мы прямо в море полощем ошкеренную рыбу, несем в дом, топим печь и варим уху. После ухи закуриваем и валимся на нары, на грязные телогрейки, одеяла и рукавицы. Портянки, сапоги, куртки, штаны сохнут на протянутой из угла в угол алюминиевой проволоке.

Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, а кого-то не печатают — все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут...

Тут вот со мной рядом лежат рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошли дожжа или не пошли, побережник ветер или шалоник, опал взводень или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней, в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом.

То, что важно для меня, для них не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания

хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?

Но может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь? Они встают чуть свет, зарывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай и ложатся спать. Затем в течение дня они много раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером выроют тайники и лягут спать с ощущением правильно, хорошо прожитого дня. И результат этого дня, неоспоримый вещественный результат — семга. Зачем же им книга? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь, на берегу моря? Они — и море, больше никого, все остальные где-то там, за их спиной и вовсе им не интересны и не нужны.

4

Вечером Нестор и Кир привезли рыбы, на этот раз семги, сварили ухи и выпили, причем пили бережно, с невыразимым наслаждением, как нектар — эту водку-сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежанках возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеной жахало и жахало море, а у нас грелся чайник, карбасы были выкачены на берег, ловушки сняты, развешаны на кольях возле тони, и водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру.

На далеком мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно и было приятно от мысли, что не такая уж пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки и по таким же, как и наша, избушкам сидят ядреные рыбаки, ждут чаю и гадают насчет завтрашней погоды.

— Славно у вас тут живут, — сказал я Нестору.

Нестор глянул на меня, надвинул брови и тяжело усмехнулся.

— Это не жизнь, товаришш ты мой! — твердо сказал он. — Тебе не понять, ты хорошего не видал, а вот раньше — так правда, жили не тужили...

— Старая песня, — возразил я. — Знаю я, как у вас тут жили раньше!

— Это как же ты знаешь?

— Читал, — сказал я. — Историю изучал.

— История! — вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лют. — Изуча-ал! Гляньте на

него — историю изуча-ал! — дразнил и неистовствовал Нестор. — Изуча-ал, хо-хо!

И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно как-то, будто издалека, и хохотал... что же он-то понимал? А понимал, видно, этот блаженный, идиотик, что-то он такое понимал!

— Да ты вот пишешь, — перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и насмешлив. — Все пишете... Дадим двести процентов плану! — противно растянул он. — Все как один! Единодушно одобрили... Или вот у меня жила из Ленинграда одна — блюдцы, стаканы ей, вишь, не чисты, грязно живете, грязно, все платочком протирала, а?

Кир опять захохотал, даже слезы выступили.

— Крясно, крясно...— повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза.

— Да, а потом привыкла, ничего! — уничтожающе закончил Нестор. — Перестала морщиться... А толстая, как свинья, на берегу ляжет, все ей костер разложи — этак, толкует, красивше. Белая ночь ей, вишь, спать не дает, думы все мозгует, а то пристанет: «Нестор, спой песню, ну, пожалуйста!» Тетрадку вынет, ручку нацелит, это, говорит, для науки надо, в институт это, говорит, народно... А я ей думаю: хрен тебе, а не песню, с такой жизни порато не запоешь!

— Так уж плохо и живешь? — поддразнил я его. — Чем же тебе жизнь плоха?

— А вот чем! — Нестор подумал и налил себе чаю. — Это ты все можешь писать, не боюсь, а сказать тебе, извини за выражение, скажу правду. Так? Вот не соврать, в двадцать пятом годе разведали мы с батей этот самый камень, эту печуру, лежала она в горах, никому не нада была, а мы скумекали. Теперь гляди: стали мы помаленьку работать, запряглись не хуже той лошади, батя да я, да брат двоюродный, поработали мы год, другой, видим, печура идет, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит: давай, говорит, воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей, начали мы таскать каменья, запруду сделали, все честь по чести, колесо изготовили с лопастями. Не пивши, не евши — это тебе как? И завертелась это у нас механика! На месте все и точили, на берег выкатали по доскам, складали — это тебе и есть наша русская сметка! Как бот придет из Архангельска, мы сейчас карбаса нагружаем и на него! Понял? Такое дело начали, со всей России заказы пошли...

Нестор поник головой, стал сворачивать папиросу, замолчал, задумался.

— Где же теперь эта мастерская? — спросил я после молчания.

— Где! А вот где: пришла раскулачка, батю на Соловки забрали, очень он яростный был. Меня в колхоз забрили, мастерскую нашу туда же, а на кой она кому нада? Тогда одно нада было — церкву ломать, лошадей припрягли да канатом за маковку...

Теперь вот за песнями едут. Нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я — хозяин, я тут все знаю, я тут произрос — вот тебе и задача. Если б нас таких не трогали, мы бы в гору пошли, — у нас бы тут на Кеге лесопильни стояли бы, холодильни, морозильни всякие по берегу, у нас бы тут дорога асвальтовая была бы, мы бы в Кеге-то, в реке-то бары расчистили б, дно углубили, тут порт был бы! Сколько лесу, рыбы, всяких ископаемых — я с экспедициями ходил, все тут знаю, у меня земля бы в забросе не лежала! А теперь...

Нестор махнул рукой, Кир фыркнул было, но сейчас же смолк под взглядом отца.

— Ты вот сказал, товаришш, славно живете, — какой там! Я в этом колхозе и не работал никогда, как поглядел, когда батю моего брали, да потом горлопаны эти шуметь стали — то́ им ловить, то́ не ловить, а собрались-то самая шваль полоротая, я и подался по экспедициям. То на судне гидрографическом плавал, то с геологами — сейчас председателю бумагу в зубы: отпускай! Вот так и жил, смотреть не мог, что с деревней сделали!

— Ну а сейчас? — спросил я.

— Сейчас получше... — неохотно сказал Нестор. — Сейчас порядку побольше, не скажу́, и клуб есть, и свет дают, а только не та жизнь, не то богатство...

Нестор глядел в сторону, водил рукой по столу.

— Справных поморов извели, и уж прошшай все, не вернется! — закончил он и стал укладываться спать. А я вспомнил слепую старуху, как и она говорила то же самое и почти теми же словами.

Погасили лампу, легли; Нестор и Кир сразу захрапели, за стеной возилось море, я был взволнован, в чем-то уязвлен и, как часто бывает, теперь только стал придумывать возражения Нестору. Но он спал... И вся его зависть, и ненависть, и злость — все, чем наполнен он был днем, все, о чем думал, сожалел и вспоминал, — теперь ушло, он не собой стал, сны на него спустились, и он был далеко, а в

этой темно-душной избушке лежало тело его, сильные руки, столько переделавшие за всю жизнь. И руки его были добры, тогда как мысли — злы.

На другой день уныло свистел ветер, мотались на вешалах сети, мело песок по берегу, море волновалось, грохотало, вода была мутна далеко за полосой прибоя. Нестор, удрученный, шил себе бродни, сильно мял кожу, кряхтел и посматривал за окно.

А за окном бегал по берегу в трусах моряк из соседней избушки, приседал, выжимался на руках, подбегал к волнам, растирался водой. Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой: «Делать нечего, так его растак!»

Кир зевал, зевал, пошел, выпросил у моряков ружье и пять патронов, я взял свое, и мы отправились с ним на охоту. Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьих броднях, как на нем все обтянуто: видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры — все в движении, и какой он весь расстегнутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы! И добр, весел, общителен, но — дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним.

В лесу ветер уже не ощущался, и пейзаж был прекрасен, хотя смотря на чей взгляд. Много попадалось нам кочковатых болот, песчаных угорьев, много малины, смородины, черники и брусники, и так печально-душисто пахло, и небо и земля твердили нам, что уже сентябрь, осень...

Кир сначала бормотал что-то, булькал и гукал, но как только вышли мы к озеру, все для него перестало существовать, кроме уток, которых он тотчас же и увидел, скорее, чем я в бинокль. Кир всхрапнул, пригнулся и помчался от меня большими бесшумными прыжками между кустов. Я побежал за ним, но догнать не мог, видел только, как Кир на мгновение поднимал над кустами голову, тотчас нырял и мчался дальше. Я уж и спешить бросил, знал, что все равно Кир выстрелит первым, и только следил за ним издалека.

Кусты кончились, Кир упал на живот и пополз между кочками. Утки плавали спокойно, я добрался до открытого места и остановился, чтобы не помешать. Подобравшись к самому берегу, Кир приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Ружье, видно, обнесло, утки полетели, одна только забилась, подскочила вслед за остальными раза два и довольно прытко залопотала к дальнему берегу, к осоке. Кир оставил ружье и помчался кругом к тому же месту.

Утка повернула назад, но увидала меня и забилась куда-то в первое попавшееся место. А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел, он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный черт, загонял бедную утку до одурения, поймал ее и тут же прокусил ей мозжечок. На берег он выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку.

— Тепе! — сказал он радостно. — Пери, тепе!

И потом целый день бегал по озерам, прыгал с кочки на кочку, падал, полз, стрелял, раза два еще лазил в воду, гоготал, замучил совершенно меня, но я глаз не мог оторвать от него — притягательна все-таки человеческая сила!

Вернулись мы уже в темноте, стали варить утиную похлебку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули.

5

День проходит за днем, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит, моряки томятся, валяются по койкам, десятый раз перечитывают одни и те же книжки. Томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом.

Но вот наступает какая-то ночь и приходит успокоение и холод. Все спокойно, гладко, зыбко, только волны по очереди, очень редко и нежно — шша... шша... И море не черно, а дымно: над тонкой пеленой туч сияет луна, свет ее проникает сквозь облака и освещает все слабым рассеянным сиянием. На рейде в море, далеко к северу, может быть, против Кеги стоят два парохода, и огни их четко видны отсюда, из этой пустыни.

На рассвете Нестор и Кир уплывают зарывать тайники, возвращаются оживленные, с заколеневшими руками и лицами, шумят, топают, грохают дровами, топят печь и пьют чай. А в полдень едут смотреть тайники, и я с ними.

Как они работают! Как у них все ловко, разумно, скупо в движениях, какой глаз и точность! Вот они ставят карбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоя по бортам, потом сразу наваливаются, крякают, суют карбас в море, и вот он уже на воде. В воде и Нестор с Киром в своих бродням, по очереди прыгают и переваливаются внутрь, разбирают весла, садятся, выпрямляют карбас против волны и гребут.

Вообразите гребцов-спортсменов — как они откидываются назад, как рвут весла на «восьмерках» — каждый одно, как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом, по команде сжимаются и распрямляются. Но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно, раскорячив, подогнув ноги, и весла не в уключинах, а в колышках, гребут часто, почти не откидываясь, но карбас движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко — так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать...

От карбаса, от курток и бродней Нестора и Кира пахнет чудно — рыбой, смолой, водорослями, солью и еще бог знает чем — или это море так пахнет? Вода под носом журчит, пенится, колышки поскрипывают, попискивают, берег все дальше, серые избушки на серо-белом песке почти неразличимы, и все ближе колья тайников.

Вот мы идем уже вдоль перемета — длинной сети, установленной перпендикулярно к берегу, подходим к воротам тайника, Кир поднимает весла, гребет и разворачивает карбас, один Нестор на корме. Кир оглядывается, некоторое время глядит на приближающиеся колья и сети, будто проникая взглядом вглубь, стараясь угадать, попалась семга или нет, потом выхватывает и бросает свои весла на дно, вынимает из бортов колышки (чтобы не цеплялись потом за сеть), кидается на нос, подхватывает конец, связывающий наверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой, карбас протискивается в тайник, ворота поддергивают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное.

Кир свешивается за борт, виден один зад его и раскоряченные крепкие ноги. Руки по локоть в море, что-то он там делает, и Нестор с кормы делает то же. Они поддергивают, как и ворота, середину тайника, крепят ее за колья, и тайник уже разделен на две половины, превращен как бы в два огромных подсака. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая ее за борт, внутрь, поддерживая на сгибе коленями и локтями, я тоже помогаю, путаюсь, все мы спешим, и дно сети поднимется. Ячеи уже просвечивают сквозь зеленую воду, скользят в карбас ленты водорослей, морские звезды, бьются и мечутся уже камбала, треска, зубатка, пинагор с негритянскими губами, кругом льется, мы мокры, руки мерзнут, но пока все это не главное. Наконец Нестор оживляется, крякает, а Кир вопит: «Хорсё! Хорсё!» — и гогочет, и полощет в воде своими красными лапами.

Показалась семга, ее штук шесть, она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор, сдерживая одной рукой карбас у кола, другой шарит на дне, достает колотушку и начинает шлепать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны, волна с шипением проходит через стенки тайника, подкатывается под карбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев.

Через минуту вся семга оглушена, осторожно положена в карбас и укрыта. Брошена — но уже небрежно — туда же и вся остальная рыба, все эти зубатки и пинагоры, и сеть уже выбрасывается за борт, карбас подводят к другой половине тайника, и там начинается то же самое.

Потом и ту половину опускают, все приводят в порядок, ворота развязывают, карбас выталкивают наружу, отводят в сторону и начинают перекладывать и разглядывать семгу — нет ли на ней ссадин или следов от зубов белухи.

Семга не так крупна, в каждой килограммов по шесть, попалось ее одиннадцать штук, значит, шестьдесят килограммов примерно — по рублю за килограмм... Да минус вычеты, в общем рублей сорок пять есть! — таковы размышления Нестора, и, судя по его лицу, это вовсе не плохо. Да еще к вечеру попадется... Ничего, жить пока можно! Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя и сколько он вообще поймает семги за этот сезон, сколько заработает и как распорядится деньгами... А Кир ни о чем не думает, завалился в нос, почесывает живот под рубахой, смотрит из-за бортов то на одну, то на другую сторону — полный покой!

Отдохнув, рыбаки гребут к берегу.

Пришел наконец мотобот за моряками. Они встретили его выстрелами из ружья, будто робинзоны. Нестор сидел, вдевал шнур в перемет, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чем-то оживленно говорили между собой, наконец один побежал к нам...

— Здравствуйте, — сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбужден и радостен. — Не дадите карбас, на бот переехать?

— А свой где потеряли? — хмуро, не глядя на моряка, спросил Нестор.

— Да вот... С бота сигналили, что шлюпка неисправна.

Нестор насупился.

— Так не дадите ли карбаса? — повторил моряк уже неуверенно.

— Разобьете, — сказал Нестор.

— Что вы! — Моряк оживился, снял бескозырку. — Свои-то не бьем!

— Какие же свои? Своих-то у вас, видишь, нету.

— Да уж мы осторожно...

Нестор неохотно вышел с моряком на улицу, потом вернулся злой, выругался крепко и сказал Киру:

— Ступай с ними, назад карбас пригонишь. Да смотри, туда не греби, пускай сами гребут! — крикнул он вдогонку.

Кир радостно вышел — он положительно не мог сидеть без дела.

— Ах, дураки! — говорил взволнованно Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас. — Со шлюпкой у них неладно, да за это...

Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, ощерился, взглянул на меня:

— Вот тебе твое обчество! Вот твой коммунизм...

Потом сел, закурил, взялся было снова за перемет, но бросил, ему хотелось говорить.

— Вот ты хотел знать про меня, вот я тебе скажу. Ты думаешь — кулак, и все тут! Кулак — как бы не так! Нас вот с батей разорили, все побрали — ладно, хорошо... Хорошо! Теперь гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие у нас были, имушшество, они что ж — с неба нам упали? Али подарил кто? Иль эти твои бедняки поднесли нам? Погоди, не нукай! Молчи, молчи!

Мы тут раньше знаешь как жили! Мы со всем светом торговлю вели. У нас тут всяких ваших министров не было, а было так: захотел в Норвегию — дуй в Норвегию, захотел в Англию — дуй в Англию. Ты думаешь, я уж темный такой, да? А я, сказать тебе, в Норвегии два года жил до революции, делу обучался, так? Я все произошел, шхуны строил! А, к примеру, хошь — плыви на Шпицберген, на Новую Землю, на Колгуев остров, торгуй с ненцами...

Погоди, не вякай, тут поумней вас есть которые. Да! Вот, скажем, весной после зверобойки захотим мы править в Норвегию. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи, какое, значит, судно нам требовается. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим, так? Вот при-

ходим в Норвегию, скажем, в Варде или в Трухольм, товар весь продаем, после этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтоб наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берем ихний товар, бежим обратно в Архангельск, там получаем окончательный расчет, так? После... После этого делим по паям.

— А паи равные? — спрашиваю я.

— Погоди! Я знаю, куда ты клонишь. Я таких-то вас видал, сознательных... Ровное! Ровного на земле отродясь не бывало. Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят — какое такое тут может быть ровное? Не в том дело!

Теперь... Теперь получаю я свои деньги. Скажем так — скажем, три сотни. Сейчас думаю: батя чего-то наказал купить. Иду в гостиные ряды, беру всего, что надо: товару, муки там, веревок, снасти, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на Двине стоит, нас дожидает, вот мы все это дело покупаем, везем на шхуну, и еще денег остается — скажем, сотня. Ее в карман. Ее в сундучок, на самое донышко, над ней дрожишь, думаешь, куда ее пристроить в хозяйстве, чего тебе нужнее. Ну вот. После того по родне походишь, с друзьями свидишься, кофию попьешь в Соломбале, всякие такие новости узнаешь, что где почем, когда ярманка будет и какие на ей цены ожидают.

Понял, к чему я веду? А другой такой же, как и я, рыбак, зверобойщик, сосед мой — он, к примеру, получит, может, поболе моего, так? Получит, закатится в кабак да по бабам, по этим самым шлюхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступат, он глаза свои винищем нальет. Он три дни гуляет, на четвертый на судно является. В ноги мне кланяется, двугривенный просит на опохмел. Это как же?

— Это тебе как же? — заорал с ненавистью Нестор. — Лодарь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердеть, и он же после того беднота, а я кулак? А? Ему все свободы, а меня к ногтю — вот какая ваша справедливость? Я все своим горбом наживал, ты думаешь, мне выпить было заказано али баб этих сладких я не хотел? А я мимо всего шел, нос отворачивал, об хозяйстве думал, деньгу берег. И все нажил, все у нас было, а этим гадам все задарма пришло, от нас взяли — им дали. А впрок это им пошло? Тут же все и развеяли, как дым, коровы мои которые сами подохли, которых забили. Дом у нас отобрали, ладно, хорошо! Так что ж с им сделали, дураки! На дрова пожгли. Ему,

лодарю, в лес некогда съездить, идет к дому, съезд ломает, после поветь, после и совсем весь!

— У нас сосед был, Хнык, — немного успокоившись, продолжал Нестор. — Такая у него уличное прозвишше было — Хнык. Ах, зараза, ах, лодарь, я с батей на зверобойке — он дома в карты играет, я в горах камень ломаю — он с Марфуткой нашей, со шлюхой, водку лакает, последний хомут продает. У нас добыча — у него только го-го-го да га-га-га! Мы косить — он на охоту пойдет. Пойдет на охоту, сапоги последние собьет, рябка и того не принесет. У нас сено, а он свою корову соломой ячменной кормит. На коровенку его глядеть сердце изболит, а он: «Ницего, матуска, съес, ницем права будес!» У, зараза! А потом колхоз когда организовали, он, этот Хнык, больше всех на богатых наскакивал — как же, беднота-а, язви его душу! И кем же его сделали, ты думал? Завхозом он стал в колхозе. А как стал, так и совсем спился, все пропил, в Архангельск подался, там, наверно, начальником сделался.

А вот возьми колхоз: вот ты погляди сам, ездите вы тут всякие, а того не видите, что и в колхозе все не поровну. У одного хозяйство, у другого развалюха. Отчего это? А оттого, что один работящий, а другой дак глядит, как бы выпить. А тут еще власти всякие из району, из области, приказы шлют — то, другое, пятое, десятое — там коси, там сей. Семга идет, народу надо на тонях сидеть, а тут уполномоченный заявится, приказывает: на сенокос ступайте. У них, вишь, там в районе все распланован, когда и чего начать и когда кончить. Это как? Как ты мне — хозяину — можешь указывать, чего мне делать? Или я сам не знаю? Всякие ученые, экспедиции, профессора, все науки превзошел, сейчас приедет, руки в брюки, очки, вот как ты, взденет — лови там-то и там-то. Да так не лови, да тут не лови, да щупает эту самую семгу, в зад ей смотрит, какая она. А чего ей смотреть, когда она уже пятьсот лет смотрена-пересмотрена, и мы все о ней знаем. И как ловить знаем, и где тоням стоять, опять же знаем.

И колхозы эти пустое дело, как они не пошли спервоначала, так и не пойдут никогда. Потому что никому не интересно, каждый под чужой рукой ходит и на дядю работает. Вот и бегут из этих ваших колхозов все к чертям собачьим. Моя бы власть, я бы эти ваши колхозы пораспускал да каждому хозяину земли выделил, трудись! Налогом бы их обложил крепким в пользу государства, а все, что сверх того, — это все твое. Вот он тогда и работал бы, он бы не спал! А не захотел бы работать, гнать его с земли совсем. И

каждый бы тогда свою выгоду соблюдал, каждый себе не враг. Сеял бы то, чего лучше произрастает, чего лучше доход дает. Вот как я гляжу.

— Значит, назад, к частной собственности? Ты это предлагаешь? — спросил я.

— Не назад, тебе сказать, товарищш, а вперед. Потому что это все у нас в крови, и каждый свой интерес имеет, и ты его ничем не сковырнешь, хоть тыщу лет пиши ему свое. Ты ему покажи выгоду, а выгода самая настоящая при собственном хозяйстве и нигде больше не бывает. И что вы там всё пишете против, это все хреновина, извини за выражение. Я газеты читаю и все это дело хорошо знаю. Порядка ты никак не найдешь. Ты вот гляди, что делается, дорог нету, а если и есть, так это еще хуже. И никому нету дела, а почему? А потому — ничья дорога, ничьи машины. Ломается машина — хрен с ней. А если бы машина моя была и дорогу я строил, тут сразу у меня интерес был бы другой. И так во всем. А я бы вас таких, которые против собственности, денег бы вам не платил. Не надо собственности, говоришь? Ну и долой тебя, дом у тебя есть, какое-никакое хозяйство? Отобрать! Раз ты такой умный... Вот и живи комуни... комунистично, да!

Я вышел на берег, было пасмурно, только на горизонте посвечивала голубая полоса, и море чем дальше к горизонту, тем становилось веселее, ярче. А здесь было пасмурно...

Мотобот взвыл сиреной и тронулся, переваливаясь на волнах, и даже сквозь шум набегавших на берег волн был слышен низкий, мягкий звук его дизеля. И как только он тронулся — отделился от него и Кир на своем карбасе и теперь часто греб к берегу, но, казалось, не двигался.

Ну что же! Вот выговорился передо мной Нестор... Поспорить с ним? Нет, не переспоришь! Почему-то я вспомнил десятки славных в свое время романов и повестей о деревне — как там было все прекрасно! В деревне — по этим книгам — было электричество, радио, гостиницы, санатории, высокие трудодни, небывалые урожаи, телевизоры и бог знает еще что. Было все, что только можно себе вообразить, и даже сверх того, а следовательно, было счастье, изобилие, социализм был построен, пережитков не существовало. Мало того, с чьей-то легкой руки социализма стало уже недостаточно, деревня пошла к коммунизму, а мужики, по глупости своей цеплявшиеся еще за сытую спокойную жизнь, за одряхлевший социализм, объявлялись людьми отсталыми, и на борьбе отличного с

хорошим, то есть коммунизма с социализмом, — строился **конфликт**! Какое состязание шло тогда между писателями, как боялись они прослыть оторвавшимися от жизни народа и как писали об этой жизни во все более светлых тонах!

Прошло шестнадцать лет со времени войны, и многое переменилось; и вот я на Севере, вот я в деревне, причем не в отсталой — здесь действительно живут добротно, потому что давно получают не натурой, а деньгами за свой труд, — и вот я сижу на тоне с Нестором и Киром... Где эти книги, где эти писатели, что-то они сейчас поделывают? И как хотел бы я тогдашнего писателя или критика перенести вот сюда, на берег моря, к Нестору, как бы хотел я посмотреть на них!

Так что же такое Нестор? Я вдруг вспомнил все свои странствия за последние годы — где только я не побывал! На Смоленщине, в Ярославской, Горьковской, Калужской областях, и на Севере, и в Сибири... И сколько попалось мне таких вот Нестеров в своих домах, со своими садами и огородами, коровами и поросятами.

Земля по отношению к человеку безлична, она родит и отдает плоды любому, кто за ней ходит. Но вот такой человек, как Нестор, никогда не был безличным по отношению к земле. Для него всегда существовало понятие земли своей и чужой. И никогда не перейти ему пропасти, разделяющей землю на свою и общую.

Я все стоял, мотобот удалялся, поваливался, мачты его качались. Щемит почему-то на сердце, когда смотришь, как уходит в море судно. Я представляю себе палубу этого мотобота, вахтенного в рубке, шум двигателя. Я воображаю, как рады моряки, которые долго жили здесь, на этом пустынном берегу, а теперь сразу попали к друзьям, в милую сердцу обстановку. Сидят небось сейчас в кубрике, выпивают, хлебают морской свой харч, из камбуза тепло, разговоры... А впереди Архангельск, и, может быть, отпуск дня на два домой, и девочки, и новые кинокартины, — помянут ли они этот берег, навигационные знаки, которые ремонтировали, соседей-рыбаков?

Захотелось вдруг и мне домой. Пора! Не буду больше видеть Нестора и его Кира, не буду больше ощущать неприязненный, недоверчивый взгляд, брошенный исподлобья.

Вспомнился мне как-то сразу весь этот осенний Север, хмурая погода, постоянные шторма, все километры, кото-

рые прошел я берегом, ночевки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы... Хватит!

А мне махал уже из карбаса Кир, смеялся, такой здоровый, крепкий, бездумный. Я помог ему выкатить на берег карбас, и вместе мы пошли в дом.

На другой день я попил чаю, засобирался, стал прощаться. И Нестор вдруг стал как-то смущен, суетился, стариковство проглянуло в нем, и впору было его пожалеть.

— Ты не серчай, — бормотал он и отводил глаза. — Я это тебе... Давеча говорили... Что ж такое! Подрасстроился я с этими моряками, не люблю непорядка... Может, что и сказал не то, ты уж не серчай...

— Ладно, — сказал я. — Чего там! Будь здоров. У всякого свое.

— Ну, пойдем, пойдем... — говорил Нестор, одеваясь. — Я тебя провожу маленько... Мало пожил, семга сейчас самая пойдет, пожил бы еще... Кир, пойдем, проводим товаришша.

Мы шли по берегу, Нестор больше не извинялся, вздыхал только, поглядывал на небо, думал о погоде. Кир почему-то шел шагах в двадцати впереди.

Так прошли километра два, и Нестор остановился.

— Пароход завтра привернет, — сказал он. — Ведь ты у меня поночуешь? Скажи там старухе — все хорошо, скоро в гости будем. Ну, бывай, значит!

Пожали друг другу руки, Кир потопал броднем по твердому песку — был отлив — и закричал:

— Хорсё! Лекко тти! Хорсё!

И радовался, обдавал меня голубизной глаз своих, хлопал по плечу и топал броднями, показывая, как легко мне будет идти.

Скоро потеряли мы друг друга из виду, а потом я уже и не думал о них, а думал о будущих днях, как всегда бывает, когда уходишь откуда-нибудь... А когда, пройдя километров десять, присел на берегу шумящего ручья и решил закусить и полез в рюкзак — рука моя нащупала большой сверток. В старой газете завернута была половина семги, малосольной прекрасной семги — это Нестор сунул мне на дорогу...

Ах, Нестор, Нестор!

1961



ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ

1

Пролетая разъезды и полустанки, не останавливаясь даже на многих больших станциях, поезд мчится на север. И во всем поезде нет на этот раз человека счастливее, чем Василий Панков.

Пять лет не был Василий дома и ничего не писал о себе. Да и о чем писать? Живет он легко, любит переезды, дальнюю дорогу, незнакомые города. Привык к вокзалам с неизменными специфическими запахами, к транзитным кассам, к районным гостиницам, общежитиям...

Бродяга по натуре, он редко вспоминает о тех местах, где пришлось ему побывать. Вновь его туда не тянет, даже не все эти места он и помнит хорошо. Так много городов он повидал, поселков, глухих мест — где же запомнить!

Два последних месяца он работал на монтаже турбинного котла, перевыполняя нормы, торопясь кончить работу до срока. На пологом голом берегу реки, рядом с лесозаводом, с огромными штабелями выкатанного леса, торчало недостроенное кирпичное здание электростанции. Крыши не было еще, были только лебедки, трубы котла — изогнутые, похожие на скелет огромного доисторического животного. Были связки тросов и канатов, бревна, балки наверху, на фоне бледно-синего неба, и целый день солнце, солнце... И пыль, и пот, крики рабочих, спешка, ругань, шипение автогенной сварки, частый гулкий стук пневматических молотов, запах карбида, опилок и шлака, липкого от нефти.

Настало время подъема смонтированного и спрессованного котла. Комиссия сомневалась в прочности тросов и лебедок, и Панков, взявший ответственность на себя, бледный, несмотря на смуглоту, стоял на мостике, слушал скрип тросов, блоков, щелкающий треск лебедок, облизывая пересохшие губы, смотрел на еле двигавшийся вверх и застывавший скелет котла. А рядом с ним стояли и смотрели,

стискивая зубы, и хрипло дышали все одиннадцать человек, вся его бригада.

На другой день бригаде вручали почетные грамоты, а вечером он напился, с кем-то дрался, с кем-то целовался, плакал, хотел топиться и утром, проснувшись в общежитии, избитый, в изодранной рубахе, с больной головой, долго не мог прийти в себя и не мог ничего припомнить из вчерашнего.

Теперь он едет домой. Он в том легком расположении духа, когда все кажется простым и прекрасным, когда ни малейшая забота не омрачает жизни. Нет теперь у Панкова никаких желаний, кроме желания отдохнуть, пожить дома, отоспаться на сеновале, попьянствовать, поиграть на гармошке — словом, у него отпуск!

Думает он только о деревне, перебирает в памяти всех деревенских, вспоминает их голоса, язык, походку, лица... Повидать их всех — вот что с радостью предвкушает он. О своей недавней работе, о монтаже котла Панков не вспоминает.

2

На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами.

Василий русоголов и странно смугл лицом и телом — в деревне его все зовут Копченым. Глаза у него серые, веселые, нагловатые. Вообще же он весь подборист, суховат и щеголеват: любит шелковые рубашки, галстуки и нарочно шьет себе широкие внизу брюки. И знает, конечно, о себе, что нравится девушкам.

Сближается он с ними быстро, но так же быстро и расходится: они ему надоедают. Про себя он решил давно, что женится в двадцать восемь лет и непременно на своей деревенской. Он уверен, что мать уж присмотрела ему двух-трех невест, что все они хороши: здоровы, красивы, из хороших семей, где нет ни пьяниц, ни придурков в роду. Так женились его отец и дед, его старшие братья и соседи, так женится и он.

После коньяка Василий быстро пьянеет, громко хохочет, громко говорит, обращаясь ко всем без разбору, к соседям, к проводникам, к старым и молодым.

— Мамаша! — говорит он. — Вы, конечно, меня извините... Извините! Я — как стеклышко! Ну, выпил, правда... А разве есть такой закон, чтобы не пить? Кто я? Стро-

итель! Да? Мамаша! Меня в Москву звали — полторы сотни оклад, да? А я у себя в командировках больше заработаю, да? Не веришь, мамаша?

И он невнятно толкует о заработках, о каких-то инженерах, презирая их дипломы и образование, презирая вообще культуру, выше всего ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью.

В соседнем купе начинают играть в подкидного. Василий идет туда, тоже садится, но играет плохо, путает ходы, роняет карты и все говорит, с восторгом вспоминая какого-то однорукого, как он с ним играл и как однорукий ловко сдавал карты и помнил все ходы.

В вагон входит чернявый полненький человек в белом халате, с розовым гладким лицом, с золотыми зубами и маслянистым блеском глаз. Он останавливается в вагоне, посередине прохода и говорит звучным, сытым баритоном, быстро всех оглядывая и быстро улыбаясь заученной золотой холодной улыбкой, портящей его сытое красивое лицо.

— Дорогие товарищи! Наш ресторан к вашим услугам! Что? Перебивать будете потом! Холодные и горячие закуски! Большой ассортимент вин...

Встрепенувшись, Василий Панков тотчас идет в вагон-ресторан, качаясь на переходных площадках, не закрывая за собой дверей, толкая пассажиров. В ресторане он опять пьет коньяк, еще больше пьянеет, знакомится с кем-то из другого вагона, идет с ним туда, приглашает его к себе в деревню, всех перебивает, пытается что-то рассказать, хочет казаться умнее, образованнее, чем на самом деле, но пьяная глупая серость так и прет из него.

Часа через два он возвращается в свой вагон, присаживается к шахматистам, подсказывает, мешает им, потом играет сам. Утомив и выведя из себя партнера, он начинает ходить по вагону.

— Ну, с кем сыграем? — громко предлагает он. — На сто пятьдесят грамм! Даю форы: ладью... Ну? Кто желает?

Никто не хочет с ним играть.

— Никто не желает? Слабаки вы все против меня! Эй, курчавый! — обращается он к совершенно плешивому толстяку. — Сыграем, курчавый, тебе я две ладьи уступлю, а?

Тот отворачивается к окну, делает вид, что не слышит. Шея его наливается кровью.

— Седой, а? — не унимается Василий. — На двести пятьдесят, а? Не желаешь? Обиделся, седой, а? Извините... Извините!

Какая-то девушка, которой Василий нравится, не выдерживает и прыскает. Приободренный Василий, чувствуя, что все обращают на него внимание, начинает еще пуще ломаться, ему весело, ему кажется, что он ужасно остроумен. Он каламбурит, говорит присказками, поговорками — дорожными, стертыми и пошлыми.

Наконец он все-таки устает, замолкает и скоро засыпает на своей полке. Спит он, свесив руку, раскрыв рот, пуская слюну на подушку и громко всхрапывая.

А поезд между тем все мчится и мчится на север; день проходит быстро. Меркнет небо за окном, темнеют поля, леса становятся сумрачными, заря бледнеет и гаснет.

Скоро в вагоне зажигают свет, начинают разносить чай, и незаметно наступает вторая ночь в дороге.

3

Хорошо ехать ночью в поезде!

Вздрагивает, качается вагон на стыках рельсов, неярко горят матовые лампочки под потолком. Скажет кто-то невнятное слово во сне, слезет кто-нибудь с полки, сядет у окна, закурит, задумается. Все приглушенно в этот час, все тихо, только внизу длинный гул и перестук колес.

А за окнами темная, безлунная ночь. Промелькнет изредка слабый огонек в путевой будке обходчика, проплывет мимо, как видение, глухой полустанок с непонятным названием, с единственным фонарем на перроне и березами в палисаднике, и снова подступает к окнам непроглядная мгла, и не понять, лес ли за окном, поле ли.

Промчится с пронзительным гудком встречный поезд, рванутся, затрепещут под напором ветра занавески, плотной струей пронесутся мимо освещенные окна, искрой мелькнет красный фонарь на заднем вагоне. И странно тогда думать, что в прогудевшем минуту назад встречном поезде тоже едут люди, едут туда, откуда ты, может быть, только вчера уехал, так же сидят в вагонах, негромко разговаривая, мечтают о чем-нибудь, или спят — и снятся им особенные сны, — или смотрят в окна, и у каждого своя судьба за плечами, у каждого своя жизнь впереди. Кто все эти люди? Куда едут они, что им снится, о чем так глубоко задумываются, о чем говорят и чему смеются?

Хорошо ехать ночью в поезде!..

Хорошо думать о том, что мимо проплывают темные деревни, озера, стога, глухие сторожки и реки, которые угадываешь только по гулу мостов.

Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра, долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно...

Сколько же земли осталось за тобой, сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь! И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же как не узнают и они о тебе.

Как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя и счастья, и любви, и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть!

Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному, и то, что было вчера, все позади, все прожито! Как много думается обо всем этом под равномерный стук колес, под гул быстрого движения!..

4

Василий Панков просыпается в час ночи. С минуту он тупо размышляет о том, куда и зачем едет, потом все вспоминает и немного оживляется. Голова у него болит, но уже поздно, все закрыто, и негде опохмелиться. Тем не менее с каждой минутой он все веселеет: скоро его станция! Закурив, он выходит на площадку, открывает наружную дверь и крепко хватается за поручни.

В лицо ему бьет ветер, дергает волосы, выдувает из глаз слезы. По траве, по кустам, по телеграфным столбам прыгают желтые пятна света из окон. Впереди при поворотах видны скрученные снопы искр от паровоза, быстро раскручивающиеся и тающие в темноте. Наверху, в глубоком пепельном небе, светятся бесконечные звезды, сияет, дымится Млечный Путь, а к северу — будто бездонный провал: нет звезд, и ничего нет, одна глухая черная пустота.

Панкову радостно. Сколько километров осталось до дому? Три? Пять? Он дышит глубоко и трудно, с усилием выталкивая из груди плотный воздух, но не хочет отвернуться, не хочет уйти в вагон.

А черная пустота все надвигается, теперь только над головой горят звезды, а Василий все не может понять, что это такое. Но вот в лицо ему бьют первые сильные капли

дождя, ветер холодеет, и тут только Василий понимает: то, что раньше казалось пустотой, было на самом деле дождевой тучей. Он отступает в глубь площадки, вытирает мокрое лицо холодной рукой и идет в вагон.

В вагоне душно. Панков останавливается возле своей полки, смотрит вдоль длинного, слабо освещенного прохода с торчащими с полок ногами, пробует свои чемоданы и, подумав, надевает пыльник и шляпу.

Хлопнув дверью, выходит на площадку проводница, поезд начинает притормаживать.

— Торбеево! — говорит проводница, возвращаясь. — Кто до Торбеева?

Василий встает, одергивает пыльник, поправляет шляпу, торопливо закуривает, снимает тяжелые чемоданы и, задевая за ноги спящих, тащит к выходу.

— Ну вот... приехали! — радостно бормочет он проводнице и спешит выходить.

На станции дует свежий ветер с мелкой пылью дождя. Панков спускается на землю, ставит чемоданы, смотрит вперед, потом оборачивается назад: никого не видно. На земле, на лужах лежат квадраты света из окон поезда. Проводница тоже спрыгивает на землю, быстро оглядывается, будто навсегда хочет запомнить эти лужи, запах чистой мокрой травы, черные телеграфные столбы.

— Что, не встречают? — весело спрашивает она Панкова, ожидая услышать от него тоже веселый ответ.

Но Василий хмуро молчит. Он растерян и встревожен. В палисаднике торчит одинокий фонарь, светит, помаргивая, сквозь березы. Подальше виднеется здание станции с освещенными окнами, все остальное тонет в темноте.

Не дождавшись ответа, проводница, показывая крепкие икры, лезет на площадку. Впереди, возле багажного вагона, кто-то машет фонарем. Тонко свистит паровоз, со звоном дергаются вагоны. Проводница, вытянув наружу руку с фонарем, другой рукой поправляет берет.

— Гляньте на станции, может, от дождя прячутся! — кричит она напоследок.

Василий поправляет шляпу, вздыхает, берет чемоданы и медленно бредет на станцию мимо палисадников. Его все быстрее и быстрее обгоняют вагоны.

5

Он входит в темный коридор, задевает за что-то железное, сваленное у стены, нашаривает и отворяет дверь.

На станции он был последний раз лет пять назад, но, войдя в большую комнату, видит, что здесь ничто не изменилось. На стенах все так же расклеены плакаты, призывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пассажиров. Горит большая лампа в потемневшем абажуре из газеты, лежат на столе желтые крупные огурцы, хлеб...

На лавке, положив под голову сумку с инструментами, спит железнодорожник. Откинутая рука его черна и блестит от мазута. У ног его на полу чадит фонарь. Топится почему-то печь. Пахнет махоркой, березовым дымом от печки и раскаленным железом.

В углу кто-то сладко и долго зевает, из-за печи выглядывает красное лицо старика с рыжей бородой и заплывшими глазами. Увидев Василия Панкова, старик изумляется, виновато моргает, стаскивает с головы шапку, вылезает из угла и протягивает заскорузлую, шершавую ладонь.

— С приездом тебе... А я тебя дожидаюсь! — неуверенно говорит он и улыбается, показывая желтые, съеденные зубы.

— Дядя Степан! — Панков сразу узнает своего соседа и дальнего родственника. — А где мамаша?

— Кого?

— Чего с матерью-то моей? Не заболела?

— С мамашей-то? А чего с ей? Жива-здорова, тебя ждет. За тобой приехал. Забегала, съездий, говорит, устреть...

— А я уж думать разное стал, — облегченно говорит Василий. — Ты на лошади, что ли?

— Гы-гы! — смеется Степан. — Ай ты не знаешь? Дрезина у нас теперя! На лошади... Чудак-человек!

Степан суетится, собирает в углу какие-то мешки, сумки, связывает и развязывает веревочки.

Собравшись, он восхищенно осматривает Василия, крякнув, берет чемоданы, косолапо перешагивает порог, топает по коридору, выходит на улицу и, отвалясь на левую сторону, шагает к дрезине.

Василий идет за ним. Дождь по-прежнему моросит, шумят березы, блестят под фонарем мокрыми листьями. Там, где недавно стоял поезд, тускло светятся рельсы, чуть подальше, на запасных путях, темнеют длинные груженые платформы.

— Чего-то не слыхать было про тебя? Как живешь-то? — спрашивает Степан, останавливаясь и взваливая чемодан на плечо.

— Живу нормально! Инженером-практиком работаю,— привирает Василий. — Зарабатываю — дай Бог всякому!

Строим все... Секретное строительство! — опять не выдерживает он, чувствуя, как все дрожит в нем от удовольствия.

— Ну? — удивляется Степан и смачно сплевывает. — Строите, значит. Это — дело хорошее. А у нас, Василий Егорыч, тоже такое строительство пошло, всю деревню взбуровили. Теперя комбинат у нас на энтом берегу, поселок, народищу тьма, москвичей понаехало. Девки ровно ошалели: как вечер — в комбинатский клуб, и уж оттеда никоим образом не выташшишь. А многие кто и работать туды поустроились, председатель наш аж за голову взялся.

— Ого! — в свою очередь удивляется Василий.— Ну, а ты как?

— Кого?

— Ты-то как, спрашиваю?

— Я-то? Хо! — Степан оживляется. — Один я... Один! Старуха-то, слышь, померла! Второй год с Покрова пойдет. На Покров и померла. Отволок я ее на погост, поминки иделал, все натурально, честь честью. Девки у меня, знаешь? Девок я еще раньше замуж повыдал, ну их, живут там у себя. Один я теперя — ах, хорошо! Хошь, у меня поживи — весело живу, изба здоровая, хоть катайся!

Подходят к большой дрезине-мотовозу.

— Все или еще кто плетется? — спрашивает московским говорком шофер, докуривая папиросу.

— Все! — уверенно откликается Степан, карабкаясь на подножку.

Шофер бросает окурок в лужу, сигналит и прислушивается.

— Тогда поехали! — говорит он и заводит мотор. — А кто опоздал, тот пускай Богу молится!

Дрезина трогается, вспыхивают фары, вырывая из темноты дорожные знаки, щиты, уложенные наперекрест шпалы, одинокие голые сосны. Проскакивают стрелки. Постукивая на стыках, дрезина набирает ход, со звонким гулом несется в темноту. Немногие пассажиры смолкают, смотрят в окна, туманя стекла своим дыханием. Мчатся уже с каким-то зловещим воем, сильно раскачиваясь. Мимо сплошной черной стеной летит лес. Редко попадаются фонари, освещающие длинные склады или просеки. На стеклах видны тогда косые извилистые капли.

Василий, совершенно счастливый оттого, что скоро увидит мать, что в дрезине тепло, попахивает бензином и чемоданами, оттого, что дождь перестает — на темном небе начинают показываться фиолетовые клочки со звездами, —

сидит отвалясь, широко расставив ноги, сдвинув на затылок шляпу. Он любит старика Степана, любит шофера и пассажиров, любит быстроту, с которой они мчатся, и прорывающийся в щель чистый родной воздух.

— Дядя Степан! — наклоняется он к старику. — Ты зайди к нам-то, посидим, выпьем... Да? Эх, и дадим мы с тобой сегодня жизни!

Борода старика приподнимается и расширяется. Он лезет в карман, нагибается к коленям, делает что-то в темноте, потом чиркает спичкой и закуривает: оказывается, делал папиросу.

Дрезина мчится, изредка гнусаво гудя. Впереди брезжит зарево огней лесокомбината. Степан шевелится, вытягивает шею, поглядывает вперед через плечо шофера. У него тоже радостные мысли. Скоро они приедут, в доме Панковых поднимется переполох, придут соседи, начнутся разговоры, подарки...

6

Дома у Василия выходит все так, как он мечтал. Пьет, каждый день гуляет, играет на гармошке, заново знакомится с девушками, а они заигрывают с ним. Ходит он с ними в комбинатский клуб, в соседнюю деревню, хвастает своей жизнью и ловит со Степаном рыбу на перекатах.

Все эти дни он неизменно счастлив. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он чувствует обожание и нежность матери, соскучившейся по нем, чувствует, что он хорош, молод, нравится девушкам, и уверен, что все они мечтают выйти за него замуж. И большего ему не надо.

Но однажды он просыпается под утро в повети, где обычно спит. Будто чей-то голос внятно произнес его имя, позвал куда-то. Проснувшись, он слушает, как вздыхает внизу корова, как возятся мыши в сене, и жадно курит, подставляя ладонь под огонек папиросы, чтоб не заронить искры.

Внезапно он ощущает знакомую тоску по дороге, по вокзалам, по гостиницам... Ему надоело! Жизнь в деревне, на родине, кажется ему уже скучной, непривлекательной. И он мучительно думает, куда бы поехать на оставшееся время, идет в избу, пьет молоко, считает у побелевшего окошка деньги, прислушивается к сонному дыханию матери и опять думает.

Наконец он вспоминает, что есть у него кореш, в далеком южном городе, что как-то зимой кореш писал ему и

звал к себе. Вспомнив и тотчас решив, не откладывая, ехать к этому корешу, поеживаясь от радостного озноба, идет опять в поветь, ложится в сено и засыпает.

Днем он укладывается, говоря матери, что работа не ждет. Потом обходит соседей, родных, прощается, особенным образом жмет руки случившимся не на работе девкам, некоторых торопливо целует в темных сенях, всем обещает писать, зная, что не напишет, и идет домой.

Здесь уже топчется огорченный Степан, мать плачет украдкой, сморкается в фартук, и Василий тоже пригорюнивается на минуту. Но в груди у него поет радость, сердце бьется быстро: в дорогу, в дорогу!

На станции Василий томится, дядя Степан раскупоривает бутылку и сумрачно выпивает, а мать сидит подпершись, смаргивает слезы и, не отрываясь, глядит на сына. Когда Василий приехал — в тот счастливый поздний вечер, — бегала она по дому, ног под собой не чуя, вся пылала от радости и совсем молодой казалась. А теперь вот, на станции, сидит старуха старухой и все глядит на сына.

— Что это ты какой-то?.. — время от времени говорит она. — Пожил бы еще... В дому-то родном и пожить. И не напишешь никогда матери-то, как же это ты! Докуда же ты так будешь? И гнезда у тебя нет, всем ты чужой.

Дядя Степан тоже глядит на Василия, тоже хочет что-то сказать, но только крякает и еще выпивает.

— И теперь вот, куда едешь? — говорит мать и тоскует.

Василию становится вдруг жарко. Он свешивает голову и думает о своей жизни. А и надоело же в самом деле! Все какое-то случайное, и друзей настоящих нет, и ничего нет — одна дорога, одни вокзальные буфеты в памяти.

И жалко становится ему себя, какая-то горечь, неудовлетворенность наполняют сердце, скучно и стыдно как-то делается, и сказать нечего.

А еще через два часа, простившись с матерью, обняв и расцеловав ее напоследок, пожалевши ее и себя заодно, вытерев глаза, через два часа он сидит в вагоне-ресторане.

Поезд мчится на этот раз на юг, за окном опять мелькают деревни, станции, дороги, поля, леса... Напротив Панкова сидят два молоденьких лейтенанта в парадной форме. Оба темноволосы, оба с пробивающимися усиками, оба со значками училища, оба довольны и веселы, оба не отрывают глаз от сидящих за спиной Панкова девушек, смеются, шепчутся, пьют пиво, курят, пуская дым тонкими струйками вверх, и краснеют, когда девушки взглядывают на них.

Василий Панков быстро пьянеет, ему хочется говорить, шуметь, обращать на себя внимание. Он встает, покачиваясь, со стаканом в руке подходит к компании за соседним столиком, чокается со всеми, что-то говорит, хлопает всех по плечу.

— Вы меня извините... — говорит он. — Извините!

Потом возвращается к своему столику, с чувством превосходства и одновременно зависти смотрит на лейтенантов, провожает взглядом официанток, слушает радио, впитывает весь этот ресторанный воздух, с волнением думает о городе, куда он едет, забыв уже о своей матери, о родном доме, о Степане, о девчатах, и опять, пожалуй, во всем поезде не найдется человека счастливее, чем он.

Легкая жизнь!

1962



ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень.

Аспидно-черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока наконец свеча на разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными.

Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к Оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса.

Жутко идти ночью одному с фонарем! Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя.

Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось: «бум! бум!» — и далеко было слышно в тишине.

Тропа становилась круче и извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно выступали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря

ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство — я вышел к реке.

Тут уж увидел я далекий бакен справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался бакен на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась.

По мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани.

Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красный и зеленый огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь.

Сразу стало темно, только, будто проколотые иглой, горели бакены по всей реке. Тишина стояла звенящая; в этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет.

Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит.

Потом я вспомнил Север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжко спали, всхрапывая и постанывая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я вглядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго

шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой.

И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие, тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней...

Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движения его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не приедет, что ее нет на катере и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все — какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем.

— Что же это! — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. — Что же это! — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет наконец и после стольких дней и наших неудач мы не встретимся и так все пойдет прахом?

Я вспомнил, как уезжал три месяца назад с Севера домой, как она неожиданно приехала в деревню с тони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Куда ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.

Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел

на него не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды.

Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал бортик, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чем-то светлом стояла она.

Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раздумал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас, дизель внизу опять запел, и катер — с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах — быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни.

— Ну, здравствуй, — сказал я смущенно.

Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза.

— Пойдем! — сказал я и покашлял. — Черт, как темно, погоди, я фонарь зажгу...

Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли: я — впереди с чемоданом и фонарем, она — сзади с ведром воды.

— Тебе не тяжело? — спросил я через минуту.

— Иди, иди! — сипло сказала она.

У нее всегда был сиплый, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи.

Мы свернули направо в овраг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощенная короткая дорога — уз-

кая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды.

Еле переводя дух, мы вышли на лиственничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

— Понюхай, — сказал я, — как пахнет!

— Вином, — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. — Я давно почуяла, еще на пароходе...

— Это листья. А вот пойди сюда!

Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем.

— Это где-то должно быть тут... — бормотал я.

— Грибы,— изумленно сказала она сзади. — Сыроежки.

Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвое и желтым листьям.

— Посмотри, — сказал я и стал светить. — У нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит какого-нибудь. И тут же жрет.

Я представил себе эту лису с сединой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух.

— Ее надо убить! — сказала она.

— У меня ружье, мы с тобой походим по лесам, и, может быть, нам повезет.

Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показалось освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам, хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой.

— А у нас зима! — сказала она как будто удивленно. — Двина замерзла, только посередке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный... И пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троем.

Она так и сказала по-северному: «троем», а я представил Двину, и пароходы, и Архангельск, и деревню на Бе-

лом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность.

— Лед уже появился? — спросил я. — В море?

— Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала, может быть, о том, что оставила там. — Обратно на оленях придется добираться, если...

Она замолчала, я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам, потом спросил:

— Что если?

— Ничего, — особенно сипло и медленно сказала она. — Если еще льду нагонит, вот что!

Потопав по крыльцу, мы вошли в дом.

— У-у! — сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у».

Дом был мал и стар, я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья... Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам.

— Раздевайся! — сказал я. — Сейчас печку растопим...

И пошел на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья, в голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звезды сверкали мелко и остро. «Будет мороз, — подумал я. — И, значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок!»

На Оке медленно возник певучий трехтоновый гудок и долго отдавался, перекатываясь по холмам. Где-то внизу шел буксир, один из тех старых паровых буксиров, которых мало уж теперь. Новые катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков...

Я нарубил сучьев, набрал дров и пошел в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами, доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платьице, оно было тесно ей, и, приведи я ее в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было ее лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка, и это очень там было здорово.

Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами.

— Это тебе! — сказала она сзади.

Я обернулся и увидел на столе семгу — великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутой кверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.

Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван от всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: «Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи...»

А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.

И вот теперь на Оке мы пьем рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, и как тянули в шторм с рыбаками ловушки, и захлебывались горькой водой, и нас мутило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке, и, разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне.

Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга, то в розовую топку, на угли, как по ним перебегали огоньки. И, чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, а мы отодвигались от жара. Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! — хотелось мне сказать. — Потому что нельзя расставаться надолго». Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают. А мы для них. Странные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски.

— Ты спишь? — спросил я тихо.

— Нет, — отозвалась она с постели. — Мне хорошо. Не гляди, я оденусь...

Тогда я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрека не услыхал я от нее, и мне было стыдно.

Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах: катили свои тележки носильщики, зудели автокары, кругом торопились, прощались, оставались считанные минуты... Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще, у нее было время — несколько свободных дней. А мне было досадно, горько, я злился и на себя и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее и опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской.

— Не уезжай! — сказал я.

Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, с зелеными искорками, нельзя было понять — зеленые они у нее или черные. Но когда она на меня там смотрела, они были черные, это я хорошо помню.

— Как глупо! — говорил я. — То я уехал с Севера, ничего не поняв, а теперь ты, и опять ничего... Как глупо! Не уезжай!

— Чего теперь говорить, — пробормотала она со злостью.

— Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома!

— А у кого? У тебя, что ли? Все равно, — сказала она упрямо. — Чего теперь говорить...

— Поедем сейчас в гостиницу, ты поживешь там эти дни.

— Поезд сейчас пойдет, — сказала она, отворачиваясь.

— Да нет, погоди, подумай! После стольких писем мы будем вместе, одни, подумай!

Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила жалко, подстреленно:

— А ты будешь рад, если я останусь?

Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу, я повернулся, быстро вошел в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал ее купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все, кто был около вагона в ту минуту.

— Поедем, — сказал я.

— А билет? — сияя глазами, спросила она.

— Плевать на билет! — сказал я и взял ее за руку.

Мы вышли на площадь и сели в такси.

— В гостиницу, — сказал я.

— В какую? — спросил шофер.

— Все равно в какую!

Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей и домов.

— Постой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице и я пошел к администратору.

— Мест нет, — сообщил он мне спокойно.

— Любой номер. Понимаете — любой номер, самый плохой или самый лучший!

— Мест нет, — кисло повторил он и с досадой взял трубку беспрерывно звонившего телефона.

Она дожидалась меня в вестибюле, робко глядя на великолепие колонн и зеркал. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого! Мы вышли к стоянке такси.

— Поедем в другую, — сказал я огорченно.

Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости, я посмотрел на них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасинах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше.

— Выпей! — сказал мне друг, перехватив мой взгляд.

— Нет, меня ждут, спасибо!

Прошел час и два, а мы все ездили, и везде нам говорили одно и то же: «Мест нет!» Выходя на улицу, я оглядывал огромные здания гостиниц и домов, все эти многоэтажные

ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть и лежать у себя в комнате, и слушать радио, и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину, и у меня начинало болеть сердце.

Наконец, измученные, мы отвезли ее чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к Сокольникам. Был двенадцатый час ночи.

— Что ж будем делать? — со смехом спросил я.

— Не знаю, — сказала она устало. — Может, в ресторан зайдем? Я есть хочу...

— Рестораны закрыты, — сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. — Пошли в центр на бульвары.

Мы шли быстрым шагом, как ходили на Севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за двадцать километров. Фонари погасли, горели только через один и на одной стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку.

— А к тебе никак нельзя? — спросила она с надеждой.

— А то бы я ходил с тобой! Отец, мать — куда!

— Ну ладно, — сказала она. — Не горюй, завтра я уеду, есть еще утренний поезд. А потом... — она вздохнула, — потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам.

Я обнял ее, она прижалась ко мне, закрыла глаза.

— Мы и так посидим, правда? — бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. — Ты хороший, я тебя люблю, дурачок, я тебя там еще полюбила, а ты не знал... Бедный ты, бедный!

Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой.

— Ноги болят, — сонно бормотала она. — Туфли эти... Без привычки...

По боковой аллее шли два милиционера. Увидев нас, один из них вышел на свет и пошел к нам.

— Пройдите, гражданин! — сказал он почему-то только мне. — Это не разрешается.

— Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги.

— Нечего разговаривать! Сказано — пройдите!

Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта.

— Слушай, зайдем в подъезд, — сказал я неуверенно.

— Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим.

Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни.

— Устала? — спросил я и закурил. — Бедная, не повезло нам в Москве.

— Да, — она потерлась щекой о мое плечо. — Очень большой город.

Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас.

— А ну, пошли отсюда! — закричала она. — Напасти на вас, чертей, нету, как кошки подворотные шляются! Пошли, а то засвищу сейчас!

И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором, сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Это тебе не Белое море, — сказал я.

— Ничего, — опять успокоила она меня, — давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспим, а?

— Ладно, — согласился я и вдруг оживился: — Слушай, я дурак, давай поедем за город! Возьмем такси, деньги у меня есть, и поедем километров за тридцать — у нас так делают!

По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси. Как заколдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелеными огоньками, и, глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко.

Мы остановили такси.

— За город? — переспросил таксист и сразу заметно понаглел. — Семь с полтиной — повезу.

— Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно.

Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна, на западе держался еще сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином.

— Тут, что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. — Дальше у нас не ездят. Периферийная, что ли? — спросил он, глядя на нее.

Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода.

— Полчаса хватит? — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. — Я вздремну, придете — разбудите. Сигаретка есть? Дай-ка закурю...

И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задубел, отяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет; я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевая, зачем мы сюда заехали.

— Тоже мне лес... — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.

Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь, в сырости и холоде.

— Надоело, — сказала она, судорожно зевая, низко и сипло выговаривая «надоево» вместо «надоело». — О Господи! Не надо ничего, я не хочу, поехали обратно...

— Назад так назад, — сказал я вяло и тоже зевнул. — Только давай выпьем, а то карман оттягивает.

Я вытащил бутылку, попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутрь с сургучом.

— Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку.

— Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку, она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил.

— Пошли, — сказал я с облегчением.

Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она все приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол.

— Чего так рано? — спросил шофер и насмешливо посмотрел на меня. — Характером не сошлись?

— Давай крути! — злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его.

Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и, помню, прикосновения к ней были неприятны мне, да и ей тоже, наверное... Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно.

Три часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись

поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала.

— Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень.

Я нашел в себе силы приостановить ее.

— Не сердись, — пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился, но было и грустно; где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было.

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И, как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник.

— Не будем зажигать света, ладно? — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз.

— Ладно, — согласился я и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, мне захотелось, чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме.

Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и сипло сказала:

— Снег...

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышный снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глодать по ночам, вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои

любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уж окна поголубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. Пока мы спали, взошло солнце и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам стало — такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и резок был воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны. Из коровника шел душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи.

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши проламывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-подо льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмерзшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и, гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам.

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый частокол, барахтались и лоснились зеленью стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо! — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы.

— Лучше, чем на Белом море? — спросил я еще.

Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели.

— Ну, Белое море... — сказала она неопределенно. — У нас... у нас... А тут дубы, — перебила она себя. — Как это ты нашел такое место?

Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно: уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На Оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над темной водой.

Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на Оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе.

1961



ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить, это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, прислонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март, с солнцем и блеском снега, — и что, главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава Богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она наконец пришла и он увидал близко ее лицо и фигуру, он просто сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться: так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива и

как хорошо одета и что опаздывает она потому, наверное, что хочет быть всегда красивой, и эти ее прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только качнул головой. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес внизу.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, на площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь — среди молодых и красивых — она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинны.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, щурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд! О, как это здорово, уж

он-то знает: сколько вечеров он провел дома один, когда у него не было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно. Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у него тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист и ему уже тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него одно было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он и сейчас подумал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога... Прощай тогда Москва и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они поехали тогда в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам. Как они ехали в автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился; как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислонясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чисто и светло, всходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь, и тишина, и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый рынок, они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы (дешевизна была баснословная). И этот запах из пекарни, беспрерывное воркование и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье, и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны!

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко заскрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, щурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером домой, по другой железной дороге.

У него был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печка.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двинулись. Сначала они хотели идти быстрей, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к

небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорей добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавоженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее, и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То нервно и взлохмаченно летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдали ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких, толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от былья к былью, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, отражение звезд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубок и сух, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было сине, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал

ее сзади за шею, притягивал и целовал ее холодные обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!»

Она была, правда, грустна и рассеянна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно, — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала? А то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще; леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое — все цвета, на которые нагляделась она за день.

Он доставал из-под террасы дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубахе — довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое, когда он вышел на веранду, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был! А?

— Так... Устала я страшно сегодня... — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — Погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает — как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, незнакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за мороз и солнце, и за свой покой: зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись, где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил

лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал: она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила: «Нет!» — и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним, все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться, и она уснула.

Проснулась она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растоплял остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься.

Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой и она хороша и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка — и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, и они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал.

1962



В Кеми мне сказали, что где-то далеко на западе в глуши Карелии есть будто бы район Калевала и что живут там рунопевцы. И будто сосна есть на берегу озера, под этой сосной собираются старики — последние могикане, — поют свои руны и, как тысячу лет назад, все еще славят великого Вяйнямейнена.

Тогда забыл я на время море, рыбаков, все эти пустынные берега с редкими тонями — и поехал в Калевалу, как в сказку, как за Жар-птицей. Солнце то выходило, то скрывалось, и даже дождь принимался, и все разнообразные камни и мхи, сосны и озера — то сверкали, голубели и краснели, то принимали неопределенный мрачный тон, от которого толчки на ужасной дороге делались мучительней и закрадывалась угрюмая мысль: «Зачем я еду?»

Река Кемь со своими порогами, с островами, со сплавным лесом, на многие километры запружавшим ее, то объявлялась, то пропадала, как и солнце, дорога шла то в гору, то под гору, час проходил за часом, народ в автобусе менялся, говорили кругом уже по-фински, пахли все лесом, годами не снимаемой закожeнелой одежей, мокрыми платками и фуражками, на полу поскрипывали уже пестери и корзины с морошкой, черникой...

Шофер, чем дальше от Кеми, тем становился ленивей и веселее, болтал с пассажирами, правил одной рукой, другую без конца запускал в первую попавшуюся корзину, горстями ел морошку и чернику, и губы у него давно уж стали синими. На дорогу выходили коровы и лошади с боталами, стояли, задумчиво глядя на приближающийся автобус. Автобус останавливался, шофер уже двумя руками ел морошку и ждал, когда можно будет ехать.

Попадались пастухи, рыбаки и лесники с суковатыми удилищами. Все они были в брезентовых плащах и высоких сапогах, блесны у них были величиной с ладонь, щуки, пачкая плащи слизью, свешивались с плеч и шлепали хвостами

по сапогам. Между тем облака впереди стали синеть, а гранитные валуны по сторонам — краснеть. Блеснуло солнце, уже низкое, мягкое, и тотчас на горизонте заблистало, затуманилось, вспучилось громадное пространство воды. Мы подъезжали к Куйтто-ярви. Оно лежало спокойное, жемчужно-палевое, а острова на нем и облака над ним были голубые.

Печален все-таки Север! Лет шесть назад попал я на Север впервые, всю ночь плыл на пароходе из Архангельска, долго не спал, стоял на пустой палубе, ждал морской качки. Но не было качки, сияла низкая багровая луна, у борта вспыхивали, мерцали зеленые искры, а широкая лунная дорога тянулась до горизонта и там растворялась в блистающем мареве.

А когда проснулся утром — пароход давно уже стоял в Пертоминске, на пристани была суета, катили бочки с селедкой, что-то грузили и выгружали, кричали и махали друг другу. Завывали лебедки, туда и сюда поворачивались стрелы, и какой же запах охватил сразу меня — запах моря, соленой рыбы, дерева, смолы, перегорелого угля, — какие тут же, возле парохода, покачивались карбасы, дорки, мотоботы, сколько везде было палуб, рубок, мачт и какой был к северу, за горами, за выходом из Унской губы, глубокий морской простор! И все это грянуло впервые на меня, ошеломило до озноба: вот и я здесь, вот и я сам вижу то, о чем только читал когда-то.

Но меня подстерегало и другое — щемящее чувство пустынности, одиночества... Едва устроившись на квартире, едва попив чаю из шумящего самовара, едва вслушавшись в музыку северной растяжистой речи — пошел я на берег Унской губы. Я все забирал влево, зашел по песку далеко от порта, миновал ряд длинных уныло-сизых амбаров и вышел на берег. Все, что было живо, осталось у меня за спиной, я стоял лицом к воде, к пустыне. Какие увидал я маленькие скрюченные березы и елки, какой заунывный ветер мел по берегу песок, катил и катил волну! А противоположный берег губы был уж и совсем дик и пуст, а за ним лежали какие-то деревни, очень редкие, небольшие, и между этими деревнями простирались десятки километров пустынного берега, по которому мне надо было пройти... Что же это — конец света, край земли, всеми забытый? Но почему же все-таки так легко было у меня на душе, почему светлы были потом мои воспоминания об этом сентябре на Севере, об этих берегах и людях, населяющих их?

Так думаю я и так же радуюсь на другой день по приезде в Ухту, сидя в ожидании катера, который повезет нас на Ала-ярви. А погода с утра портится, а облака над этой каменистой страной как нигде низки и все придавливают, глушат, — робкие, нежные цвета, вспыхивающие под солнцем, теперь пропали, все стало сизым и серым. Дует ветер, роет на озере крупную беспорядочную волну, возле пристани скребутся бортами лодки и катера, ни одного рыбака не видно на озере, ни одной точки не чернеет.

Со мной сидит Ортье Степанов — здешний писатель, добродушный, круглолицый и веселый. Он доволен, он рад съездить со мной на Ала-ярви, рад, что уговорил поехать туда и Татьяну Перттунен.

И она сидит тут же, принаряженная — едет все-таки в гости, — веселая, изредка перебрасывается с Ортье несколькими словами, усмехается. Не понимаю я по-фински, но слушаю жадно — такой это прекрасный звучный язык, сдвоенные гласные и согласные...

Восемьдесят лет этой Перттунен, даже, наверно, больше, она сказительница, и хоть лицо у нее, как у всех старух — и морщины там, рот запал, глаза повыцвели, — а все-таки присутствует в этом лице еще что-то: гордость ли, сознание ли собственного достоинства, или важности своей жизни, или известности, почета, каким она тут, верно, окружена.

Она совсем не говорит по-русски, на меня не смотрит и ко мне не обращается, да и с Ортье говорит мало, больше раздумывает о чем-то. Живет она одна — сама косит, гребет сено, ловит рыбу, ездит на острова за ягодой и грибами — словом, делает всю необходимую тяжелую мужицкую работу, без которой тут не проживешь. Но ведь восемьдесят лет!

К тому времени, когда установилась советская власть в Карелии, ей было уж лет сорок — целую жизнь прожила. И как! Что тут было в прошлом веке, в этом краю лопарей, в краю тихого народа? Смутно воображаются мне бедные дома, бедные люди, темные ночи зимой, тишина над землей, нарушаемая изредка курлыканьем лопаря, едущего на лодке за сто верст в гости, или его же выстрелом по лосю. Какие-то стада оленей проходят бесшумно передо мной, прыгают в речках лососи и семги, женщины в белом мелют хлеб у порога, прядут и ткут по лавкам... Были ли тут мельницы? Не было, наверное, и дорог не было, и чем жила все эти столетия наша земля, какие были войны, революции, какие Бетховены и Толстые рождались и умирали — ничего того тут не знали, и время для этого народа как бы и не текло, так же как не течет оно для этих камней и озер.

И сейчас-то здесь не ушла еще та жизнь — радио, электричество, клубы, леспромхозы — это все в Ухте. Ну, а вон там, за теми низкими вараками — что там? И вот там? И там?

Я перевожу взгляд по горизонту, воображаю какие-то деревни среди варак и озер на берегу шумящих порожистых рек, на розовом граните. Вот и Ортье из какой-то такой деревни, и отец его был сказителем, я и снимок с него видел — стоит босой, бородатый, совсем как Лев Толстой, только на поясе нож в ножнах. И сейчас вот мы собрались, едем на какое-то Ала-ярви, в какую-то деревеньку в гости к сказительнице Марье Михеевой.

Над островом, который темнеет вдали, волочится дождь. Здесь хорошо видно, на много километров окрест все открыто — и видишь, как бродит по озеру, по островам дождь, как повисает темными лохмами то в одной стороне, то в другой...

— Вон, видишь, берег крутой? — спрашивает Ортье. — Вон, где красный обрыв — видишь?

— Ну?

— А вон дом культуры — видишь? Голая сосна рядом торчит?

— Вижу.

— Так она раньше на этом обрыве стояла.

Он что-то говорит по-фински Татьяне Перттунен, потом опять мне:

— Под этой сосной сто лет назад пели руны. А у стариков все записывал финский ученый — Лёнрот. Так и появилась «Калевала». А вот этот катер — гляди, — название «Архипп Перттунен» — так? Это прадед нашей Татьяны, онто и напел почти всю «Калевалу». А сосну недавно подмыло, померла она, мы ее выкопали и посадили около дома культуры. Пускай стоит!

— А! — говорю я. — Так вот когда пели «Калевалу», глядя на озеро, сидя под сосной — сто лет назад!

В поездках со мной постоянно бывает — то ничего, и все как-то мимо, и дорога отвратительная, и люди попадают все неинтересные, и чувствуешь, как то, из-за чего проехал все эти тысячи километров, не дается, уходит, и кажется уже, что и вообще-то ничего нет, зря ехал.

А то вдруг все является, все складывается как нельзя лучше, без всяких твоих усилий и именно так, как ты хочешь. Радость тогда, сперва неуверенная, а потом все более полная охватывает тебя, и жизнь прекрасна, и люди хороши, и писать о них хочется до смерти — вон они какие, вон

они как работают, вон они все сильные, большие — лучше тебя! Смотри на них, завидуй и благословляй судьбу: ты видел их, редкое счастье тебе привалило!

Так и сейчас, заводят уже катер, уж он фырчит, и мы на палубе, а палуба дрожит, даже по воде рябь от бортов идет. И погода расходится, вон уже голубые просветы в той стороне, куда мы едем, уж солнечные лучи веерами протянулись над далекими островами, радуги вспыхивают сразу в нескольких местах, а главное — теперь-то уж я знаю: «Калевала» от меня не уйдет, я ее услышу. И руны ее представляются мне застывшими водопадами в горах, звуком, вышедшим из камня этой страны.

Мы трогаемся, и сразу, будто ждали нас, на Куйтто-ярви объявляются несколько точек и движутся в разные стороны. Это рыбачьи лодки, и на каждой по два рыбака: один на веслах, другой выкидывает сети.

— Много здесь рыбы? — спрашиваю я у Ортье.

— Хо-хо! Рыбка есть, есть рыбка-то, — похохатывает толстый Ортье. — Вот приедем, порыбачим, сам посмотришь, ухи похлебаем...

Ну не чудо ли! Плывем мимо островов. Вот один медленно проходит, утонувший в голубом, опрокинувшийся лесами в воде, вот другой, вот третий... Была бы лодка, была бы пирога какая-нибудь, был бы крепкий спутник, знающий таинственное молчанье леса и воды, была бы палатка, соль, спички, ружье, удочки, — так бы и плыл от острова к острову, опускал бы в тихую воду и вынимал бы весло под пологами белых ночей.

Куйтто-ярви кончается, острова смыкаются, леса торчат из воды, и прямо по носу синяя протока в Ала-ярви. Плывем по неподвижной воде, заворачиваем направо, налево, блуждаем среди лесов, наклоненных над водой ив и елей, голова начинает кружиться — вдруг снова вырываемся на простор. Это уже Ала-ярви.

Еще десять минут, еще полчаса, показывается вдали на берегу деревенька, десяток разбросанных серых пятнышек на всем зеленом. Вот она ближе, видны уже деревянные мостки, народ на них, катер сбавляет ход, с тихим журчанием идет некоторое время по инерции, стукается о мостки, и тут его привязывают.

Почему вышла на берег Марья Михеева — чувствовала ли, ждала ли нас, — не знаю, но вышла, спешит навстречу, и вот они все сходятся: Ортье, Татьяна Перттунен, Марья Михеева, раскидывают руки, обнимаются крест-накрест, но не целуются, прикладываются только щеками, ликуются.

Идем к избе Михеевой. Ортье смеется, покрикивает, распоряжается, и вот уж бежит вниз какой-то мальчишка, готовит карбас и тащит всякие котелки, чайники...

И у Михеевой не говорят по-русски, и мне досадно, так хочется поговорить, расспросить, остается одно, пока они радуются, перебивают друг друга — смотреть. Изба как изба, как наша в какой-нибудь деревне. И все избы такие же, одно только не как у нас — очень редко стоят, заняли всю дугу берега. Поглядишь на одну, потом переведешь взгляд, смотришь, вдали другая, а там еще и еще — места много им в этой пустыне.

Минут через десять мы все спускаемся вниз к карбасу. Он только что просмолен, резко пахнет, липок и черен. И очень строен, с поднятыми кормой и носом, длинен, остр, как челнок, и верток. Кое-как умещаемся все, пихаемся, отходим на глубокое и гребем. Ортье развалился в середине карбаса, греется на солнце, напевает что-то, я — лицом к носу, гребу кормовыми веслами, Михеева сильно и мерно работает основными. Гребет она без малейшего напряжения, говорит с Татьяной Перттунен, а весла — они как бы сами по себе, отдельно от нее.

Наступила вдруг минута — я как бы очнулся, смотрю с удивлением вокруг — что это? Какие-то старухи со мной в лодке, финская речь: «акка», «юкка», постукивают о борта весла, поскрипывают колышки, справа крутой берег, по берегу сквозь траву, сквозь мох выпирают красные, синие камни, впереди мыс, сосны на мысу... Что это за сосны?

— Священная роща, — говорит Ортье и хохочет, весело ему. — Давным-давно тут кореляки молились, кладбище было...

— А теперь?

— Теперь ничего. Роща и роща. Мы в ней и посидим Рыбы наловим, костер запалим...

Ветер припал, у нас здесь тихо, гладко, только за мысом видна полоса темной воды — там волны бегут под солнцем, и встряхиваются, выворачиваются серебряными облачками ивы по берегам.

Причаливаем, выходим на берег, под сосны, лезущие наверх, в гору, выносим чайник, котелок, топор. Ортье сразу начинает щепать смолистый пень, раскладывать огонь. Старухи садятся в лодку и уплывают в залив ставить сети. Они двигаются там медленно, подолгу застывают в бездействии со сложенными руками. По воде слабо доносятся их голоса. Вся жизнь их прошла здесь, и какая долгая жизнь, вот они и говорят, и разговоры их, наверное, просты и безыс-

кусственны, как вся здешняя природа. Карбас их со вздернутыми кормой и носом, с опущенной серединой похож на ладью викингов.

И вот кончилось мое ожидание, кончились все эти окуни и щуки, трепет их в сетях, вот уже жарко, весело пылает огонь, уже полна банка черники, которую между делом набрали старухи, пока мы с Ортье возились у костра, уж котелок над огнем пускает пену, уж высовывается оттуда то окуневый хвост, то щучья пасть...

В Ухте было у нас с Ортье некоторое совещание. «Как насчет выпить, — спросил я. — Взять?» Ортье долго размышлял и колебался, надувал круглые свои щеки и сперва сказал: «Нет!» — а потом все-таки решил: «Взять» — и захохотал.

Теперь мы все налили себе понемногу, и я вспомнил Грузию, и сказал тост, что-то такое длинное и запутанное; а Ортье перевел. Старухи молча выслушали, засмеялись и спросили, как меня звать. Я сказал, они долго приноравливались к моему отчеству «Павлович», но ничего у них не получалось, и тогда они решили: «Пускай он будет просто Юркки!»

— Будь здоров, Юркки!

Уха готова. Но мы едим как-то неохотно, вяло, смотрим по сторонам, и я понимаю вдруг, что уха — это так просто, что-то вроде прелюдии к тому главному, что сейчас начнется.

Ветер окончательно перестает, облака расходятся, солнце устанавливается, пятнает мох под соснами и наши лица. Тянется к озеру дымок от потухающего костра, как впаянная, чернеет на воде, притянутая к берегу, наша лодка.

Старуха Перттунен наклоняет голову, мы с Ортье ложимся, растягиваемся на мху, и Ортье мигает мне: сейчас начнет!

Татьяна Перттунен перебирает узловатыми темными пальцами по юбке, обтягивает ее, смотрит на угли, на их пепел, на их трепетное подергиванье сизостью. Марья Михеева отворачивается, глядит на озеро, будто вспомнила что-то домашнее, что ей там нужно сегодня сделать.

Татьяна Перттунен говорит что-то вполголоса, и Ортье тотчас переводит мне:

— Про то, как Вяйнямейнен играл на кантеле из рыбьих костей...

И она запевает. Раздаются первые звуки ее невыразительного голоса, выговариваются торопливо первые слова, неустойчиво выпевается еще неуловимая на слух мелодия.

Да она и не поет еще, а говорит речитативом, скоро несется, как ручей в лесу с его разнообразным, высоким и низким бульканьем.

Но лицо ее уже преобразилось — глаза сведены в одну точку, пальцы двигаются, скрючиваются и распускаются, голова вздрагивает и откидывается, глаза поднимаются на сосны, на даль озера, но тотчас опускаются. Иногда она повысит голос, нахмурит брови, вскрикнет грозное и поднимает руку, угрожая, но тут же и сникнет, забормочет, раскачиваясь, что-то жалобное.

Каикиппа ноуси кууломаа
метсяста метсян еелаваа... —

вот что приблизительно слышу я на свой русский слух. Ортье кое-как успевает шепотом переводить мне обрывки руны, и я чувствую, как мороз медленными волнами проходит у меня по спине и дыхание стесняется.

Где только и каких песен я не переслушал! И до сих пор все они звучат во мне — сиплые, унылые песни по поездам; пьяные, визгливые о «помятой траве» в деревнях по праздникам; радостно-заунывные свадебные и величальные, когда и невеста, и старухи заливаются счастливыми слезами, один жених крепится; вятские «барабушки» под гармонику, под топоток по убитой земле; блатные и воровские, надрывные, со слезой — по московским дворам; пасхальные и панихидные песнопения в церквах, и всяческие современные песни про то, как «речка движется и не движется», и студенческие бесшабашно-маршеобразные — всюду, на пристанях, на пароходах, в горах, у костров...

Но этот напев — его даже трудно определить, радостный он или печальный. Он дик и невнятен, он первобытен и прост, как эти камни и сосны, он однотонен, но он и неодинаков — и сколько там в этой «Калевале» проходит героев, злых и добрых, сколько событий, столько же интонаций и в мелодии. Одна и та же, она звучит то мягко, то грозно, то зловеще, то быстро, то медленно. Как будто то несешься в лодке между скал по гремящим порогам с водяными туманами и радугами, то остановился в озере и загляделся в его зелено-желтую глубину.

Ситя руотайста ромуа
Каландуйста кантелейта...

Пролетели утки, плеснула рыба, кулик сел на кромку берега и быстро побежал от нас. Как это там в «Калевале»? Все поднялись слушать музыку ночи — из лесу вышли лес-

ные жители, — ах, они скрывались там! — из воды с шумом и плеском выпорхнула хозяйка воды, вышла через березовое дупло на ольховую листву. А вон и утки гребут на своих лапках, и птицы слетелись с шорохом, перепархивают ближе и ближе. Играет Вяйнямейнен на кантеле, на жемчужном кантеле, сотворенном из костей рыбы. Для кого? Для озер, для камней и неба, опрокинувшегося в водах, для тихого своего народа в белых одеждах, сидящего по всем каменным уступам всей каменной страны, как чайки ночью?

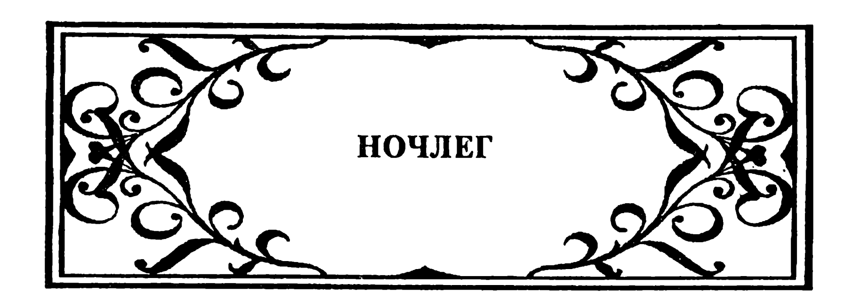
Поет Перттунен! А почему бы ей и не петь, если пели когда-то дети лопарей, поев глаза плотвичек и запив водой из ламбушки — маленького озерца? Почему бы не петь старой Перттунен, если ест она хлеб без примесей, жует чистый хлеб и сидит на берегу тихого Ала-ярви, возле смолистого огня?

Потом поет Марья Михеева — несколько иначе, потверже, повыше, и сперва вроде бы с усмешкой, а потом — серьезно, истово, и тоже затуманивается, тоже смотрит вдаль, а видит одного Вяйнямейнена. Поют старухи, раскачиваются, сменяют одна другую, а уж глаза у них подозрительно блестят, уж вытирают они их концами платков. Ветер у них выдул слезы, что ли? Или дым попал? Но нет ветра, и дыма почти нет — одни угли, одна тишина, одна «Калевала», выпеваемая старыми голосами, журчит, вздымается и опадает.

Ортье ворочается, жмурится, кряхтит от удовольствия. Ему хорошо, завидую я ему — он все понимает, он как бы пробует на вкус все эти прекрасные слова, и сладки они ему!

Назад мы идем пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, — я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома — тут ведь особенно любят свет! — и побегут шелковистые розовые, и желтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов — тогда забудется многое, забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется — не забудется «Калевала» и великий дух Вяйнямейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия.

1962



НОЧЛЕГ

— Ну давай сходим, Никита! — просил Илюша и клал руку Никите на плечо, смотрел в окно куда-то по деревне, и когда он так клал руку, выходило, что он не один смотрел, а вроде бы вместе с другом. — Давай, Никита, а?

А еще час назад Илюша был замучен, шли они болотами двадцать километров, и под конец Никита все чаще останавливался и глядел назад, в сумерки долгого весеннего вечера, в тончайшую пелену тумана, покуда в этом тумане не определилась фигура — тонкая и длинная, с головой, понуро свернутой набок, слышалось усиленное чавканье сапог, и Никита только вздыхал от жалости.

Но когда пришли в деревню, когда договорились о ночлеге в избе, в которой жили старик со старухой, Илюша свалил в угол рюкзак, сел к окну, закурил, стащил — нога об ногу — сапоги, вытянулся, поглядел в окно, и глаза его заблестели.

Старика не слыхать было, старуха накрывала на стол, говорила о чем-то с пятого на десятое. Илюша старуху не слушал, спрашивал иногда о хозяйстве, и вопросы его были какие-то дикие, на все повторял почему-то «спасибочки» — и встрепенулся, и особенно поглядел на Никиту, когда узнал, что сегодня в клубе танцы.

...Стояла на Севере самая ранняя весна — та пора, когда ночи уже тлеют, истекают светом по горизонту, когда березы еще голы, когда на многие километры слышно, как однообразно-напряженно играют, гулькают тетерева, а снег еще только сошел, все залито полой водой, и часа в четыре солнце уже высоко и греет вовсю.

В одно такое утро Илюша и Никита и двинулись в обратный путь. Были они геологи-однокурсники, бродяги и поэты, как они сами себя называли и как пелось об этом в их же песнях. Три месяца, еще с зимы, проработали они далеко в болотах, в партии, потом срок их кончился, они собрались быстро, выпили накануне у костра, спели свои

песни, записали все поручения, а утром перебудили всех, потискали руки на прощание, глянули уже как-то отдаленно на буровую вышку, на дощатые сарайчики, фургоны, палатки, на трактора — и пошли...

Им надо было ночевать в этой деревне на берегу необозримого озера, а завтра в три вставать, спускаться на пристань и ехать на катере связи на другую сторону — в город, а оттуда уже в Москву, на поезде.

Все было прекрасно, только Никите хотелось спать, и он думал, что все-таки в три часа вставать, но Илюша все не отставал, все просил:

— Ну, Никита, ну, дорогой, пойдем, посмотрим! — а сам уже и штормовку скинул, натянул мокасины, замшевый спереди джемпер, и побрился, и сигареты американские достал из рюкзака, которые берег специально до того времени, когда будет ехать в Москву и сидеть в вагоне-ресторане.

И как только запахло в избе приторно-сладким заграничным дымком и одеколоном, Никита тоже не выдержал, нацедил кипятку, побрился, тоже надел свежую рубашку, и они вышли — даже плечами в сенях столкнулись.

Ребят в клубе было мало, больше девчат, и девчата показались Никите и Илюше прекрасными, какие-то синеглазые, в веснушках, крепкие и веселые. Как рассеянно сразу заулыбался Илюша, как нарочито скромно, чуть сутулясь — руки в карманы, — мелким шагом пошел в угол, как бы говоря: «Не беспокойтесь, что вы!», как округлил, выкатил глаза и как стал сразу оглядывать девчат! И Никита тоже заволновался, понюхал, сразу уловил запах пудры и губной помады, запах горячего женского тела, сразу вспомнил редкие и давние свои вечера в таких же клубах, и неизменный грубоватый и в то же время многое обещающий вопрос: «Разрешите?», и допотопные, каких больше нигде не играют, кроме как в глухих деревнях, вальсы и польки на баяне, и топоток ног, и крыльцо потом, шум и возню ребятишек в темных сенях — и подобрался, закаменел некрасивым своим лицом и с привычной завистью подумал об Илюше, что опять тот выберет себе лучшую, а ему достанется какая-нибудь...

Заиграл баянист, начались танцы, и сначала танцевали одни девчата, ребята все стояли в углу, покуривали, похохатывали, а окна все светились закатом, хоть и бледнели, синели уже. Но света не зажигали.

И тут же к Никите и Илюше подошел парень, а был он стрижен по затылку и вискам чуть не наголо, добела, зато

золотистый кудрявый чуб стоял дыбом и водопадом валился на сторону, и был он в шелковой тенниске, в широких брюках, вправленных в сапоги гармошкой, в пиджаке внакидку, и пахло от него одеколоном, бензином и водкой. Он нагнулся и, поглядывая по сторонам, заговорил культурно, тихо:

— Вы, ребята, вот чего... Вы, я вижу, народ культурный — так чтобы все у нас в ажуре было, кого не надо — не трогайте, ясно? Кого себе возьмете на прицел, меня пригласите, я вам скажу, с ними можно или нет. Это чтобы, культурно сказать, какая с кем уже гуляет, а вам неизвестно, так ребята обидеться могут. Нехорошо может произойти. Ясно? Ну и действуйте, извините, а я с вами культурно.

И отошел, а баянист играл, перебирал, склонял голову, и Илюша, уже смело поглядывая на ребят, улыбаясь им, как будто он не один, а вместе с ними, — уже танцевал, уже говорил что-то какой-то девчонке, приближался к ней, отстранялся и опять, кругля глаза, поглядывая по клубу и на ребят в углу, будто он все это не для себя делал, а для них, для всех, кто там был.

А потанцевавши, сел — весь другой, новый, нежный какой-то, тихий, обнял Никиту, забормотал: «Никита, Никита... А? Хорошо, а?» — а сам смотрел все на ту девчонку, с которой только что танцевал. широко, щедро улыбался, и видно было, что он счастлив и про все забыл, — забыл, как работал, забыл, как по болоту шел, забыл, что впереди и что было позади, а только этот нежный, тихий брезжущий свет по окнам, только этот баян, этот клуб, с нечистым полом, эти девчата — одни были для него теперь.

Ребята вдруг стали выходить вон, а давешний парень серьезно мигнул Никите с Илюшей, мотнул головой на выход, раз и другой, и не выходил, пока Никита с Илюшей не встали и не подошли к нему.

— А ну, выйдем! — тихо, серьезно сказал парень, водя глазами по сторонам, и пошел, и Никита с Илюшей, сразу испугавшись, двинулись за ним. Вышли на крыльцо и увидели, что все уже зашли за угол, стоят, покуривают, ждут их. «Сейчас бить будут!» — холодея подумал Никита.

— Ребята! Вы как насчет выпить? — весело, заговорщицки предложил им, как только они подошли.

Илюша сразу опять заулыбался и округлил глаза. Никита сказал: «А!» — и передохнул, и голос у него был какой-то не свой, и еще почувствовал, что весь вспотел, лицо и шея вспотели, вытащил платок и стал утираться.

— А можно? Магазин открыт?

Оказалось, что можно, магазин закрыт, а у продавщицы дома есть. Водки нет, а есть спирт. И тут же сложились на спирт, и кто-то побежал, а через пять минут и стаканы появились, и вода, и потом все они — человек восемь — дружно пили возле глухой стены клуба разведенный спирт, закусывали окаменевшими мятными пряниками, и Илюша угощал всех сигаретами; все недоверчиво курили, нюхали сладкий дымок и говорили о тракторах, о зарплате, о нормах, о геологах, о том, что в прошлом году тоже работала недалеко от них экспедиция, и ребята ходили к ним в гости, на танцы и в кино, и что ничего, какие все были хорошие ребята, ленинградцы.

И баянист выскочил, сам почуял или кто ему сказал, выскочил, тоже приложился, спросил про какого-то Мишку, курнул, вернулся в клуб, а за ним и все потянулись, уже горячие, веселые, смелые, и как-то уютнее, милее стало в клубе, и музыка лучше, и грустно как-то было, хорошо и жалко, что один вечер только у них, и Никита думал, что всегда, всегда так — один вечер, одна ночь, а жалко, и уже больше ничего похожего не будет, вернее, похожее будет, а вот точно такого никогда уже не будет, и это помнится потом долго. Ах, как жалко!

С непривычки он опьянел, но не плохо, не тяжело, а горячо, все ему нравились, и когда Илюша потанцевал, поговорив с той же девчонкой, подозвал его к себе знакомить с ней и с ее подругой, они обе так ему понравились, что он сначала и разобрать не мог, какая лучше и какая же его, а какая — Илюши.

Илюша что-то говорил, ворковал, понизив голос, смотря пристально то на одну, то на другую. А говорил он обыкновенное, что всегда говорится в таких случаях, первое попавшееся, что как жалко, как ужасно, что у них в партии не было таких девочек — а то жизнь в болотах была бы сказкой, и почему они не хотят стать геологами: все геологи — романтики и поэты, и тому подобное, пустое. Но Никите все нравилось, и все было правдой, потому что он в эту минуту забыл тоже про сырость, холод и грязь, и ругань, и тоску и только горячо подхватывал: «Конечно!», «Еще как!»

И они танцевали, а в перерывах говорили и старались острить, чтобы рассмешить девочек, чтобы было весело, а потом вышли и сначала постояли вместе, а потом разошлись — каждый в другую сторону, каждый со своей девочкой... Никита, когда Илюша ушел, скрылся, — Никита

примолк, ему как-то неловко стало, он забыл, как звать эту, что шла с ним. Потом спросил. Оказалось, звать Ниной.

— А, Нина... Ниночка... — забормотал он, стараясь опять попасть в давешнее легкое настроение. — Как я не знал, что вы есть на свете...

Дальше у него не выходило, он перестал улыбаться, почувствовал, как у него устало лицо от улыбки и что опьянение — первое, горячее — прошло, взял ее под руку, попробовал было обнять ее на ходу, но та не далась, и Никита совсем опомнился. «Все ясно, — подумал он, — ей Илюша понравился, а пришлось со мной идти. Все ясно!»

Да, наверное, он ей не нравился. А может быть, она думала, что — зачем ей это, вот он приехал, появился откуда-то на одну ночь и уедет, а она останется, так зачем же ей одна-то ночь.

Она не прощалась, не уходила, но и не становилась оживленнее, а была как каменная — синеглазая, налитая, крепкая, пахучая, и пахло от нее бесхитростно: пудрой, женщиной, молоком, деревней. И она была еще замкнутая, далекая. Был ли кто-нибудь в ее жизни и что она думала о любви? «Наверно, солдат какой-нибудь есть, — думал Никита. — Переписываются!»

Прошел где-то вдали баянист с девчатами, шли по домам, и баянист еще наигрывал вологодские страдания, а девчата подпевали. Потом все угомонилось, успокоилось, и хоть было уже часов двенадцать, на севере еще сочился светло-зеленый омут света с багровой каемкой по горизонту, поблескивали стекла изб, а крыши, восточные их скаты, были черные, как нарисованные сажей.

Никита еще пробовал говорить, она отмалчивалась... Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой. Перед ними, будто налитое воздухом, простиралось громадное пространство озера. Оно не темно было и не светло, не имело цвета, не имело границ... Только в двух отдаленнейших местах, как бы в космосе, мигали вперемежку маяки, и уже где-то совсем далеко, в неверном восточном сумраке, переливались, вспыхивали и потухали, как мелкие звезды, огни районного центра на противоположном берегу.

«А ведь надо спать! — совсем трезво подумал Никита. — Где же эта наша изба?»

В эту самую минуту на озере, неизвестно где, возник упругий, вроде бы негромкий, но в то же время мощный

звук, похожий на «уыыыыыыпппп!» — и, не ослабевая, а даже как бы усиливаясь, со стоном, со вздохами стал кататься по озеру, уходить и возвращаться.

— Что это? — быстро спросил Никита, чувствуя, как тоскливо дрогнуло у него сердце и холод пошел по всему телу. — А? Что это?

— А-а!.. — отдаленно отозвалась она. — Это воздух... Это воздух замерзает зимой на дне, а весной выходит. И нипочем не угадаешь, где звук, а так, везде...

Эта протяженность, эта нежная отдаленность ее голоса так непохожи были на ее замкнутый, каменный вид, что Никита опять обнял ее, но она вскочила и уже больше не садилась, а стояла в двух шагах от лавки, сцепив руки на подоле, полуотвернувшись, глядя на озеро.

— Ну что ж, раз так — гуд бай, спокойной ночи! — сказал грубовато Никита.

Как же радостно подала она ему свою шершавую ладошку, как повернулась, как быстро пошла, а потом и побежала по мосткам, закидывая на стороны крепкие светлые икры! А Никита посидел еще некоторое время, покряхтел, покашлял от стыда, закурил, и хоть ему сперва стыдно и нехорошо было от неудачи — потом забыл про все, остыл и только глядел на озеро, направо и налево, и уже стал замечать тончайшие перламутровые облачка высоко наверху и три обвисших паруса на неподвижных, заштилевших лодках, и когда из какого-то заливчика, примерно в километре от деревни, стал выгребать рыбак на лодке, явственно расслышал скрип уключин. «Уыыыыыыпппп!» — опять раздался тот же звук, будто водяной простонал, и эхо, как большое медленное колесо, долго катилось по неподвижной воде.

А когда, поплутав в изгородях и дворах, Никита нашел свою избу, Илюша был уже дома, сидел спиной к раскрытому окну и говорил о чем-то со старухой. Увидев Никиту, Илюша заулыбался, обрадовался, будто они бог знает когда расстались и, по своей привычке проводя ладонью по губам, сразу спросил:

— Ну как, а? Никита, ну как, правда? — глаза у него были круглые, но спрашивал он так, будто поощрял и осуждал одновременно, как, бывает, отец сына.

Никита не ответил, повел плечом только, сел на лавку рядом и стал следить, щурясь, за старухой, слушая, как шумит самовар на кухне, и думая, скоро ли чай и можно будет ложиться спать.

Илюша сразу все понял, что у Никиты неудача, провел ладонью по губам и приспустил серьезно веки.

— Ну, ну, ну... Ну, Никита, прости, прости... — и длинной рукой нежно коснулся его плеча, и завиноватился как-то. Илюша, когда бывал смущен, начинал как-то приборматывать, повторяя слова. — Но согласись, согласись... Согласись, слушай, грандиозный вечер, а? А, Никита? А спиртик, спиртик — тебе, тебе понравился?

— Ничего, нормально, — кисло сказал Никита и зевнул. — Проспим мы...

— Не проспим, не проспим, Никита, ты, ты... на кровать ляжешь? Я же знаю, знаю — ты любишь мягкое. Ты устал, устал... На кровати, хорошо?

И он зачем-то повернулся, согнул свою длинную шею, высунулся за окно и поглядел по сторонам.

А возле печи, в темноте, там, где должен был спать Никита — за перегородкой, за занавеской, — послышалось вдруг кряхтенье, потом стали грабать рукой по занавеске, откидывая ее, и показался старик. Он ни на кого не смотрел — смотрел перед собой, шел, редко и мелко переставляя ноги, вытянув руку, другой рукой еще придерживаясь за косяк. Был он страшен, черен, с лиловыми веками, весь зарос сивой щетиной, был еще брит по голове, и шишковатая голова тоже была в грязной, редкой щетине. Глаза у него провалились, лицо при каждом шаге кривилось, и видно было, что ему невмоготу перейти открытое пространство, не придерживаясь ни за что. Никита было встал поддержать его, но старик враждебно и твердо сказал:

— Сядь! Я сам... — и со стоном и кряхтеньем продолжал свой путь.

Наконец он умостился за столом, долго молчал, смотрел на лампу, тер щеки, потом спросил:

— Экспедиция?

— Экспедиция... — поторопился сказать Никита. — Геологи.

— Типятку дай! — помолчав, твердо приказал старик.

— Чего? — не понял Никита.

— Типятку! Типятку, я говорю, дай! — сердито повторил старик. — Вон в горке, я говорю, типяток!

— В какой горке? — краснея от напряжения понять, спросил Никита.

Илюша высунулся в окно, шумно курил, дул дымом, будто любовался природой.

— Вода кипяченая там в шкафчике за стеклом у него! — крикнула из кухни расслышавшая старуха.

— А! — облегченно сказал Никита и подал старику банку с желтоватой кипяченой водой.

Старик стал пить. Он сопел, глотал, дышал носом в банку, но не оторвался, пока не допил.

— Мать, а мать! — крикнул он, отдышавшись. — Самовар когда?

— Несу! — отозвалась старуха и действительно внесла шумящий самовар.

— Кружку мою! — приказал старик.

Старуха поставила перед ним большую эмалированную белую кружку.

— Налей! — сказал старик. — Постой! Мать, а иде у меня водка?

— Так ее и нету, днем-то сам всю выдул...

— А ты дай, дай! Водку дай, я говорю! — крикнул старик страдальчески.

Старуха сердито достала ему из горки бутылку.

— Гм... — старик посмотрел водку на свет. — Гм! Мало. Не стану! Убери. Завтра допью.

И стал пить чай.

— Дедушка, а что у вас с ногами? — спросил, помолчав, Никита.

— Совсем заболел, — грустно, задумчиво сказал старик. — По колени ноги болят. Ступить нельзя. Ляжки ничего, не болят ляжки-то, а ниже колен...

— А что врачи говорят?

Старик ничего не ответил, усиленно и хмуро хлебнул чай.

— Какие врачи, — ласково сказала из другой комнаты старуха. — Врачи ему теперь ничего не поделают. Восемьдесят ведь первый ему... — Она вышла на свет, села на лавку сбоку старика и весело улыбнулась. — Совсем помирает старый-то мой... Да и то — пожил! Восемьдесят годов.

— Чаю мне еще! — буркнул старик. — Табак-то у меня иде? — спросил он, проследив, как ему наливали чай.

— Какой тебе еще табак! — живо возразила старуха. — И не думай, не дам!

Старик наклонил голову, некоторое время молча смотрел на клеенку, потом взялся за кружку.

— Горе одно с этим табаком, — сказала старуха. — Как закурит, так и почнет кашлять, спать не дает... И так спит плохо. Кричит больно во сне, сны ему снятся... — Старуха усмехнулась. — Влазит в него ночью. Вот он и орет.

Старик допил вторую кружку, посидел, подумал.

— Время сколько? — спросил он, ни на кого не глядя.

— Одиннадцать, — сказал Никита.

— Спать пойду, пусти! — сказал старик старухе.

— Дойдешь сам-то?

— Дойду, пусти!

Он мучительно встал, постоял немного, перебирая напряженными пальцами по столу, будто собираясь с духом, потом, вытянув вперед руку, осторожно стал переходить избу. Дошел до притолоки, торопливо оперся, постоял там и начал, держась за печь, двигаться к лежанке. Потом долго взбирался на печь, кряхтел, охал, наконец лег и затих.

Старуха убрала со стола, зевая, ушла к себе, и там у нее долго скрипела кровать. Илюша постлал себе какие-то дождевики и вытертые полушубки на широкой лавке под окном, положил в голову телогрейку. Никита как бы видел и не видел ничего, судорожно зевал, торопливо накуривался перед сном. Он соображал, зачем это Илюша лег возле окна, зачем не закрывает окно, и его такая особенная, хищная какая-то улыбка и нетерпение, и он сам где-то не здесь, в избе, а далеко — но и думать об этом уже невмоготу было, мысли мешались. Он быстро докурил, сплюнул в окно, посмотрел — все было видно, все избы и озеро, и туман на берегу, тонкая пелена, а Илюша тем временем уже лег, закрыл глаза, тихо дышал...

Никита пошел к себе за стенку, нащупал в темноте кровать, повалился, сразу услышал, как дурно пахнут подушка и одеяло, успел только подсунуть ладонь под щеку, и сразу поплыло перед ним болото, закачалась топь, потянулась деревянная тропа, а по сторонам грозно и загадочно раздавалось: «уыыыыыыпппп!..» Он еще не понимал, почему болото и куда он идет, а сам уже жадно спал.

Проснулся он от крика.

— А-а-а! О-о-о! — кричал на печке старик.

«Что это? Почему я во тьме? А, старик!» — вспомнил Никита и тут же услышал тихие голоса за перегородкой, скрип лавки, даже в стену избы стукало что-то.

— Да лезь же ты! — напряженно шептал Илюша. — Кому говорят, ну! Скорей... Ух, черт, тя-жел-ая!

— Обожди, обожди... — шептала она. — Руки пусти, слышь! Пусти, больно! Да влезу я, влезу! Там вон старик орет, может, помирает...

— Не помрет... Давай, давай!

— Да больно же! Офонарел ты? Руку пусти — коленку поставлю. А друг твой спит?

— Спит, спит... Давай... Тихо! Вот так...

— А-а-а! О-о-о! Пусти! Пусти — твою мать! — заорал, задыхаясь, на печи старик.

У Никиты стало холодно в животе, сердце колотилось, но и сон душил его, навивался. «Сволочь! — думал Никита, засыпая. — Плевать! Счастливый... Победитель! Не в этом главное». И он стал думать что-то очень хорошее про себя, как он кого-нибудь встретит, и тогда будет не то что здесь, а это так — бодяга, а не любовь, сука этот Илюшка, подонок! И он уже ничего не слыхал больше.

И еще раз он проснулся — на стене, на темных бревнах над его кроватью был желтый квадрат света, и ему показалось, что лучи идут по избе мимо печи и упираются в стену над ним. «Солнце встало! — испугался он спросонок. — Проспали!» — посмотрел на часы, но не мог разобрать: одна стрелка стояла на четыре, другая возле часу. Он поднял голову, поморгал — старик зажег лампу на кухне, лампа стояла на столе, а старик, вытянув руку, кряхтя, двигался куда-то. Никита поднялся, затопал босой к лампе, поглядел на часы — было двенадцать минут второго. «А! Спать, спать...» — подумалось ему, и он, качаясь, словно пьяный, цепляясь за печь, добрел до кровати, опять повалился и тут же, как ему показалось, проснулся от грохота.

После грохота была тьма, хриплый стон из тьмы и потом голос старика...

— Мать! А мать... Иди скорея! Ма-а-ать! — вдруг заорал он отчаянно.

— Чего, чего ты... Иде ты? Чего там? — забормотала старуха на своей кровати.

— Иди скорея... твою мать! — злобно, визгливо кричал старик. — Иди, я в тару упал, встать не могу...

«В какую тару? В какую тару? О черт, ну и ночлег достался!» — подумал Никита, окончательно проснувшись.

Старуха уже шла ощупью к печке. Она дошла, все время спрашивая: «Иде ты?» — и старик каждый раз подавал ей голос в ответ. И началось там у них какое-то сопенье, начался громкий старческий говор, когда старикам нет дела, что кто-то спит у них, ни до кого им, до себя только, когда они где-то далеко-далеко, в своих годах.

— Бродило, бродило ты старый, — кричала во тьме старуха. — Чудо ты ночное, и кто тебе велел слезать-то?

— Три кружки... — говорил в ответ старик с усилием,— три кружки чаю выпил... Выпил, это-то меня и смутило...

И закряхтел, застонал, задышал, а старуха, видно, подпихивала его снизу, кричала:

— Ногу-то, ногу куда прешь! Сюды вот, на приступку, ставь, руками-то цапайся, цапайся, ползи-и! Ползешь?

— Ползу-у!..

А ночь между тем длилась. Никита не мог уже спать, и не старик со старухой растревожили его, а то, что происходило за перегородкой, и как там смеялись, прыскали, и он понимал, что они слушают стариков и им смешно, что старик упал в «тару», но им еще и не потому смешно, а так просто, потому что они не спят, как он, в душной темноте, а лежат вместе в ночном слабом свете. «Вот, значит, как. Им весело! Как это у Пушкина? Ах, да как же это? А! Вот как: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...» Вот она и пришла к нему, уж он-то знает свое дело, и в клуб поэтому пошел. Пошел бы он в клуб просто так! А он пошел, и все у него вышло, а потом ждал, чай пил и ждал, курил, «спасибочки» говорил. «Никита, — говорил, — милый, грандиозно», и разные слова, а сам знал и ждал, и она, наверно, ждала где-нибудь там, — ну, я не знаю! — где-нибудь на огородах, за баней, когда же погаснет свет, когда все заснут, чтобы прийти. У, шалашевка! А он потом говорит где-нибудь в компании, ноги свои длинные вытянет и говорит о себе: «Я не умею, — говорит, — я просто теряюсь, я робкий, вот Никите везет!» Ах ты сука, гад!.. Бедная старуха, бедный старик — не дай Бог дожить до такой старости, о-о, не дай, не дай Бог. А они прощаются? Спишетесь? Хрен он тебе напишет, дура ты третичная! Написал один такой... «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи»! — вот так, дура, это не кто-нибудь сказал — Пушкин сказал... Не дали поспать, черти, уже на пристань идти надо».

Он поднял голову и поглядел под занавеску, на пол. Было совсем светло.

— Илюша! — позвал он.

Илюша молчал.

— Слушай, который час?

— А? Никита? Что ты, милый? Ты проснулся?

— Давно уже! — сердито сказал Никита и посопел: — Который час?

— Без четверти три...

— Надо идти.

— Да, да... — Илюша зевнул. — Ах, сейчас поспать бы! Ну — идти так идти... Чай не будем пить?

Через десять минут они подходили уже к пристани. На катере давно собрался народ — бабы с бидонами, с кошелками, девчата в надвинутых козырьком платках, два-три парня. Все сидели на корме, молча смотрели на озеро. Северо-восток уже горел, уже казалось, что там встают световые дрожащие столбы, деревня была освещена, и стены

и крыши были бледны. Вдали по озеру двигались лодки, люди в них там наклонялись и наклонялись, играла рыба... «Уыыыыыыпппп!» — вздохнуло опять неизвестно где, и все посмотрели на озеро, но в разные стороны, потому что никто не понял, в каком месте раздался этот загадочный звук.

Кого-то ждали, матрос заглянул в рубку, ему что-то сказали там, и он побежал наверх по берегу, скрылся и закричал, а ему тоже отвечали криком издали. Потом матрос показался с парнем — тащили плоские коробки с кинолентами. Скоро загудел дизель, и за бортом зафыркала вода.

Катер тронулся, косо, боком пошел от берега, и ветерок тронул лица холодом. Скоро стал виден весь плоский берег и вся деревня. Илюша — теплый, усталый, ласковый — положил руку на плечо Никите и с широкой улыбкой глядел на деревню, будто надеялся увидеть что-то. И опять улыбка его была не для себя только, но и для всех, будто все вместе с ним тоже глядели на деревню и искали что-то. Но никто не глядел назад, наоборот, смотрели все на озеро, на рассвет, на далеких рыбаков, следили за утками. А утки уже летали вовсю, присаживались стайками на воду, а вода была светла, и чем дальше к горизонту, тем светлее и воздушнее, и дальше стайки уток, казалось, плавают по воздуху.

— А? Никита? — сказал Илюша, восхищенно глядя на Никиту. — Грандиозно, а? Я тебя страшно люблю, Никита!

В лице Илюши что-то дрогнуло, он подумал секунду и вдруг поцеловал Никиту, очень нежно, слабо и почему-то за ухо.

Никита освободился из-под руки Илюши, подошел к борту, поглядел на шипящую, вываливающуюся из-под носа волну и хмуро закурил. Он ненавидел Илюшу, но знал, что это потом пройдет, и он опять будет его любить — такой тот был нежный, когда хотел. И он знал еще, что все это ему потом вспомнится — и клуб, и озеро, и эти северные девчата, и как он пил спирт за углом, как ему было хорошо, как все-таки хорошо, — вот старику плохо, бедный, бедный старик, — а ему хорошо.

1963



ПЛАЧУ И РЫДАЮ...

Их было трое — ни много ни мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров. Старшему было лет сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами, все время восхищался природой и любил поговорить. Звали его Елагин.

Другой — лет тридцати — был коренаст, груб и насмешлив, хотя имя имел тихое, мечтательное: Хмолин. Он служил егерем, охотился с детства, кажется, только и делал всю жизнь, что стрелял, и ко всем городским, которые приезжали к нему на егерский участок, относился с пренебрежением.

Третий был просто Ваня, свеженький мальчик со щечками, веснушками, с постоянной радостной улыбкой — покорный и услужливый. Ване было лет пятнадцать, и приехал он с Елагиным.

Днем они охотились на уток, но почти всегда неудачно — не было у них ни скрадок, ни подсадных, ни лодки, а утки держались всегда далеко от берега и взлетали чуть не за километр.

Зато вечерами была тяга, и тут уж пальба раздавалась на весь лес, и убивать случалось часто. Пришли на тягу они и в этот вечер, тотчас стали каждый на свое любимое место и подняли лица к небу.

До чего же это был прекрасный весенний вечер! Оттаявшая земля резко шибала в нос, хотя из оврагов тянуло еще снежным холодом. По дну ближнего оврага бежал ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожали, сгибались и медленно выпрямлялись в борьбе с течением. И все это происходило бесшумно — только светлая, отражающая небо вода в воронках и струях и черные набухшие лозины над ней. Зато ниже по течению ручей трепетал в овражной тьме, как струна, и оттуда слышались то будто удары сухого полена о полено, то будто вытаскивал кто-то с чмоканьем ногу из болота.

Приближался, ударял сумеречный час! И как обычно, для Вани, для Елагина и Хмолина время двоилось: казалось вместе и медленным и быстрым. Пока еще было не слыхать ни звука, дневная жизнь замерла, ночная еще не начиналась, и не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями, и солнце еще горело где-то за лесом, один ручей только стукал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки — напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня... И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой, все суки ее снизу доверху и самый ствол покрылись бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу.

Прошло какое-то мгновенно-медленное время — а какое, никто бы не мог сказать, — и вот уже трудно стало разбирать на земле и по сторонам, значит, солнце село, и сумерки надвинулись, только небо над головой и к западу было все так же чисто и светло.

Как и вчера, как тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными как сажа ветвями дубов засверкала Венера. И как только она показалась — а Ваня никак не мог уловить ее появления, он все глядел туда, ее не было, а потом она уже была, — как только она показалась, сейчас же засвистал дрозд. И это значило, что настала ночь и началась иная жизнь.

Как только появилась Венера и запел дрозд, Хмолин и Елагин тотчас закурили, и Ване хорошо были видны огоньки сигарет и дым, синими слоями сползающий к оврагу. Да, ночь наступила, хоть и было светло и вроде длился и зеленел еще вполнеба закат, но это был обман, а на самом деле пришла ночь, — тогда только появились вальдшнепы.

Они были далеко видны на светлом и летели быстро, хотя казалось, что медленно, и в их круглых крыльях, в их волнистом полете, вздымании и опадании было что-то нездешнее. Они хрипели и свистели на лету, и это опять было не похоже ни на один земной звук.

Первым выстрелил Хмолин, выстрел его был гулок и кругл, и далеко в холмах покатилось такое же круглое эхо, а над местом, где стоял невидимый Хмолин, появилось синее облако дыма. Елагин восторженно крикнул что-то, но тут же раз за разом резко и коротко выстрелил сам — у него

был бездымный порох, и выстрелы получались сухие: «тах! тах!»

Выстрелил и Ваня, а через минуту еще и еще, но все мазал — то брал слишком вперед, то было далеко, то мешала какая-нибудь ветка, которой, конечно, не было, когда он час назад выбирал себе место, оглядываясь и прикидывая, удобно ли стрелять.

То Хмолин, то Елагин наверху бегали куда-то, треща валежником и перекликаясь, потом опять возвращались и стояли, а Ване некуда было бегать, он еще ни разу не попал.

Первые вальдшнепы пролетели, стрельба прекратилась, Ваня ощущал кислый запах пороха вокруг себя, сердце у него колотилось, и он сперва ничего не слышал. Но скоро он заметил, что стало гораздо темнее, земля была почти не видна, и дрозд умолк, но зато далеко где-то в разных местах раздавалось то заунывно и постоянно: «у-у!.. у-у!..», то загадочно и коротко: «трpp... трpp... трpp...»

Опять полетели вальдшнепы, опять первым гулко выстрелил Хмолин, и тут же Ваня увидал, что над оврагом летит что-то темное, с округлыми, как бы перепончатыми крыльями, и стрелять было с руки. Ваня вскинул ружье, повел и ударил, вальдшнеп остановился на месте, будто наткнувшись на что-то, мелко задрожал крыльями и стал падать. И, уже не видя ничего, кроме падающего вальдшнепа, один раз прикинув только место, куда он должен был упасть, Ваня бросился туда напролом, царапая руки и лицо.

Вальдшнеп упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место, шуршал листвой и, как лягушка, упруго подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке, но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, а смотрел вверх, и все — грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи, — все было устремлено ввысь в смертной тоске.

Наверху еще стреляли, потом перестали, закурили, сошлись, потом окликнули Ваню, потом стали кричать, огогокать, а Ваня был в овраге, держал и разглядывал теплого вальдшнепа, и голова вальдшнепа уже моталась и щекотала Ванины руки.

Хмолин убил двух, Елагин ничего не убил, а Ваня не удержался и соврал, что тоже убил двух, но одного никак не мог найти, хотя и искал до темноты. Когда покурили, рассмотрели и уложили вальдшнепов Хмолину в рюкзак и

пошли домой, в егерскую сторожку, Венера еще ниже сошла к горизонту, блестела сильно и колко, а свет зари глухо, мрачно и зелено виднелся сквозь голый лес. По дороге то и дело встречались ручьи, поющие одну и ту же песню воды. Попадались и лужи — еле угадываемые и таинственные, как миражи, среди черноты земли. Но охотники уже не обращали ни на что внимания, а спешили добраться до сторожки, и мысли у всех были одинаковые: о печке, о вальдшнепиной похлебке, о крепком хорошем чае. Они все были счастливы, замучены весной и как-то даже сонны, но знали, что это пройдет, как только они придут домой.

Когда вышли на вырубку, все одновременно увидели, что низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост, шоколадно просвечивал. На вырубке стояла красноватая тьма, дальние деревья и пруты были видны, а ближние как-то пропадали, все постоянно налетали на них, загораживали лица и даже останавливались, вглядываясь, куда пойти, где посвободнее.

Вырубка незаметно и долго поднималась от оврагов, и когда прошли уже половину ее, Ваня заметил впереди как будто корягу, горелый ствол с торчащим кверху толстым суком, совсем как лось.

— На лося похожа! — сказал Ваня, думая про корягу.

— Да это и есть лось! — узнал, вглядевшись, Хмолин. — Вон и еще пара... А! Это сохач, а с ним лосиха с теленком — глядите!

Лоси, застигнутые в этой красноватой мгле среди чего-то своего, звериного, вели себя странно — не убегали, только теленок подошел к лосихе и слился с нею, может быть сосал, а сохатый поднял большие уши и стоял отдельно. Потом сделал несколько шагов навстречу охотникам, еще выше задрал морду и глядел на них поверх лозин.

— А он не кинется? — тихо спросил Ваня.

— Может! — быстро отозвался Хмолин, а Елагин встревоженно кашлянул, и Ваня понял, что и они боятся.

Охотники пошли дальше, забирая влево, далеко обходя лосей, и сохач не шевельнулся больше, только голову поворачивал — до него было каких-нибудь тридцать шагов.

— Эх, вдарить бы! — бормотал Хмолин, нервно посмеиваясь.— Знают свою безопасность...

И стал рассказывать, что в области теперь больше трех тысяч лосей и что был у них случай, когда лось пристал к коровам и кидался на доярок, когда те приходили доить на выпасы.

А Ваню как начало знобить при виде лосей, так уж и не отпускало. Он то думал о них, какие они красновато-коричневые, большие и бесшумные, то опять вспоминал о вальдшнепах, об их странном полете и хорканье и что они точно так же летали когда-то над лесами, миллионы лет назад, и леса те давно упали, погрузились и стали каменным углем, а вальдшнепы и теперь летают. Он шел последним, по сторонам не смотрел, уверенный, что увидит страшное, боялся отстать и крепко держался вспотевшей рукой за шейку ружья, которое незаметно зарядил уже пулями жакан.

Совсем близко от сторожки охотники остановились на берегу ручья, тихо посовещались, где лучше перейти, и пошли налево. У Вани от их тихих голосов мурашки по спине пошли, хоть он и знал с тайным счастьем, что пугаться некого, попытался идти между Хмолиным и Елагиным, но ему не удалось, и он теперь, спотыкаясь, шел вплотную за Хмолиным и часто толкал того грудью в рюкзак.

Они дошли до пологого берега, подтянули сапоги и побрели через ручей. Ваня замешкался, шагнул в воду, вода холодно и плотно обхватила его ноги, он покачнулся и чуть не крикнул: «Погодите!», но застыдился, а потом был рад, что никто не заметил его испуга.

Перейдя ручей, охотники поднялись наверх, пролезли через гибкие набухшие кусты и увидали темный силуэт избушки и невнятно блистающую округлость «Победы» рядом. Войдя в избушку, зажгли свет — маленькую ослепительную лампочку от аккумулятора, — и каждый тотчас занялся своим делом.

Елагин стал ломать о колено хворост и совать в топку грубой печки. Хмолин вынул из рюкзака взъерошенных вальдшнепов и, скинув только ватник, сел на низкий табурет к печке теребить их, а Ваня с замиравшим сердцем спустился к ручью за водой и бегом, расплескивая воду, вернулся назад.

Елагин уже растапливал печь, слабое пока пламя шевелилось где-то в глубине топки. Отлив из ведра в котелок и чайник, Ваня поставил их на плиту, пошел к топчану, разобрал поудобнее набросанные там телогрейки и одеяла, стащил сапоги, лег головой к окну, накрыл лампочку маленьким абажуром и включил транзистор. Приемник стал трещать, музыка и голоса перебивали друг друга, посвистывало и уйкало, и Ваня, покрутив минуты две, выключил его и повалился на спину.

Все долго молчали. Печка разгорелась и начала гудеть, постреливать искрами в раскрытую дверцу. Возле нее ста-

новилось жарко сидеть, Елагин отодвинулся, слегка отодвинулся со своими вальдшнепами и Хмолин. Ваня шевелил босыми ногами и смотрел на закопченный потолок и стены, которые все были изрезаны ножами, — искусно и грубо были вырезаны даты и имена. И Ваня думал о всех людях, которые здесь побывали, и как они тоже топили печь, выпивали и разговаривали.

В избушке пахло душисто и сложно: от ружей тянуло пороховым дымом, пахло еще сапогами, дымом можжевельника от печки, теплой глиной, дегтем от дымохода, шерстью свитеров и одеял.

Елагин, изогнувшись назад, стащил с топчана телогрейку, бросил на пол и присел, потом один об один стянул сапоги, закурил и стал задумчиво следить, как дым, розовея, уходит в печку.

Лица Хмолина не было видно. Он с усилием, с треском вырывал маховые перья из крыльев и посапывал.

— Эге! — сказал вдруг он, разглядывая ощипанную тушку. — Вон куда попало, в шею... И вот еще в боку, под крылом, глядите! А ты, Ванька, молодец, здорово саданул, я видал!

Ваня заулыбался и покраснел: это был его первый вальдшнеп. Елагин шевельнулся и серьезно пригляделся к вальдшнепу. Хмолин поскубывал еще, выдергивая последние перышки. Вальдшнеп мертво, бессильно побалтывал шеей в его руках.

— А они чувствуют свою смерть? — спросил Ваня, глядя на вальдшнепа.

— Всякая тварь сознает, — быстро сказал Хмолин, будто ждал этого вопроса и все у него давно было решено.

А Елагин вдруг взволновался, встал в одних носках, в выпущенной рубахе, налил себе водки в кружку, в другую налил воды и стал ходить от стола к печке и говорить. Волосы свалились ему на лоб, ступал он косолапо, горбился и говорил, говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода, останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил: «Ура!», смотрел на Хмолина и Ваню светлыми длинными глазами, выпивал и опять начинал говорить.

Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти и что *аз есмь земля и пепел, и паки разсмотрих во гробех и видех кости обнажены, и рех: убо кто есть царь, или воин, или богат, или убог, или праведник, или грешник?*

...Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, безславну, не имущу вида!

Был Елагин филолог, доцент и обо всем — о войне ли, о любви, об истории — говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что все он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только Хмолин иногда, не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей и хохотал, как леший, — москвичей он все-таки презирал.

Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил голову, задумался, потом тряхнул волосами, крикнул: «Ура!», еще выпил и, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорил о любви, о женщине, о ее святости, о том, что все-таки высшее на земле есть доброта и любовь, а этим как раз и сильна женщина.

И опять его хорошо, интересно было слушать, опять казалось, что все, что он говорит,— истинная правда, и Ваня с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только Хмолин что-то все хмыкал, потом не выдержал и перебил:

— Мура все это! Это только у вас там в книжках все написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был, — Хмолин оживился и перестал драть вальдшнепа. — Спутался с одной бабенкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабенка, дура необразованная, тонконогая какая-то, уделанная, одним словом, я ее видал... Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и ни полслова там о любви или об женитьбе, ничего! И она сама знала это, и сама его не любила нисколько, какая там любовь! Только встречаются они однажды, она ему — рррраз! — женись! «Пойдем в загс, а то утоплюсь!» А? Он туда-сюда, а она ему: «Утоплюсь и письмо на тебя напишу в райком». А? А он тогда комсомольцем был. Спасибо, я ему сказал: «Держись, ничего с ней не станет, на том заду и сядет». Он и держался, похудел весь, месяц не в себе ходил, я уж думал, копыта откинет, так почернел. Ну, да обошлось, по-моему вышло. Вот тебе и это — как ты сказал? — святая там доброта, саможертвова... жертванье, одним словом, то да се....

Хмолин, довольный, захохотал и опять занялся вальдшнепом. Елагин нахмурился, махнул рукой.

— Грубый ты какой-то, — досадливо сказал он. — Все у тебя какие-то пошлости, черт тебя знает, право!

Хмолин подвинулся к печке и стал палить вальдшнепов, поворачивая их перед огнем и по очереди отдергивая

руки — ему было горячо. Потом он опять приладился на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальдшнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал мыть тушки в ведре, тер так, что скрипело под пальцами, и все приговаривал:

— Ну, похлебка у нас сегодня будет! Молодцы, охотнички!

Через час, когда похлебка почти была уже готова, Хмолин пошел за водой, а вернувшись, брякнув ведром, сказал запыхавшись: «Гляньте, что делается!» — и сам первый вышел. Тотчас вышли за ним Елагин и Ваня.

Снаружи сторожка облита была жидким лунным светом. Рядом с ней поблескивала «Победа», и на капот ей редко, но крупно и постоянно падала капля из сломанного березового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постанывало еле слышно, точно так же, как на тяге, все пахло холодом и чистотой, звуки были редки, рассеянны и слабы, только внизу бормотал ручей, откуда брали воду, — будто тихо разговаривали несколько женщин.

Еще дальше за лесными холмами, в пойме, мощно текла широкая река, и на ней после зимы уж выстроились бакены, стоявшие тоже широко и смело, потому что был разлив и везде теперь было глубоко.

На той стороне реки затаилась молчаливая спящая деревня, но и в ней слышны были звуки дыхания, или редкого неуверенного лая, или сплошного ночного вскрика петуха. За деревней, во тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник или, наоборот, перепахивал кто-то испорченный им же самим днем клин.

— Плачу и рыдаю! — громко сказал Елагин. — Весна! Все живет, все лезет! Не прав, не прав старик. Нет, не прав! Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь — вот как надо! А? Правильно, старики, а?

— Жрать охота, — сказал по привычке грубо Хмолин, но тут же почему-то смущенно закашлял.

— Ну-ну... Пойдем, пойдем, — забормотал Елагин огорченно и тоже смущенно и сгорбившись пошел в дом.

Но в сторожке он опять оживился, крикнул «Ура!», пронзительно глянул из-под волос на Хмолина и заговорил:

— Выпьем! Ах, черт, давайте выпьем! Хмолин, Ваня, а? Я вас люблю, я все люблю! И эту печку! Неси сюда старку, Хмолин, шевелись!

Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы, хлеб, вышел в сенцы и принес бутылку. Елагин во-

зился с рюкзаком. Ваня нервно шевелился у себя на топчане, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестяще на Елагина и Хмолина, как бы спрашивая, что бы и ему такое сделать и чем помочь.

Елагин вынул консервы, стал застегивать рюкзак, но тут же вновь открыл, нагнулся и, посапывая, долго нюхал.

— Как пахнет! — сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно: выглаженным бельем, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче.

— Дорогой пахнет! — сказал Елагин. — Странствиями, встречами... Ну-ну! Давай, Хмолин, наливай! Ване тоже. Ваня, выпьешь? Понемногу, Хмолин, ладно?

Они сели. Елагин налил себе водки и воды в разные кружки, понюхал ту и другую.

— Ну, за весну! Дай Бог, чтобы всегда мир был! Чтобы жили мы все счастливо! За прелестных женщин! Слышишь, Хмолин, у, дурак, дурак! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!

Они выпили, и каждый крякал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось, у всех сразу заблестели глаза, все посмотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились оттого, что так бессовестно счастливы. Ваня через минуту опьянел так, что даже жевать не мог, бессмысленно таращился, трогал себя за нос и лоб, стараясь убедиться, что он за столом, а не летит куда-то.

— Э! — сказал Хмолин радостно. — Гляньте на него! Окосел парень! Вань, а Вань! Сколько нас?

Ваня только глупо прыскал и все трогал себя за лоб, тер глаза, но опьянение скоро прошло, все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное, даже Ваня; каждому казалось, что они втроем сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он все понимает.

Зато ужинали молча, блаженно, хлебали громко и осторожно, боясь обжечься. Все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубахи, выгибаясь, почесываясь тут и там, и труднее всего было чесаться под лопатками.

— Нету дичи лучше вальдшнепа! — все повторял Хмолин. — Я знаю, всех перепробовал!

Поужинав, попили всласть чаю, послушали последние известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь.

Хмолин и Елагин легли на одном топчане — он был пошире, Ваня на другом: с ним никто не хотел спать, уж

очень он брыкался во сне. И опять долго молчали. Не было обычных предсонных разговоров. Раза два Елагин вставал и выходил, потом возвращался и все повторял:

— Плачу и рыдаю!..

Ваня хотел тоже выйти с ним, но подумал, что сейчас там холодно, тихо, пустынно — одна луна! Ему вдруг стало жутко весело, как бывает только в детстве, в деревне, на ночевках, когда ложатся все вместе, начинают тискать друг друга, взвизгивать от восторга, прыскать в подушки. Когда кто-нибудь издает вдруг долгий задумчивый звук, и все, давясь от смеха, начинают колотить кого попало и кричать: «Кто это? Ты, Витька?» — «Не!» — «Петька?» — «Не!..» — когда страшно неизвестно чего: чертей ли, темноты, тишины ли за стеной, и в то же время не страшно ничего, а счастливо и легко. Когда так успокаивающе действует разговор взрослых за стеной, которого и не слышно, а слышно только: «бу-бу-бу-бу». И когда так неистово и беспросветно засыпается посреди шепота приятелей, толкотни, и возни, и сказок — и спится, спится долго, до следующего яркого летнего дня.

Такое точно чувство испытал внезапно Ваня, завозился у себя, дрыгая ногами, укусил подушку, уткнулся в нее, чтобы не загоготать, и засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальдшнепа, что он научился стрелять влет, что был разговор о любви, о смерти и о времени и что все это ерунда, а главное — подбить бы ему и завтра вальдшнепа или утку.

Припадок безмолвного смеха прошел, Ваня затих, отнял лицо от подушки, и опять в нос ему ударил запах табака, сапог и пороха из ружейных стволов.

И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все тихо дышали и думали, думали...

1963



ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР

Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане.

Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки — деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником.

Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоного, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

— А то давай переведемся, а? — предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы.

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе — единственный хороший кофе во всей Ялте, — смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубахах, то на это дерево. Когда нам надоело смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно, людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

Отчего нам было скучно, мы не знали.

И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:

— Слушай, а в доме Чехова ты был?

— Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

— Давай, старик, поедем! — предложил мой друг. — Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце

отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, бренчала и громыхала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу под дорогой стоял дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому.

А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

— Ты чего? — спросил я. — Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы, и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа — Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это — ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка попахивало выпивкой. И были они все красные, распаренные и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

— А она его любила? Зачем он с бородой был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками — вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот узколикий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи — все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно

подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое — для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь — он мне, принимая карточку, или я ему — даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он щурясь оглядывал двор.

— Кувшины видал какие? — кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля. — Это при нем было?

— При нем, — сказал мой друг. Он все знал о Чехове. — Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали.

Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

— А сад какой! — сказал мой друг. — Это он сажал, знаешь? Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...

Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать.

— Ну?

— Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик. Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже опирался плечом. Или нет? Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее и уехали.

— Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг.— Как он жил, как жил, Господи ты Боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка,

кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастная была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино.

— Выпьем вина? — вяло предложил я.

— Иди, пасись! — сказал мой друг. — Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

Потом мы стали ругать коньяк и водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, — хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много

людей и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью — но что делать и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился, — мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей; как разучивали концерты Моцарта и Бетховена, как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны, — и человека уже называют «чуваком», о своей игре говорят: «лабать», еда и выпивка для них «бирлянство» и «кирянство», а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а «жмурик»... Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот, кроме всего, был еще худ, изя-

щен, с бабочкой и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо — аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль, и в тонких бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались.

Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с вылупленными, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъездами, сипло и неистово, как румын, и звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.

А гитарист, с каменным, медалевидным профилем даже берета не снимал, сидел, вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену, поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, завороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины. Иногда он вставал, если заказывали песню, и, сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, на иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в баре-ресторане. Скрипач в этот момент отступал в глубь эстрады, елозил смычком по баскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказал песню, и сладко улыбался.

— А я бы взял в плавание этого — в берете, — сказал вдруг мой приятель и прищурился. — Смотри, какое лицо — с этим можно идти в разведку, а?

— Почему мне грустно, старик, скажи? — спросил я и стряхнул пепел с сигареты. — И зачем мы пошли к Чехову?

За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашеные, с загорелыми руками и шеями и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в

фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное, им было противно, но они держали марку: коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова, — сказал он. — Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все — бодяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик?

За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя, и вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди.

— Вопрос армянскому радио, — говорил первый с акцентом. — Можно ли убить чэловэка газэтой? Атвэчаем: можно! Надо в газэту завэрнуть утюг!

Девочки хохотали, курили и кашляли.

— А вот статистика любви, — среди хохота начинал другой и тут же кричал: — Слушайте! Тихо! Статистика любви: в одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев!

— Брось! Ха-ха-ха! — закатывались девочки.

— Пять тысяч четыреста шестьдесят три женщины рожают! — кричал моряк.

— Сильно, а? — спросил я.

— Ты знаешь, чего я вспомнил, — сказал мой друг. — Мы раз ловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я старпомом плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики неимоверная. А у нас в трюмах течь, дрейфуем, все время авралы, но не уходим, все думаем — вот кончится. Да где там — только разыгрывается. Душу выматывает, туман слоями идет, навалит — носа не видно. Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салага, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно: «Гляньте, товарищ старпом!» Я гляжу, а матрос этот по палубе в кальсонах и в тельнике бегает. Волной его заливает, бьет о лебедку, как только за борт не смыло! «Хватайте его», — кричу. Навалились, схватили, а он орет, вырывается... Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. «Зна-

ете, — говорит, — товарищ старпом, ребята надо мной издеваются».— «Как же так?» — спрашиваю. «А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колют, я с ними не могу, я лучше за борт кинусь! Велите им меня не трогать!» Ну, я на ребят смотрю, кричу: «Вы это что же, тра-та-та, да вы как это смеете, тра-та-та, да я вас, тра-та-та!» А он радуется, язык им показывает. «Вот, — говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина!» А сам ребятам тихонько сказал, чтоб глаз с него не спускали.

Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один траулер, домой шел, связались мы с Мурманском, оттуда приказывают — на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько: «Давай скорей на тот! Тот новый, а у этого полны трюма воды, вот-вот дуба даст, потонет к чертям собачьим!» — «А! — говорит. — Тогда, ребята, давайте, скорей давайте!» — И покатил в Мурманск. А мы остались тресочку ловить...

— А что потом с ним стало, не знаешь?

— Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос.

— Да, — сказал я и закурил. — Давай выпьем!

В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках.

— Тихо! — кричал за соседним столиком моряк. — Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!

— Иди ты! — небрежно отвечали девочки. — А про вас там написано? Ну? Давай!

Моряк что-то прочел про себя, фыркнул и показал приятелю. Они загоготали, переглядываясь.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? — спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел

с караваном малых сейнеров по Великому северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обманув врачей, опять плавает, и что за баба у них буфетчица на траулере. Потом мы еще выпили тут же у меня, потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал: «Пой! А я умру! И все». Подруга его любила петь, только голос у нее был сиплый, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане «Арктика». Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о Севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена. Еще бы не помнить — веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами, снег на Медном всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости и спрашиваешь себя: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» И появления моего друга, уже неистового, с одной мыслью: гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил мореходку и начинал жить.

— А Наташу ты помнишь? — спросил мой друг, опуская глаза. Это была та его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде.

— Ты это брось, — сказал я. — Брось, старик, а то и так тоска!

— А Мишку помнишь, длинного Мишку? Ты тогда, пьяный, сильно его презирал?

— Ну, помню, — сказал я. — Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего!

— Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем.

— А!— сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то все лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что как-то даже и не воображалось ничего, нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве, и в Африке, и в Австра-

лии, и в Польше... А вспоминались мне почему-то дикие фактории — все, какие я видел на Севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподних, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сиплые низкие ревы пароходных гудков в тумане и безымянные по всему Северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно, и холодно, и тоскливо одновременно.

— Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика. — Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы!

И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой.

— Будьте счастливы, попутного ветра! — отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки.

Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас, и нам уже нехорошо, что их только две, а не четыре, а то пересесть бы к ним и так же, как их ребята, травить какую-нибудь бодягу.

— Ты мне вот что скажи, — спросил меня друг. — Тебя женщины любят?

— Нет, — сказал я. — Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

— А у меня все некрасивые, — сказал друг. — Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это.

— Фиг с ней, — сказал я. — Красивая из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте.

— А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?

— Ничего, ничего, — сказал я. — Спокойно, старик! У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего.

— А какие бабы есть несчастные! — сказал мой друг и пригорюнился, подперся. — Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки. Они ведь нежные. У них животы очень нежные, знаешь?

— Брось! — сказал я. — Дай-ка лучше сигарету, посидим, покурим, музычку послушаем. Мы же с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салага ты скуластая!

В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я знаю — ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

— Маэстро! — говорю я ему. — Вы здорово играете!

Скрипач тотчас подходит к нам.

— Разрешите? — спрашивает он как-то не по-русски и садится. Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливое, покорное. — О да! — говорит он и кивает на эстраду. — Настоящие музыканты! Разрешите? — смотрит на коньяк.

Друг мой скалится и наливает ему.

— Попутного ветра! — говорит он так же, как и морякам.

Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют.

— Спасибо! — говорит он.— Что бы вы хотели послушать?

— Вы не русский? — спрашивает мой друг.

— Да, я итальянец, мы все итальянцы... — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей моряков. Те радостно прислушиваются.

— Аллегро пиццикато! — говорит один из них. — Калор... рагацца модерато!

Девочки хохочут, скрипач тоже.

— Как же вы к нам попали? — спрашивает мой друг скрипача.

— О-ля-ля! — машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь, оглядывая весь зал, кивая кому-то. — Длинная история, еще в войну. Разрешите? — он сам наливает себе и пьет, не закусывая.

— Извиняюсь, — моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь, с бокалом своей бурды. — Выпей, папаша! — он хлопает скрипача по жирной спине. — Виваче, адажио, а? Ха-ха!.. Давай — за здоровье моряков, ну?

— Спасибо! — говорит скрипач радостно и выпивает. Моряк, довольный, отходит.

— Вы позволите, я угощу нашего пьяниста? — спрашивает скрипач.

— А гитарист? — Друг мой берется за бутылку.

— О, гитарист не пьет. Спасибо! — Скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему.

Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету. — Так что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку.

Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, которую я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак. Все сидели в одежде, курили, артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышел аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразный стрекот: «ч-ч-ч-ч-ч-ч», и звучала, звучала, звала куда-то, навевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечеточника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только река была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встрепенулось и заныло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

— А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-ра-а-там-там... А?

— О! — скрипач улыбнулся. — Конечно! Хорошо.

— Только подольше поиграйте, ладно? — попросил я.

— Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько, а мы все ждали, ждали, и друг мой хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо — и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть.

Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об опостылевшем море, куда нас опять почему-то тянет — стоит пожить на берегу недели две...

Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на Север — там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно. И, думая обо всем этом, я поежился от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

— Ты что? — спросил у меня друг.

— Слушай, ты, морской волкодав, — сказал я ему, — я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском, хочешь?

— Валяй! — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. И я рассказал ему о своей тогдашней жизни, как странно мне было напевать там вот эту песенку, — и рассказывать мне было приятно.

Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу, мы посмотрели им вслед.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось домой. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, — что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина.

Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах — дьявольски смелое и большое.

— Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

— Работать, наверно, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?

— Чего осталось?

— Быть в Ялте.

— Долго еще. Недели две.

— Так... Пошли спать, а завтра поедем в этот... как его?

— Куда?

— Как его?.. А! Да черт с ним, куда-нибудь!

1964



ОТХОД

...И вытянул мой гениальный друг свою гениальную, длинную руку, и бережно, нежно, за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского, и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми гениальными глазами из-под челки, стал говорить, стал прибормативать, ворковать:

— Ну... ну... Ребята, ребята... Напоследок, а? А? А? Шампанского, а? Володя... Але... Алеша, а? Хорошо тебе, Юра, а?

И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлышка, и поплыла, прореяла над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились...

«Скоро отход, отход, отход!» — застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок, среди этого теплого, низкого, морского ресторанного шума, в который пенье рюмок, их чистые голоса вплетались, как корабельные склянки, как флейта-пикколо в тремолирующий оркестр.

«Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» — звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу, у входа, с бесценными официантками, которые тебя уже знают, узнают в частые твои приезды за все эти годы, улыбаются, спрашивают: «Надолго к нам? А-а...», и оркестр игра-играет, и трубачи трубя-трубят, белая ночь за окном, и наша шхуна, наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды, — эта шхуна где-то стоит, неизвестно где — на фактории, у Холодильника ли, на рейде ли... Но я спокоен, — она не уйдет без нас, — потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив — Илья Николаевич, стармех, потом Алеша,

старший помощник, чиф, все начальство с нами, и Володя-моторист, рыжий, розовый лицом, и женщины веселые сидят, глядят на нас как на героев, как на полярных волков, и вездесущий Глеб Глебыч Бострем с нами, а его-то знает пол-Архангельска, а уж он-то знает весь Архангельск! И какие-то моряки, пилоты, штурманы и Бог знает кто еще — все подходят поздороваться с ним, потом узнают наших моряков-зверобоев, и — сразу восторг: «Ого! У-у! О-о! А я гляжу — кто это? Здоров! Давно пришел? Когда уходишь?»

Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность моря, и я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут, в этом ресторане — как птицы, мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба, вот мы сейчас встанем и тоже уйдем, уйдем...

И звучат в нас и вне нас гул, бормотания, дружба, любовь, и музыка ликует, уравновешивает своей стройностью хаос — «Хотят ли русские войны?» — «Нет, нет, русские хотят танцевать перед тем, как уйти в море!» — и все танцуют, одни мы сидим, последние минуты досиживаем, последние минуты здесь, на берегу, а там — два месяца, целый июль и целый август, все будет океан, льды, тундра, белуха, ее кровь и немой вопль, а еще работа, работа, нет, мы не танцуем, сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брезжущую из-за наших спин, из-за большого окна, мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то.

— Шампанского, а? Ребята, а? Шампанского, Юра? Давайте, давайте, давайте... Ночи в Архангельске — сплошное «быть может»! А, Юра? То ли в Архангельске, то ли в Марселе... (Женя, Женя!) бродят... новехонькие штурмана... А?

— Ну, знаю я, знаю, тут Тыко Вылка жил, приезжал, жил тут, вот в этой гостинице... Знаю, ненец Вылка, художник! Президент Новой Земли!

— А ты как думал? Тут все жили!

— Еще по одной, а?

— Все тут жили — и Отто Юльевич... Ни одна, понимаешь ты, полярная экспедиция не миновала!

— Ты, Юра, едри ее мать, ко мне домой приезжай. В гости. Прямо ко мне, понял? Специально на охоту. У меня лодка-моторка, мы с тобой, Юра...

А я вдруг как-то отдалился, вспомнил о другом поэте, не о том, который вот тут, рядом со мной, — о другом.

Мысленно отыскал я его во Вселенной, не знаю где — в Сигулде, в Париже ли, но он послушно явился, и я увидел, с какой завистью смотрит он на меня.

Ау, говорю я ему, в дорогу! Давай поедем с тобой на охоту. Дай руку, пойдем в лес — ну, скажем, в ноябрьский лес, который сегодня утром отволгл после мороза, и все деревья, все ветки, вся трава, каждая усинка, былинка — стали седыми, и светит прохладное солнце, все сверкает, режет глаза белизной, вокруг нас вьются женственные гончие суки, пар клубочками пыхает у них из пасти, и егерь подпоясывается. Подпоясывается егерь, весело глядит на нас, мы — на него, и вот уж мы пошли, зашагали, ружья за плечами, впереди лес с мокрозеленым мхом, с бурой травой понизу, с серебром поверху, по ветвям, собаки наши одна за другой скрываются в кустах... Мы говорим о погоде, о том, что мало в этом году зайцев (их всегда мало в этом году!), о том, какие у егеря дети, как учатся и чем болеют. Разговоры, табачный дымок, наш стук сердца, волнение, а по сторонам зеленя, опушки, понижения и повышения мохнатеньких издали лесов, холмы, и дали проглядываются резко, собаки пока не брешут, и мы идем, ступаем по замерзшим лужам, лед хрупает, жижа на дороге прыскает на иней, и следы за нами остаются грязные на белой дороге, егерь говорит все «чаво» да «каво» и обязательно важный, веселый, умный (они все такие), за спиной у него рог — один золотится на всем серебряном.

И вот собаки подняли, взлаяли вперемежку, в три голоса, погнали, завопили, застонали, ах-ах, мы побежали кто куда занимать лазы, слушать, перебегать. Собаки заглохли вдали, опять появились на слух, скололись, замолчали, опять дружно взлаяли — куда гонят? — налево, налево, — и мы налево, бежим, ломимся сквозь кусты, ах-ах, гон все ближе, слышен уже не только лай, слышны всхрипы, взвизги, а по просеке, по поляне, по тропе мягко перекатывается упругими толчками заяц — ох! — выстрел, — ох! — еще! — заяц спотыкается, летит кувырком, растягивается, как резиновый... С ума, что ли, сошли собаки? Куда они гонят? Куда они опять пошли нести свои голоса, свой брех, свои пятна на боках, брылья, пра́вила, почему они уходят? — егерь, егерь! — скорей, где твоя валторна, давай труби!

И затрубил егерь. «У-у-у-у-у-у-у!» — проносится заунывно над лесом. «Пфо-о-о-о-о-о-о!» Собак опять не слыхать, но они нас слышат, молчком бегут к нам, возвраща-

ются, выбегают одна за другой на открытое, языки на сторону, пар уже не клубочками — пышет из красных пастей, а мы давно уж держим тяжелого зайца, и голова у него уж поматывается, уши обвисли, но все равно еще не сошлись вместе, смотрят на стороны.

Ну, давай же поедем скорей, давай проживем такой день!

— ... Женя! Женя, приезжай ко мне, у меня дом, хозяйство, все такое... Женя, приезжай, Женя!

— Женя, потом стихи дай списать, а?

— Вот Копытов выступает на совещании, говорит: «Есть, говорит, тюлень!» А наука, говорит, не имеет тесного контакта со зверобоями. Это, говорит, на пять лет закрыть промысел, что тогда зверобои скажут? План есть план, а заработок есть заработок. И слухи об исчезновении тюленя это, товарищи, непроверенные слухи.

— Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году. Вот Юра спас... На Север увез, давайте, давайте... Саша! Илья Николаевич! Давайте... Алеша! За Север!

— А второй-то кто?

— Надя! Наденька, я вас люблю, я нежно так вас люблю! Скажите мне что-нибудь, а? На прощанье. Подари-и-и на прощанье мне биле-е-ет!

— Восемьдесят восемь!

— А?

— На! Ты слушай. Выступает тут Яковенко из ПИНРО, и пошел! Как это, говорит, есть тюлень? Наука, говорит, вещь точная, и у науки есть данные... Чуть не всего, говорит, перебили лысуна! Товарищ, говорит, Копытов о плане заботится, это хорошо, но это экономи-ческая близорукость, а? Нам, товарищи, теперь, к сожалению, не о плане думать нужно, а о наших детях, о наших потомках! А потомки эти нам, товарищ Копытов, спасибо не ска-ажут, нет, не скажут.

— Саша! Саша!

— ... Потому что, говорит, если мы не можем контролировать залежки лысуна у Ньюфаундленда или Ян-Майена, то тут у себя, на Белом море, контроль мы осуществить вполне можем и должны...

— Саша! Александр Константиныч! Капитан!

— А?

— Что такое «восемьдесят восемь»?

— А-а... (улыбаясь и подмигивая). Это значит: «Я люблю тебя, мальчик!» Так вот, ученые, говорит, решитель-

но настаивают на полном запрете забоя лысуна сроком на пять лет! Видал!

Я повернулся и взглянул в окно. Над гостиничным серым двором, над ящиками и бочками, сваленными в углу, на уровне верхних окон, плоско вспыхивающих от заката, висел в воздухе мой поэт; увидев, что я смотрю на него, он приблизился, влетел в окно и сел за стол между рыжим Володей и Ильей Николаевичем. Они ничего не заметили.

А то поедем, сказал я ему, поедем куда-нибудь на Север, подальше, на Канин Нос... (Поэт прикрыл свой пересохший рот, потрогал заграничный галстук, поправил манжеты; нос его покраснел и распух, а лицо побледнело от волнения; он закивал головой.) Ах, да! — вспомнил я, — Останкинские пруды, запах лип, цветущих кронами вниз, дожди над асфальтом, пролившиеся в небо... А еще рыхлая пористая бумага, на которой то жирно, то слабо чернеют свежие гранки; подъезды клубов, поэтические вечера, аплодисменты, автографы, влюбленные девочки. Но и это не вещь — вот Париж, Нью-Йорк, София, Лондон, снимки в журналах и газетах, джинфиз и стриптиз, интервью, заграничные шумы, летящие во тьме низкие авто, аэропорты-автопортреты... А?

Но не в этом наш исток, гул крови не в этом, а вот поедем-ка на Канин Нос и проснемся однажды среди бледной природы, под бледной ночью, на берегу реки, недалеко от моря, в старой избе среди всхрапывающих рыбаков.

Натянем мы сапоги и брезентовые штаны, напялим шапки-ушанки. Мы выйдем на рассвете и увидим, что по реке ползет туман, а вода коричнево проглядывает сквозь молочные завитки. Тундра с приплюснутыми островками вереска уныло пахнет нам в душу. На берегу будет тянуть дымком от вчерашнего, еще тлеющего костра, сладким торфом и далеким сероводородом с моря, от гниющих там водорослей.

Несколько раз хлопнет, стукнет дверь избушки, рыбаки соберутся на берегу, все сразу зазевают, зачешутся. Потом закурят один за другим, закашляются. Потом, скрипя по сырому песку, пойдут вниз, к черной моторной лодке, спихнут ее с хрустом в воду, и сами туда же влезут, и уже из воды начнут вваливаться через борта внутрь, рассаживаться и устраиваться. Кто-нибудь зачерпнет сапогом, кто-нибудь ударится коленкой о скамейку, тихо выматерится, а остальные посмеются, заговорят. Голоса далеко

будут разноситься по воде. Моторист начнет заводить мотор, лодка станет вздрагивать от его рывков, покачиваться... Мотор застучит, берега и туман двинутся мимо нас, и сначала медленно, а потом все шибче побежим мы к морю.

Первые чайки встретят нас, закружатся над нами, заверещат. С кряком подымутся в тумане утки, черной ниткой потянутся вдоль берега. Нерпа покажется черным мячиком на шелковистой воде. Придет и качнет нас первая океанская волна, мы оглянемся: берег будет уж далеко, избушки, где мы провели ночь, мы уж не увидим. А моторка все будет тарахтеть, вода под носом — шипеть, рыбаки разговорятся окончательно, начнут орать, наклоняясь друг к другу, дикий полярный рассвет окончится, и настанет наш радостный день...

— ...Наденька!

— Что?

— Восемьдесят восемь!

— Ха-ха-ха...

— Ну, еще по одной!

— А на шхуну не опоздаем?

— Ты, едри ее мать, с начальством сидишь. Будь спокоен, без нас не уйдет.

— А где она стоит-то?

— Да была на рейде, теперь к Холодильнику небось подошла.

— Время-то сколько?

— Юра, Юра, у тебя какое ружье?

— «Зимсон», а что?

— А у меня «тулка» штучная, бьет лучше всяких «зимсонов»!

— Ладно, попробуем...

— А вот мы с Юрой скоро в Америку поедем, поедем, Юра?

— Вот Копытов мне по радио говорит с ледокола, к тебе, говорит, на шхуну писателя с вертолета ссадят. А я думаю, вот, думаю, черти принесли этого писателя! Нет, говорю, товарищ Копытов, пускай его высаживают на «Нерпу», там ребята передовые. А ты, говорит, Копытов, тоже передовой, принимай гостя. Да у меня, говорю, вал погнут и все такое, а сам думаю: «Без писателя-то, думаю, оно веселее, на черта он нам сдался!»

— А помнишь, как нас потом буксировали?

— А в Мурманске-то помнишь, как прощались?

— Ты, Женя, на Новой Земле бывал ли? Вот, погоди, зайдем, гольца там будем ловить. Гольца ел когда-нибудь? Сла-ад-кий... В губу Саханова зайдем, гусей там полно!

— Бывает, другой раз такое стадо белухи зайдет! Голов на сотню, вот когда работа!

— Ну, ребята, еще по одной и пойдем! Пора!

— Да-да, пора, поехали!

— Х-хе!.. Кха! — хорроша!

— Ф-ффу! А ничего — прошла...

— Девушка! Сколько с нас, посчитайте!

Мы вышли в ночь, в пустынный город. Прощай, дядя Вася, прощай, гостиница! Женя, почему тебя, морского волка, зверобоя — в газету не снимают, как идешь ты по ночному городу с ружьем? Почему репортеры не подхватывают на лету твоих прощальных слов? Прощай, Игорь Введенский, молчаливый наш друг, привет, привет! Восемьдесят восемь!

Но почему нет женщин на причале? Почему не пришли жены моряков? Почему не машут нам платками, не вытирают набежавших слез, почему пустынно на пирсе Холодильника?

— Время позднее, спят наши жены. Второй час, вон уж сколько. Теперь наши жены — ружья заряжены. Простились уже, простились все, кому есть с кем прощаться. Теперь дело. Теперь не до слез. А «восемьдесят восемь» — это: «я вас понял», по международному коду... Ха-ха-ха!.. А вы поверили, думали, про любовь? Нет! Теперь дело. Давай, давай, поднимайтесь, ребята, на борт, вот так, вот и все хорошо. Эй, кто там? — сейчас отходим, эй, Марковский! Плылов! Мартынов!

— Есть!

Две недели провел я на этой палубе зимой, и трюм тогда был забит просоленными тюленьими шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой — тюленьи красные туши для зверофермы. Планшир обледенел, на снастях сосульки, посвист ветра, поземка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводья возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок...

Теперь палуба была чисто умыта, но все равно таила в себе запах ворвани, слабый и нежный от прошедшего с зимы времени, когда она была залита, заляпана тюленьим жиром и кровью, и трюм сейчас был пуст и

гулок, как колодец, с наваленной по углам солью, но тоже пахло зверино, дико — пахло промыслами, отдалением, зимними льдами, кровью и кислым пороховым дымком.

Такая крошечная эта шхуна, если поглядеть со стороны, — с белыми бортами, с коричневой рубкой, с двумя мачтами, с бочкой наверху. Но ее палуба, пространство ее от кормы до носа, двадцать четыре человека ее команды, машина, рубка, ходовой мостик, зачехленные катера по бортам, каюты и кубрики — вот наш мир на целый месяц, центр мироздания для нас.

Двигатель уже работает, мягко гудит в глубине, уже Илья Николаевич пошел туда, вниз, поглядеть, как там вахта, а капитан полез в рубку. Поднялся и я в рубку, поздоровался с вахтенными, высунулся с одной, потом с другой стороны — все в рубке было как прежде, все на месте: слева от штурвала компас, позади эхолот, кренометр, выключатели, справа, в ящике, бинокли, потом переговорная труба в машину, телефон...

На шхуне завелся щенок, успел нажраться щелоку, вляпался в него всеми лапами, и теперь лежит, болеет, и все думают, страдают: выживет ли?

Внизу под кают-компанией, в кладовке боцмана, я знаю, висят винтовки, стоят ящики с патронами, под полубаком навалены капроновые сети с поплавками из пенопласта, и продовольствие есть, и горючего полны баки, все готово.

— А погодка хороша! — веселится возвратившийся из машины Илья Николаевич. — Славно пойдем! Нам бы только до Колгуева проскочить, чтоб не тряхнуло, а там — там уж льды пойдут, там, едри ее мать, вода спокойная...

Ну, да, конечно, Колгуев, льды, Новая Земля — радуемся мы. А те, кто пришел проводить нас, стоят маленькой группкой внизу, осиротело глядят на нас с пирса, и мы на них поглядываем сверху, но уже отрешенно, рассеянно, помятываем иногда ручкой, улыбаемся, как бы говоря: «Привет! Привет! У нас тут льды, Новая Земля, белухи сопят и ныряют. Привет!»

И пока мы устраивались в каютах капитана и стармеха, решая, кому где жить, пока лазили то в машину, наполненную жаром, гулом дизеля, маслянистым светом ламп, маслянистыми бликами на металле, пока я здоровался, узнавал кого-то и меня узнавали, пока мы щупали тяжелые винтовки и рассматривали желтые ящики с патронами, пока

заглядывали в рубку к штурману и радисту, и в камбуз на корме, и в полубак, где свалены были и крепко, разнообразно пахли сети, поплавки, буи, багры, доски, полушубки, телогрейки, рукавицы, краска и где шипел пар в душевой, пока поглядывали на алое ночное небо, на полированную ширь Двины, на выпуклую огромность рейда с застывшими кораблями, с движущимися катерами и мотодорами, оставлявшими за собой высокий треск моторов и черный на золотом след длинной волны, — «Моряна» наша тронулась потихоньку, отделилась от пирса и пошла, родная, забирая влево от берега, выходя на стрежень, на фарватер.

Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развивала ход до полного и как плавно поворачивала, следуя фарватеру! Правый берег удалился от нас, стали видны все дома спящего Архангельска, его набережная, яхт-клуб, Кузнечиха, Соломбала...

Капитан, нахохлившись, в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, торчал наверху, на ходовом мостике, похаживал и поглядывал вперед то с одного, то с другого борта и время от времени покрикивал в рубку: «Лево руля! Еще левей! Одерживай!»

И затрубили нам пароходы, там и сям, как скалы возвышавшиеся на рейде, загудели низко, печально, каждый раз троекратно прощаясь с нами. И мы отвечали слабой своей сиреной — будто свирель отвечала рогу. Много там стояло теплоходов, лесовозов, танкеров по всем причалам — наших, финских, норвежских, греческих, немецких, стрекотали бревнотаски, поворачивали свои клювы портовые краны, сипел пар, кололи глаз острые бортовые огни, и глазели на нас из громадных домов-рубок вахтенные, и все знали, что шхуна наша уходит во льды...

Ах, как просыпался по ночам я в этом Архангельске, услышав сквозь сон долгий гудок, похожий на стон, как подходил я к окну, стараясь что-то разглядеть в узких разрывах крыш, хотя бы блеск воды, потом переводил взгляд выше, на алеющее небо, и ничего уже не видя, с погасшей сигаретой, видел все-таки «воды многие» и полярные страны, и Гренландию, и Землю Франца-Иосифа в осиянных льдах...

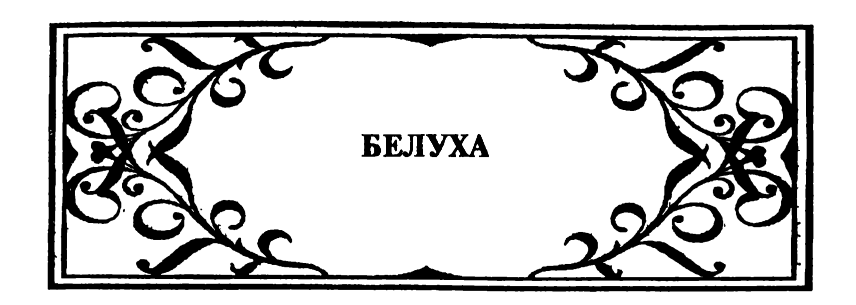
Я все не спал, когда взошло солнце, малиново стало светить в иллюминатор. Я лег на короткий диванчик, поджал ноги. Двигатель гудел, винт взбивал за кормой воду. Спал я, как мне показалось, совсем немного и

проснулся мгновенно, сразу открыл глаза. Все так же светило в иллюминатор солнце, только свет его был желтей, ярче, все так же взбивал за кормой воду винт. Не качало. Мне подумалось, что мы еще идем устьем Двины. Но заглянул в каюту стармех Илья Николаевич, сказал весело:

— Проснулся, Юра? А мы уж мимо Зимнегорского маяка идем. Скоро Нижняя Золотица будет. Помнишь, как ты там зимой на зверобойке был? А товарищ твой уж давно встал, все пишет, едри его мать, чего-то...

Так-то вот и началась наша морская жизнь.

1967



БЕЛУХА

Белуха в море зверобою
Кричала, путаясь в сетях,
Фонтаном крови, всей собою:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»

Ну, а его волна рябая
Швырнула с лодки, и бедняк
Шептал, бесследно погибая:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»

Евг. Евтушенко

И жарко, и холодно одновременно. Даже под опущенные ресницы, отраженное бирюзовой водой и льдами, умытыми ею, пробивается и слепит глаза солнце. Невысокая издали, зеленая полоса тундрового берега кажется близкой, но мы едем, едем, а берег будто бы даже удаляется от нас. Посмотришь на синеватые холмы, отведешь взгляд, проводишь глазами какую-нибудь льдину, потом опять взглянешь — еще дальше!

Вода спокойна, но все вокруг точно зыбится, видения, миражи окружают нас — то вдруг погрузишься будто бы в водоворот, и странно, что нас не заливает водой, стеной вздыбившейся вокруг; то вознесешься, и кажется тогда, что видишь не только горизонт, но и то, что за горизонтом — блестят озера, лениво извиваются реки... Оглянешься назад — шхуна висит в воздухе, прищуришься, всмотришься, нет, не висит, а стоит на некоем прозрачном воздушном столбе. Вот слева на льдине люди что-то делают, над чем-то копошатся, сходятся и расходятся, и одна только в них странность: все они будто в белых балахонах. А справа медведь на краю льдины пьет воду из лужи, и брюхо у него желто-косматое, и черные с алым оборки губ, и глаза черные... Гляжу на своих товарищей — нет, никто не шевелится, никто не хватается за винтовку, сидят неподвижно, оцепенело, сонно поводят глазами, а человека три уж

и спят, свернулись на дне катера, надвинув шапки на глаза... Устали!

И вот откуда-то приходит, как слабый ток, и охватывает меня тревожное предвкушение чего-то необыкновенного. Все сделано: пройдены сотни километров во льдах, сети поставлены, загон готов, моторы катеров отрегулированы. Шхуна спит, овеваемая теплым воздухом из тундры, и дежурит на мачте вахтенный матрос. Он ждет появления белух. А пути ее загадочны! Никто из зверобоев не знает, где она, в каких таинственных водах появляется, почему так упорно и постоянно идет Ледовитым океаном на восток и куда потом уходит.

Мы едем на берег ловить омуля. На буксире у нас шлюпка, слегка накренившаяся на один борт, невесомо вспарывает прохладную даже на вид воду, откидывая на стороны белоснежные хлопья пены. В шлюпке сложен большой невод и черно круглится своим дном котел.

— Эх, Юра! — хлопает меня по плечу стармех. — А и похлебаем же мы сегодня ушицы, едри ее мать!

Воздух, как и вода, неподвижен. Жарко так, что вдруг ощущаешь всю неуместность зимней шапки, телогрейки, ватных штанов в июле. Но вот невдалеке появляется черная полоска ряби на воде, полоска эта ширится, приближается, захватывает нас, и тогда от набежавшего ветерка дохнет вдруг такой ледяной стужей, что сразу хочется спрятаться куда-нибудь, надвинуть поглубже шапку, запахнуться...

Я съезжаю на дно катера, прислоняюсь спиной к скамейке и поднимаю глаза. Во всем видимом небе неподвижно стоят три облака. Озаренные отраженным ото льдов светом, они нежны и лучезарны.

Заглядевшись на облака, я вспомнил все последние дни, проведенные на шхуне, и свое ощущение покоя, сознание важности того, что происходило вокруг. Я почти не спал, дни и ночи проводя на палубе. Да и мало кто спал — все-таки раз в году выходили эта шхуна и ее команда на промысел белухи; повезет ли, не затрет ли льдами, не потопит ли штормом на обратном, уже осеннем пути?

Как весело все эти дни было на полубаке, как были все оживлены, кто в свитере, кто в рубахе, а кто и голый по пояс. Чинили и связывали вытащенные из кладовки и из трюмов сети, привязывали к ним поплавки из пенопласта, копались в моторах катеров, шпаклевали и красили днища шлюпок, гарпунеры пристреливали свои винтовки, и сухое эхо дробилось и отскакивало от многочисленных льдин.

Кругом до самого горизонта был лед. Иногда стукнет глухо, проскребет под скулой шхуны льдина, потом вывернется с шипением. Или ее затянет под киль, и там она дрожит в водяных токах, выбивается в сторону, ползет по круглому дну шхуны, вдруг со вздохом и шуршанием выскакивает у борта, растет, поднимается торчком чуть не до мостика и с шумом валится плашмя.

Везде было полно нырковых уток. Хлопая крыльями по воде, они что есть силы удирали от шхуны, ныряли, но вода была так прозрачна, что с полубака видно было, как они плывут под водой, растягиваясь и сплющиваясь. Чуть не над палубой вились кайры; там и сям плавали в разводьях нерпы, неся над самой водой свои черные издали, изящные головки; чайки лениво подлетали к нам, держались некоторое время за кормой, будто на невидимых нитях, потом отваливали...

Показалась на горизонте ватная полоска тумана и стала медленно придвигаться к нам. Туман сначала был жидок, потом сгустился так, что в пятидесяти метрах ничего не стало видно. Вахтенный штурман забрался на ходовой мостик и оттуда покрикивал штурвальному: «Лево, лево!.. Одерживай! Так держать!» — обходили льдины. Над нами по-прежнему сияло солнце, но его не было видно, и только вырывалась из-под планшира, подковой взмывала вверх и упиралась в полубак радуга. Она была двойная, иногда тройная, до нее рукой можно было дотронуться, шхуна все время меняла курс из-за льдов, и радуга перекатывалась с левого борта на правый или висела впереди, и осиянная шхуна наша шла все вперед — белая, чистая, еще не запятнанная кровью, еще невинная, вся в радугах, в тумане...

Последний раз мы определялись по радиомаякам милях в тридцати от берега. Часа через полтора снова стали определяться, но маяки почти не были слышны, и некоторое время мы шли наугад. Потом опять пробовали определиться, и снова ничего не вышло. Включили радиолокатор, зеленый луч кругами заходил по экрану, по подсчетам до земли было миль десять, но экран был пуст. Эхолот аккуратно отщелкивал двести метров, но в этом районе глубины возле берегов уменьшались так внезапно, что можно было наскочить на камни. Сбавили ход до малого, на полубак послали матроса. Было десять часов вечера. Наверху пришли облака, и заметно потемнело.

Вдруг эхолот стал показывать пятнадцать и тут же десять метров. Капитан мгновенно дал задний ход, шхуна задрожала и остановилась.

— Боцман! — закричал капитан, высовываясь из рубки. — Боцман, отдать якорь!!!

Загремела якорная цепь, гремела чуть не минуту, потом застопорилась. Дна не было.

— Боцман! — опять закричал капитан. — Где лот? Промерь глубину лотом!

Лот вымотал всю катушку, сорок пять метров, и не достал дна. Мы стояли в совершенной тишине, в тумане, и только, если долго вглядываться, справа, высоко в небе, загораживая солнце, видна была сиреневая гряда облаков.

Стали проверять эхолот. Йодистая его лента, которая должна была быть постоянно влажной, была на этот раз сухой. Увлажнили ленту, и эхолот опять стал аккуратно отщелкивать двести метров.

— А, черт! — сказал капитан, вытирая взмокший лоб. — Техника! Боцма-ан! Выбрать якорь!

Опять пошли малым ходом, опять включили локатор, и вот на самом краю экрана зеленый луч стал отбивать неровную линию — впереди была земля.

Как называлась эта река, к устью которой мы плыли? Я так и не узнал... В какие времена и какой человек увидел эту реку впервые, поглядел на нее и дал ей имя?

Я почему-то представлял себе эту реку порожистой, шумной, с коричневатой водой, закручивающейся мелкими и крупными воронками и влекущей за собой завитки тумана в холодные дни. Подолгу, бывало, сидел я над такими реками на Кольском полуострове, слушал их разнообразный шум, следил глазами за струями, такими же переменчивыми и неуловимыми, как и пламя костра. Редкостная рыба живет в таких реках, вздрогнешь от веселого испуга, когда вдруг у берега, под ногами у тебя, выпрыгнет из воды какая-нибудь кумжа или семга. Прекрасны огромные, выглаженные снегами и водой камни по берегам этих тундровых рек. Покрытые нежнейшим мхом с северной стороны, как они глянцевиты и теплы в погожие летние дни, какое наслаждение вытянуться на таком камне, сбросив пропотевший по спине рюкзак после долгого перехода!

В катере началось оживление. Перекрикивая шум мотора, заговорили о том, что где-то тут есть промысловая избушка и промысловик живет с красивой женой, один живет вот уже пятнадцать лет... Мотор сбавил обороты, я приподнялся, глянул поверх борта — мы входили в устье медленной, темной реки.

Дики, пустынны реки на Белом море, но даже на самых глухих речках, куда и мотодора не решится зайти, видны все-таки следы человека: то бросятся в глаза два-три стога, или карбас с выкинутой на берег кошкой, или вешки, которыми кто-то отметил фарватер, след костра, большой старый крест, а то и пустая, завалившаяся избушка.

Здесь же не было на чем задержаться глазу. Пустынная плоская река влачилась среди пустынных холмов, и если бы не стук нашего мотора...

Осторожно войдя в устье, мы ткнулись в прибрежный песок, подтянули шлюпку с неводом, выскочили на берег, и так тихо и твердо нам всем показалось, что мы торопливо закурили, оглянулись: невдалеке блестело озеро, за ним, поправее — другое, над озерами в разных направлениях тянулись темные цепочки и даже как бы небольшие темные же облачка — летали над тихими водами утки.

— Нет, ты гляди, Юра! — забормотал Илья Николаевич и хищно потянулся за своим ружьем. — Нет, ты видал, а?

— Погодите, охотники! — перебил его капитан. — Ну вот хоть вы — Марковский, Шилков — котел тащите к избе, хозяину скажите, что скоро с рыбой придем, уху варить, да хозяйке скажите, чтоб нарядилась, скажите, поэты московские, знаменитые ее опишут, лирические поэты, скажите, что о любви пишут!

Капитан захохотал, подмигивая нам, толкая нас под бока, а я только теперь заметил щепки на берегу, дальше в тундре что-то темнело, какой-то непонятный предмет, а еще дальше среди желтой песчаной проплешины сизела промысловая изба. Я огляделся внимательнее, ожидая увидеть еще какие-нибудь следы человеческой жизни, но больше кругом уж ничего не было.

Матросы, забредя в воду, вытащили из шлюпки котел и поволокли его весело к избе, другие принялись распутывать невод, складывая его по порядку на корме, капитан азартно на них покрикивал, торопил, Илья Николаевич радостно спрашивал:

— Ты, Женя, омуля-то едал когда? С семгой, ясно, не сравнишь, но в ухе ничего, вот увидишь...

— Он и вяленый с пивом неплохо идет, — отозвался капитан и тут же закричал: — Мотню-то кто так кладет? — и полез в воду сам.

Редкие льды плавали в заливе, на горизонте надо льдами висела наша шхуна, мне захотелось вдруг отойти подальше, побыть одному. Я взял ружье и пошел было к озеру, но, едва пройдя сотню шагов, вернулся: комары, кото-

рых на берегу разгоняло ледяным ветерком, в жаркой тундре меня одолели.

Невод наконец распутали, уложили, шлюпка пошла от берега, один матрос сильно греб, другой торопливо выметывал с кормы в воду стенку. Дошли до середины реки, плюхнули за борт мотню, поворотили и, выметав вторую стенку, замкнув большое полукружье, причалили к берегу. Разбившись на две группы, мы с уханьем начали тащить невод. Как всегда, много было крику, беготни, а когда на мелком показалась мотня и к ней бросились сразу несколько человек, подхватили ее, вздымая брызги выше головы, поволокли на берег и тут бросили — разочарование как-то даже оглушило нас. Несколько небольших камбалок влажно трепетали в водорослях, набившихся в мотню. Камбалок пренебрежительно бросили в мох, невод собрали, уложили в шлюпку и поехали дальше, делать новую тоню.

— Что такое, едри ее мать, а? — растерянно бормотал Илья Николаевич, вытирая обильную испарину. — Сей год что-то никого не попалось. Бывало... Эй, эй, левее бери! — закричал он, сорвался и побежал по песку руководить неводом.

Я опять поглядел на далекую избу, и мне захотелось пойти туда, тем более что там уже заметно было какое-то движение. Но и рыбацкий азарт меня держал, и я пошел помогать вытаскивать невод. И опять выволокли на берег мотню, и опять бились камбалки, темно-серые и желто-белые по бокам.

Решено было, как в сказке, в третий раз забросить невод, а я задумал уловлять души человеческие и побрел потихоньку к избе. Все-таки не шутка, думал я, пятнадцать лет одиночества. Ну пусть с женой, ну пусть дети есть, и все-таки — навестят летом зверобои, переночует какая-нибудь экспедиция, ну, наконец, ненцы какой-то миг попасут поблизости своих оленей. А осенью! А зимой!

Чем ближе подходил я к дому, тем сильнее поражала меня его приземистость и сизость. Из крепчайшего, пропитанного океанской солью плавника был сложен этот дом, а торцы бревен на углах уже были изъязвлены, иссечены снегом и дождями. Окошки были маленькие и чуть не под самой крышей, крыльцо несуразно высоко, и дверь — тоже под крышей.

— Ну как? — закричали мне еще издали матросы. — Есть омуль?

Перед домом уже висел на колышках котел, и костерок под ним был разложен, жидкий дымок относило в тундру.

У крыльца валялась кучка капканов, какие-то шкурки, распятые на стене, белели своей мездрой, две лохматые лайки восторженно носились друг за дружкой. И еще везде возле дома валялись как попало или были аккуратно сложены какие-то рогульки, шесты, лучки. Хорошо запахло жильем, кислой ворванью, сушеной рыбой, деревом, сухим мхом...

Услыхав наши голоса, вышел на крыльцо хозяин — суховатый средних лет мужик, гладко бритый, чистый, но с красивыми густыми усами, подал мне руку, склонил свою суховатую головку, пригласил в дом.

— Тут у нас вроде как бы склад... — усмехнувшись, промолвил он, когда мы проходили сенями, и кивнул на полуотворенную дверь. Я не утерпел и сунулся в эту дверь. Большая поветь освещалась окошком под потолком, и чего только там не было! Шкуры оленей, связки мехов под потолком, бидоны с керосином, сети, оленьи рога, переносная печка, эмалированная посуда, большие лари с мукой, сушеная рыба на стенах, стеклянные банки с компотами, консервы...

А в избе шумел самовар, пахло свежим хлебом, посреди стола в большой миске лежал кусок масла, желтела на тарелках какая-то соленая рыба. Раскрасневшаяся молодая хозяйка суетилась у русской печи, в углу застенчиво сидели два мальчика. Мы с хозяином сели на лавку к окну, загроможденному цветущей геранью. Солнце яркими переплетами лежало на чистом полу.

— Хорошо! — сказал хозяин, отодвигая горшок с геранью и глядя в тундру. — Только вот окон не открываем, комары, паразиты, жизни не дают.

Закурив, мы некоторое время молча созерцали хозяйку, как она выходила и входила, ставила на стол чашки и стаканы, сахар, печенье. Мальчики встали, подошли к моему ружью, которое я повесил у двери, и стали шептаться.

— Они у меня в интернате учатся, в Амдерме, — сказал хозяин, кивнув на сыновей. — Охотники! «Винчестер» свой я им не даю, дак у них одна одностволка на двоих. Старший, вон тот, вихрастый, брата своего заместо собаки приспособил. Тот, значит, утей пугает, а энтот ждет, сидит со своим пужалом... Ну, а как там у вас омуль-то, попало чего?

— Нет, — сказал я. — Камбалы немножко.

— Я и то говорю, что-то отошел омуль, у меня там в заливчике сетка стоит, так ничего не попадается.

Я вдруг заметил в окно на одном из холмов белое пятнышко, поглядел на другой холм подальше — и там, на вершине, было такое же пятнышко.

— Что это белеет?

— Где? А-а... Это совы полярные, белые, их тут много сей год, лемминг откуда-то пришел, и они за ним.

На улице послышались голоса, сильно распахнулась дверь, и вошел капитан, а за ним и остальные.

— Здорово, Петрович! — закричал капитан. — Как жизнь молодая? Э! Э! Не пойдет! Этот номер не пройдет, — сказал он, увидав на столе водку. — Это ты прибереги, ты что, думаешь, мы из Архангельска на твое добро пришли? Марковский! Где там у нас представительский? А ты, Плылов, беги на озерко, шкерь рыбу, сейчас уху заварим! Что ж, Петрович, омуля всего съел, ни одного на развод не оставил?

Хозяйская водка была убрана, появился на столе спирт, самовар поспел, все стали истово мыть руки, хозяйка стояла возле рукомойника с полотенцем, блестящими глазами глядела на всех. Матросы подкладывали во дворе в огонь щепки, от котла шел пар. Собаки скулили на крыльце, просились в дом.

— Как белуха? — после первой стопки стал спрашивать капитан. — Много прошло, не заметил?

— Идет, мало пока, — отвечал хозяин. — Штук по десять, ребята считали.

— А! Это хорошо, значит, пойдет еще, значит, план выполним, — радовался капитан. — А песцы как сей год?

— Не жалуюсь, — кротко сказал хозяин и весело поглядел на жену. — Были песцы.

— Понятно.

— Ты небось миллионером скоро станешь! — закричал уже захмелевший Илья Николаевич. — Признавайся!

— Какой там миллионер... — засмеялся хозяин.

— А чего? Не пьешь, не куришь, автомобилей не покупаешь, на курорте-то хоть был?

— Жена ездит...

— Ну, жена много не проездит, одна дорога только и расходу, это ведь не наш брат. А где же уха? Ты, Петрович, скажи вот москвичам, как, бывает, тут белуха идет — по пятьсот голов сразу в загон может зайти! За неделю три плана возьмешь и домой, что, не правду я говорю?

— Раньше бывало...

— Вот и я говорю, раньше...

И начался любезный нашим сердцам разговор про то, как, бывало, били тюленей, белух, сколько в Печорской губе семги было, какого гольца ловили на Новой Земле, сколько было гусей и лебедей, а уткам, конечно, и счету не знали. И белые медведи к нам пришли и сели вокруг дома, и стада диких оленей подошли, моржи и нерпы высунулись отовсюду, затявкали песцы...

— Раньше кто на Севере бывал? — горячился самый старший среди нас Илья Николаевич. — Ну, опять — десять промысловых судов придет в Карское, так? Ну, местные промысловики, как вот Петрович. Ну, бери еще зимовщиков — и все! А теперь — эти самые туристы, да путешественники, да землепроходцы, да геологи, да вертолеты, да вездеходы — ага? Да всяких этих метеостанций понастроили, да еще вот, говорят, мода в Москве пошла и за границей на нерпу, вот каждый и везет домой по шкурке. Везет, Петрович?

— Да не по одной.

— Вот. Верно, дай руку пожму, держи пять! Тюленя истребляют, теперь за белуху взялись. Эй, чего это тарахтит, никак наши еще едут?

Матросы в это время стали вносить в дом миски с ухой.

— На втором катере что-то сюда гонят, — сообщили они.

Мы вышли на крыльцо. Все-таки какое солнце, какой вольный ветерок охватил нас, как пахнуло на нас океаном и землей одновременно!

Среди льдов, то скрываясь, то показываясь, двигалась еле заметная черточка, чуть слышно доносило звук мотора.

— Не выдержали! — засмеялся капитан. — Омулевой ухи захотелось, так будет же им уха!

А уха, против ожидания, была вкусна. Тесно, локоть к локтю, сидели мы за столом — и только ложки скрябали по алюминиевым мискам, только испарина выступала на наших лицах. Но не уха меня занимала... Выйдя из дома, я присел на какое-то бревнышко в ожидании, когда отобедает хозяин. Мне хотелось с ним поговорить.

Не деньги же держали его тут полтора десятка лет? Конечно, воля, простор, тишина... И потом, вероятно, удовлетворенность от сознания, что ты один тут хозяин, владыка всего сущего на десятки километров вокруг. Сюда, за тысячи километров, летят миллионы уток, чтобы именно тут дать жизнь новым миллионам. По всей тундре выводят теперь песцы своих щенят, нерестится рыба в речках и озерах, и все это как бы для тебя.

Но осень! Но зима! Какое сердце нужно иметь, чтобы не впасть в тоску, в отчаяние от беспросветной ночи, от дождей и метелей. Сидеть годами в тесной избушке, при свете керосиновой лампочки, ставить сотни капканов на песцов и потом выхаживать тысячи километров за сезон в любую погоду, может быть, зарываться в снег во время пурги, обмораживаться, прощаться с жизнью, лишать себя чуть не навсегда элементарных человеческих удовольствий — я уж не говорю о музыке, о библиотеках, о той части нашей жизни, которую принято называть духовной, — лишать себя возможности полежать на песочке возле какой-нибудь прелестной нашей русской речки, пойти в лес за грибами, поговорить с другом, — и все для чего? Для того чтобы потом где-нибудь в Лондоне и в Нью-Йорке вечером могла подкатить к подъезду ресторана в дорогой машине некая дама в дорогой песцовой шубке, дама, жизнь которой не стоит жизни не только вот такого промышленника, добывшего ей песца, но и, быть может, жизни самого песца?

Хозяин все не выходил, катер значительно приблизился уже к берегу, можно было даже различить фигурки людей, сидящих в нем, я подумал, как шумно станет, когда к нашей компании прибавится еще несколько человек, и, наверное, не удастся поговорить, стало мне досадно, и я пошел опять в дом.

— Нет, я водку не уважаю! — громко говорил раскрасневшийся Илья Николаевич. — Вот ты, Петрович, скажи, часто пьешь?

— Ну, где же часто...

— И правильно! Вот я до тридцати лет ее вкуса не знал! А теперь, погляди, малец какой-нибудь, ему лет шестнадцать, а он уже все перепробовал, и этот ром кубинский, и все, и в вытрезвителе уж сколько разов бывал. В прошлом году в Амдерме, капитан вот не даст соврать, всю галантерею перепили, одеколоны всякие и даже эту, едри ее мать, зубную пасту, а? Нет, был бы я правительство, я бы эту водку запретил выпускать.

— Самогон гнать будут, — улыбаясь, поддразнил его капитан.

— А самогонщиков сажать на десять лет и с конфискацией имущества!

— А как тогда прибытие в порт отмечать станешь? А отвальную?

— А пивом! Пивом сколько ты выпьешь? Десять кружек максимум...

Хозяин, тихо улыбаясь на горячность Ильи Николаевича, сел к окну, закурил. Подсел к нему и я. Матросы взяли винтовку, вышли на улицу, начали стрелять по полярной сове, ярко белевшей вдали на сизом тундровом холме. Выстрелы сухо и негромко стегали по равнине, и сова, наверное, не обращала на них внимания, но пули, вспарывавшие мох возле нее, беспокоили ее, и она взлетывала, но тут же и садилась рядом, чтобы опять взлететь через секунду.

— Не попадут, — уверенно сказал хозяин. — До нее километра два, тут снайперскую винтовку нужно.

— А вы, наверное, хорошо стреляете? — спросил я, чтобы как-то начать разговор.

— У меня винтовка хорошая, точно бьет. Она еще до войны, до первой империалистической, изготовлена фирмой «Винчестер». Да только я и не стреляю почти никогда, редко когда оленя дикого завалишь или по морскому зайцу с карбаса придется ударить. Зимой, правда, всегда при себе имею винтовку-то, на случай обороны.

— Какой обороны?

— А от белых медведей.

— А что, заходят?

— Приходят, другой раз сразу по три, по четыре. Только я их не бью, запрещено, шкуру на фактории не принимают, а так на кой она...

— Вы ведь северянин родом?

— Архангельский. Я сначала моряком был, но меня море бьет, так ушел.

Он помолчал, как бы прислушиваясь к застольному говору, потом, понизив голос, сказал:

— Вообще-то, правду сказать, я не потому с моря ушел, а после одного рейса... И с женой у меня получилось не как у всех, то есть женился, можно сказать, непонятно как...

— Ну, а здесь нашли успокоение?

— Какое! Приключений всяких не сосчитаешь!

— О! Расскажите, если не трудно!

— Это надо по порядку, с того еще, как я моряком был. Только я еще выпью, не возражаете?

Он подошел к столу, налил себе спирту, разбавил, поморщился, выпил и, не закусывая, опять сел на лавку к окну.

— Я редко пью, — как бы оправдываясь, заметил он. — Только когда гости или праздник. Так... Меня потому море било, что я на спасателе работал, мы только в шторма выходили из порта, когда сигнал бедствия получался. Работа

тяжелая была, какой случай ни возьми. Да вот, к примеру... Был такой пароход норвежский, грузовик, по имени, как теперь помню, «Гранли». Вот этот «Гранли» вышел из Архангельска с лесом в начале ноября. А осень у нас, хоть здесь, хоть и в Белом, прямо сказать, страшная, глаза бы не видели. Прихватил этого норвежца в горле Белого туман, а капитан обстановки, верно, не знал — и сел на камни, аккурат возле Сосновца. Стал подавать SOS. А я тогда на спасателе «Протее» работал, мы сразу вышли в море, ни продуктов не было, ни воды, мы у пирса стояли, нам все это хозяйство как раз должны были подвезти, а тут бедствие, мы и вышли... Но первым к этому «Гранли» подошел наш лесовоз, замеры глубины произвел, а помочь фактически ничем не мог. Ну, мы подошли часов через десять, у нас скорость большая была, сразу приступили к спасательным работам. Сначала повреждения осмотрели, хорошо, погода позволяла, на шлюпке ходили, замеры делали. Оказалось, пробиты были балластные и топливные танки. Так... Потом, значит, завели мы на этот «Гранли» спасательный буксир, сперва на шлюпке завезли «проводник», тонкий такой трос, а потом уж норвежец лебедкой буксир к себе вытащил и закрепил. Но только наш «Протей» один ничего не поделает, очень уж прочно сидел этот норвежец. Вызвали на помощь ледокол номер один, завели еще буксир, развернуть развернули, а стащить никак не можем, буксиры рвутся. Тогда пошли в воду водолазы, чтобы залатать пробоины. Решили часть груза с норвежца снять, чтобы он поднялся повыше. В Шойне тогда как раз «Бежецк» разгружался, он перед этим целый месяц по Карскому ходил, по становищам да по факториям. Вот этот «Бежецк» получил указания из пароходства забрать хотя бы часть груза с «Гранли». А у нас в это время продукты кончились, вода кончилась, питьевой немного осталось, а так мылись и все такое соленой, забортной. Начальник экспедиции, как сейчас помню, Сидоров по фамилии, дал, значит, указание, с какого борта подходить к норвежцу, и как только тот, значит, подымется, так его скорей вытаскивать. Ну, капитан «Бежецка» потихоньку подкрадывался, потому что погода хоть и запала, то есть тихая была, но течения там страшенные, а подводных гряд везде полно. А мы к ноябрьским праздникам торопимся, обидно нам в море болтаться, к праздникам все моряки, которые не в дальнем рейсе, домой стремятся попасть... А у нас тогда команда со спасателя пересела на «Бежецк», вот мы подходим, можно сказать, по инерции, вдруг скрежет ужасный! Мы все прямо к

палубе приросли! Не знаем, как быть... Дать ход назад, вдруг еще больше раздерешь. Капитан «Бежецка» решил прилива ждать, вода шла на прилив, думаем, подымется. Доложили на «Протей»: предположение есть, пробит ахтерпик, такой, значит, есть в корме топливный танк. Тем более, глядим, по воде масляные пятна гонит, а скрежет стоит! Капитан прямо белый весь, а стармех говорит, пробоины нет, нет воды в трюмах. Потом разобрались: пятна масляные шли от «Гранли». Все-таки на приливе снялись, стала вода в трюм поступать, помпы включили. Капитан «Бежецка» просит водолазов. С «Протея» отвечают: водолазы самим нужны, идите в Архангельск, если уверены, что дойдете. Ну, «Бежецк» все же ушел. Опять остались «Протей» и ледокол. Еще два дня возились, все-таки заплату подвели, воду откачали, сдернули норвежца. Потащили его в порт, а тут как раз вот он и шторм! С «Гранли» скоро стали давать сигналы, что тонут. Пришлось нам снимать оставшуюся команду, так как все были уверены, что этот «Гранли» или затонет, или перевернется, так сильно его клало. Но все-таки до Архангельска дошли, пришли на Экономию, а как раз седьмое ноября, дело к вечеру, послали мы человек пять на берег, в магазин, там уже о нас все знали, и хоть закрыто было, но нам открыли, набрали мы всего и праздник встретили по-людски, даже норвежцы с нами за советскую власть пили, за советских моряков.

Хозяин вздохнул как-то легко, будто не про штормовые свои мытарства рассказывал, а вспоминал нечто приятное, закурил, прислушался к говору за столом. А зверобои опять горячо спорили, правильно ли запретили промысел тюленей и как теперь быть с заработками, с промысловым флотом.

— Я считаю, — горячился Илья Николаевич, — мы мало виноваты, мы одни, что ли, тюленя бьем? Ну, бьем мы его, пока он у нас в Белом море, в горле прихватим, а как лед к Шпицбергену погонит этого тюленя, едри его мать, кто только не бьет: и англичаны, и датчаны, и норвежцы, надо, чтобы никто не бил, если запрещать! Правильно я говорю, Петрович?

— Правильно, — согласился хозяин, улыбнувшись.

— Вот и Петрович со мной согласен.

— Ну, а случай-то, из-за которого вы море бросили? — напомнил я.

— А-а... Я тогда рулевым был на буксире «Бугрино», тридцать два человека экипаж, систер шип, это англичане так называют суда, как бы одушевленный предмет. Тащи-

ли мы док здоровенный, ну, тропическая комиссия, а буксировать надо было на Дальний Восток, уколы такие, что мы прямо падали, потом еще прививка... Вышли мы в апреле, а док такой здоровила, что хорошо, если мы полтора узла делали. Первая остановка у нас в Алжире была, нас там хорошо встретили, фруктов разных, апельсинов понавезли, гости приезжали, редактор коммунистической газеты целый день с нами провел, участник испанских боев, хороший человек, забыл только, как звали, чудно как-то. Но жара уже чувствовалась сильно. Изо всех нас человек только пять в тропиках бывали раньше, да еще человек десять родом с юга — тем ничего, полегче было, а нам, которые до этого в Арктике плавали, совсем худо стало.

Потом пришли мы в Суэцкий канал, остановились в Порт-Саиде, тут жара еще хуже. Вышли мы прогуляться, денег, конечно, немного, так мы все эти деньги пропили. Вы не думайте, не на вине, а на этой... на пепси-коле, коричневая такая водичка, шипучая, сначала вроде химией отдавала, а потом привыкли — сразу по четыре бутылочки пили. А бутылочки со льда, холодные, как из родника пьешь, даже стакан потеет.

Ну, после Порт-Саида вышли мы в Красное море, в Аденский залив, и тут нас застиг ураган! Я уж сказал вам, что меня в шторм укачивало, но у нас шторм со мглой, с туманом, а то и при чистом небе... А там! Черно стало, как ночью, молнии полыхают со всех сторон, гром гремит даже без перерывов, а у нас иллюминаторы заварены были, духота, тоска... И так вот гребем мы со своим доком, машины пустили на полную мощь, вдруг видим — что такое? Навстречу нам судно с поднятыми флагами, это они сигнал, значит, подняли энсэ, то есть «терпим бедствие». Вот не поверите, мы сами тонуть собрались, а тут судно со своим сигналом... Мы к ним привернули немного, они за док зашли, там все же спокойнее. Спустили мы шлюпку, подошли к этому судну, а там... Черные все такие люди в белых балахонах на палубе на коленях стоят, видно, молятся по-своему. Оказалось, судно египетское, паломников везло на ихний какой-то религиозный праздник и по швам лопнуло, старая посудина-то. Капитан ихний египтянин, никто не говорит ни по-английски, ни по-французски, давай мы с ними объясняться флагами по форме МАК. Просят на буксир взять и пассажиров к себе забрать. Делать нечего, притащили мы их в Аден и стояли там четыре дня, оформляли документы на спасение судна. Ну, мы все это

время отдыхали. Заслужили, как говорится. Море красивое, вода синее, чем в Гольфстриме, обезьяны прямо по городу прыгают. Нас эти южные народы очень хорошо приняли, на охоту за черепахами морскими возили, стреляли их из малокалиберных винтовочек. Суп этот черепаший которые из наших не ели, а я ел, бывало, две тарелки срубаю — очень вкусный.

А по вечерам там такой специальной рыбной ловлей занимались. Сейчас «переноску» опустят вниз, туда же сетку, в сетку кусок мяса привяжут — и на дно. Вытаскивали таких страшных рыб «броненосцев» — это мы их так называли, — вся в панцире и два рога. Большая, а вытащишь — еще раздуется, и зубы как у зайца. Не вру! На второе у нас все эти дни была летучая рыба, жареная, суховатая на вкус, но ничего.

Вышли мы из Аденского залива уже в мае, пошли Индийским океаном. Страшно было идти, потому что возле Тайваня, а те посылали на нас реактивные самолеты. Спикирует, а потом над самыми мачтами берет повыше, да газанет так, что глохнешь, — того и гляди, стекла из рубки выбьет. Погрозишь ему кулаком, матюкнешь как надо, а что ж еще поделаешь?

Вот так мы идем неделю и две, как муха, ползем, жара, деваться некуда, самолеты эти на нервы действуют, и вот один матрос у нас стал с ума сходить. Начал, понимаете, по ночам разговаривать что-то. Ну, мы сперва без внимания, потому что когда в такой страшной жаре спишь, то многие во сне разговаривают. Только раз послушали — что такое? А он сам с собой в шахматы играет, да быстро так: говорит, к примеру, конь черный — аш-три гэ-пять, белый ферзь — цэ-шесть дэ-семь, и прочее в этом роде. Ладно... Потом стал в каюте запираться и на баяне играть. А он раньше у нас все в самодеятельности участвовал. И такие грустные мелодии выводит, да так здорово! Что делать? Днем все нормально: и на вахте стоит, и посмеется когда, спросишь про ночь, он отвечает — в норме, мол, по дому скучаю. Кто ж не скучает, жарища еще эта... Только раз подкрался он уже днем к матросу одному и, пока мы его схватили, успел того три раза ключом ударить. Мы его хвать, а он с нами драться, локоть ушиб себе до крови. Ну, его в лазарет, и матроса того туда же.

На другой день я как раз на вахте стоял, вдруг появляется он на мостике и давай повязку свою с локтя рвать.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Так, ничего... — говорит. — Скучно!

Ну, я на компас гляжу, на картушку, слышу его крик: «Петрович!» Глядь, а тот уже за борт летит! Я сразу в машину, команду «Стоп!» врубил, но скорость еще была, и я тогда по всем правилам: руль в сторону утопающего, а штурман наш тут же тревогу дал по всему судну: «Человек за бортом».

Спустили мы две шлюпки сразу. С мостика его видно, он в белой рубашке, а была зыбь, и со шлюпок его никак не углядят. А уж акулы штук шесть возле него ходят. Все-таки минут через двадцать его обнаружили, вытащили, а он уж готов...

Хоронили мы его в восемнадцать часов по московскому времени, как раз проходили тропик Рака, это двадцать три градуса тридцать минут южной широты. Я в ту ночь в первый раз Южный Крест увидал, штурман показал. Ну, завернули его в парусину, к ногам колосники и скобы всякие понавязали, а тело еще веревкой обмотали, чтоб мешок в глубине не надулся. Команда вся выстроилась, флаг спустили, дали длинный гудок...

А потом, смотрю, и со мной что-то стало происходить. Как на ночную вахту заступлю, так вижу свою Надежду, вот ее, супругу мою теперешнюю. Я с ней мало тогда знаком был и не думал вовсе, а тут гляжу — висит в воздухе как раз перед рубкой и все манит меня выйти. Вижу, дело плохо, я забоялся шибко и пошел к судовому врачу. Меня тут же в госпиталь уложили, стали уколы делать, пилюлями пичкать, от вахты освободили... А когда во Владивосток пришли, то меня и вовсе списали, я сам попросился, на самолет сел — и домой, в Архангельск!

Хозяин замолчал, прислушался и посмотрел в окно. Потянулся к окну и я — второй катер с «Моряны» входил в устье реки.

— А ведь... — сказал хозяин и еще пригляделся. — Александр Матвеич! — позвал он капитана. — А ведь, похоже, твои не за ухой пришли... Руками что-то машут, не пойму только, зовут вас, что ли?

Все вскочили, сгрудились на минуту у окошек, потом вышли на крыльцо. Катер вошел в реку и скрылся за невысоким холмом. Некоторое время слышно было осторожное: «бу-бу-бу-бу», потом мотор смолк. Мы поискали на горизонте «Моряну». Шхуна наша по-прежнему как бы стояла на прозрачном воздушном столбе. По всему огромному заливу по-прежнему рассеяны были большие и маленькие льдины. Все такой же прохладный ветерок попа-

хивал с океана. По-прежнему изнемогала под жарким солнцем тундра. Тишина, покой...

Но какая-то тревога внезапно охватила нас — как будто, пока мы хлебали уху и разговаривали, в тундре и в океане что-то случилось, что-то таинственное произошло...

Наконец, поднявшись от реки, на холме показались четыре фигурки и опять замахали нам руками.

— Да что там такое? — нервничая, пробормотал капитан и спрыгнул с крыльца.

Две фигурки отделились от остальных и стали приближаться к нам, и по тому, как быстро они приближались, мы поняли сразу, что они не идут, а бегут.

Еще шагов за триста бегущие что-то стали кричать нам, но доносилось только:

— а-а-а... а-а-а...

— Чево-о-о? Не слышно-о-о!.. — закричал им капитан и уши оттопырил ладонями, чтобы лучше слышать.

Но вот до нас донеслось уже явственно:

— Белу-у-у-ха пошла-а-а...

Что тут сделалось с нами! Пока мы нежились, ловили рыбу, жгли костерчик, — многие успели снять свои куртки и фуфайки, а кто и сапоги скинул. Как же все засуетились, бросились за одеждой, побежали скатывать сушившийся невод, потащили к реке, к катерам котел... Схватил и я свое ружье, натянул сапоги, взглянул уже прощально на хозяина: тот стоял на крыльце, улыбался, но улыбка выходила тоскливая. И я тоже затосковал на минуту, увижу ли я его еще, наговорюсь ли? Нет, уж не увижу, никогда, никогда! И никогда не узнаю, как ему живется здесь, приходят ли мрачные мысли, или, наоборот, он совершенно счастлив.

Минут через десять на двух катерах, как-то неприятно оглашая берега реки треском моторов, мы выходили из устья в океан, и уже вроде бы иные люди сидели рядом со мной, никто не дремал, все были в напряжении, в азарте, кричали что-то друг другу, показывали руками то в одну, то в другую сторону.

Закричал, наклонясь ко мне, и мой сосед, гарпунер Саша Нечаев:

— Я вот сейчас случай один вспомнил, лет семь назад было, рассказать?

— Давай! — попросил я, весело озирая прозелень вод и белизну льдов.

— Это как я чуть не потонул. Вот как и сейчас все забегали, так и тогда... А дело в марте было, мы тюленя про-

мышляли на Белом. Тюленьи залежки аккурат в это время к Моржовцу подгоняет. А мы за ними на ледоколе. Вот утром заметили мы крупную залежку, примерно в километре от нас, и побежали... А звеньевой у нас был старичок, лет шестидесяти, Василий Кузьмич, а я — второй стрелок. Вот мы спешим, тянем лодку-ледянку, торосы большие. Я тогда прошусь: «Василий Кузьмич, я побегу, а?» — «Беги, — говорит. — Беги, а я потихоньку с лодкой...» Я тогда бегом, на торос поднимусь, гляну, хорошо лежит стадо, я опять бегом. Разгорячился, а тут как раз съем большой. Иначе сказать, разводье. Дай, думаю, на льдине перееду, не ждать же старика с лодкой. И поехал с багром. А у меня через спину винтовка перекинутая и сумка с патронами. Двести пятьдесят штук. Стал перепрыгивать с моей льдинки на большую и не допрыгнул, в воду упал. Руками ухватился за лед, а вытянуться не могу, патроны да винтовка назад тянут. Тогда я шапку на лед бросил.

— Зачем?

— А чтобы знали, в коем месте потонул, — просто ответил Саша. — И держусь. Покричал сперва, потом вижу, никто не слышит, кричать бросил. Висел, висел на льдине-то, да и отпуститься хотел. А пальцы не разжимаются...

— Ну и как же? Вытащили или сам выбрался?

— Вытащили. Меня с ледокола заметили, сразу побежали ко мне, направление взяли и бегом. На лед вытащили, и я упал. Подняли меня, а я снова — бряк об лед! Ну, тогда меня понесли. Сразу в баню, потом спирту дали, я тогда чуть не сутки спал. Во потеха, верно?

— Н-да... потеха... — я поглядел на простодушное, веселое лицо Саши и вспомнил деревню на Белом море, в которой жил когда-то, вспомнил тихое кладбище на обрывистом берегу реки, высоченные поморские кресты с вырезанным на всех словом ИНЦИ, крашеные деревянные обелиски, фотокарточки застекленные, и с фотокарточек все смотрели на меня юные лица, и все бросалось в глаза странное в наше мирное время слово «погиб». Погиб в таком-то году, в таком-то, в таком-то, погиб, погиб...

Ах, это море!

И влезли мы на шхуну — как домой вернулись. Щенок наш, облизав всех, носился по палубе, капитан распекал вахтенных, что упустили белуху, а те оправдывались тем, что белуха «взяла мористо», и в свою очередь дразнили нас, что мы омуля не добыли нисколько. И так долго сердился

капитан, придираясь к каким-то мелочам, а настроение наше все улучшалось: пришли вовремя, белуха только начинает идти, и все предстоящее ей: Архангельск, ремонт машин, продовольствие, топливо, отход, наш путь во льдах — все было позади, впереди была только белуха.

Час проходил за часом, вахтенный с биноклем все торчал в бочке на мачте, озирая горизонт, белуха не появлялась, и я уже жалел, что так быстро мы собрались и ушли, не ушли даже — убежали от промысловика.

Легли спать чуть не утром, проснулись — опять солнце, воздух покоен, чист, и небо чисто, в разных направлениях, перечеркивая далекие льдины, тянули цепочки уток. Глядя на них, я затосковал, попросил отвезти меня на какую-нибудь льдину. Капитан разрешил, и вот мне достали ватные штаны, полушубок, натянули на меня сверху «рубаху», неуклюже свалился я в катер, через полчаса вылез на большую льдину, катер ушел, и остался я один... Одиночество захватило меня, дикие мысли пришли — вдруг катер не вернется, что-то случится со шхуной, она исчезнет... Но утки летели густо, низко, я принялся стрелять, сердце забилось, как давно уж не билось, и все я позабыл, восторг потрясал меня: я был один на всем свете и вся утка шла на меня.

Через час катер, ссадив на какой-то дальней льдине моего приятеля, привез ко мне стармеха Илью Николаевича, и что тут началось!

— Это я ее стрелил! — вопил стармех. — Ты промазал, едри ее мать, я видел... Гляди, гляди — идут... Пригнись! Не шевелись! Не бей, не бей, дай мне первому стрелить!.. Ты чего в моих-то бьешь? А? Видал, как я ее? Пригнись, опять идут!

Потом мы лениво сидели на палубе, покуривали, утки наши были уж на камбузе, оттуда тек сладкий запах и вдруг:

— Белуха идет!!! — потряс нас всех вопль матроса с мачты.

Сброшенные, сметенные этим криком с палубы, мы валимся в катера. И сколько все эти дни возились с моторами, как приникали к ним душой, как заводили, выслушивали, и конечно же в тот самый миг, когда началось наконец дело, ради которого сюда шли, о котором думали все зимние и весенние месяцы, когда все началось — два мотора никак не хотели заводиться, и тали заело, и еще что-то оказалось не в порядке, и какие же тогда начались шептания, заклинания, матерок, покрикивания, какая элек-

трическая искра пробежала по всем, как замелькали руки, ноги, склоненные и задранные вверх головы!

Но вот застучали моторы, мы отпихнулись баграми от борта, отвалили, щурясь от солнечных бликов, шибко пошли в ту сторону, где молчаливо и таинственно подвигались вдоль берега белухи.

Я сначала ничего не видел, вспыхивавшее на мелкой волне солнце слепило меня. Прошло пять, десять минут, и вдруг прямо перед нами показалась из воды ослепительно белая спина с острой выгнутой хребтиной, взбулькнул могучий горизонтальный, совершенный в своей точености хвост — вот она!

— Вот она! Вот она! — закричало сразу несколько голосов.

И тут же, словно всем белухам сразу не хватило воздуха или они захотели увидеть тех, кто их преследует, — то там, то тут стали показываться и сразу же с хлюпаньем, с прохладным плеском скрываться белые туши.

В эти короткие миги, жадно озирая их, успевая схватить какие-то подробности, в их движении, в их выражении — поразился я какой-то их нездешности, их уродливой красоте.

А были они отвратительны и прекрасны. Головы у них были — как каска немецкого солдата. Такой же крутой купол, почти отвесно падающий вниз и переходящий затем в козырек-нос. Они казались первобытно-слепыми, как какой-нибудь бледный подземный червь, потому что глаза их были смещены назад и в стороны, а спереди — только этот мертвенный, ничего не выражающий, тупой лоб.

Было в них еще что-то от тритона. Когда они по очереди и сразу выходили, выставали, как говорят поморы, из воды дохнуть воздухом и опять погружались в зеленую пучину — вот тогда в их выгнутых острых хребтах в миг погружения чудилось мне что-то от саламандры, от тех земноводных, которые одни жили когда-то на земле, залитой водой!

Но еще были они и прекрасны! С гладкой, как атлас, упругой кожей, стремительные, словно бы даже ленивые в своей мощи и быстроте. Винты наших катеров вращались что есть силы, тогда как белухи еле пошевеливали хвостами, еле поводили телами своими, — а шли все впереди нас, и никак не могли мы их догнать.

В ужасной страсти своей к убийству выпросил и я у боцмана винтовку и все держал, с наслаждением ощущая

ее тяжесть, забив предварительно в магазин маслянисто-желтые патроны с туповатыми черноголовыми пулями — дыру величиной с кулак в трепещущем теле делает такая пуля.

Но, разглядев белух, я вдруг остыл и положил винтовку и стал молиться. Господи, думал я, отвернули бы они в море! Испортились бы наши моторы! И что стоит этим прекрасным существам, даже войдя в загон, перевалить через верхний ряд сетей, через поплавки, и уйти дальше, и продолжать свою непостижимую, неподвластную человеку жизнь!

А между тем после сдавленных криков: «Вот она!» — все на катерах умолкли. Стрелки, раскорячась, стояли на носах катеров, рулевые, привстав, переводили возбужденные взгляды с белух на стрелков.

Какая страсть овладела всеми, как напряжены были, вытянуты наши шеи, как открыты все рты и глаза, какие фантастические лица были у стрелков, когда они, подобно дирижерам, простирали руки к другим катерам и к своим мотористам, показывая, куда править, отстать или нагнать, как лучше обойти стадо.

Какое дело этой белухе, думал я, что тело ее пойдет на корм песцам на зверофермах, чтобы потом, откормив песцов, убить и их, какое дело белухе, что ее жир нужен кому-то для всяких технических масел — а кому нужна ее душа?

Никто не выстрелил, все утерпели, катера наши шли, как пастухи за отарой, и вот уже показался край сети с буем, с карбасом, наполненным сетью же, привязанным к бую, — и белуха зашла в загон. Теперь впереди у нее был двойной ряд сетей (какова же людская предусмотрительность!), направо — берег, налево — тоже двойные сети. Один только выход оставался у нее — назад.

И вот тут-то, едва последняя белуха прошла траверс привязанного к бую карбаса, раздались первые выстрелы. Стреляли в воду, чтобы напугать белуху, чтобы кинулась она в конец загона, чтобы попыталась прорваться сквозь сети, чтобы застряла в них... И мгновенно один из катеров подвалил к карбасу с сетью, два зверобоя перескочили туда, катер взял карбас на буксир, но не за нос, а за борт, потащил к берегу, а двое в карбасе бешено выметывали сеть в воду, ставя перегородку.

А два катера на полном ходу ринулись в конец загона, куда уже пришла белуха и откуда начала поворачивать. И опять стреляли в воду, эхо гулко отдавалось от высокого

берега, взрывались в загоне столбы брызг, и повисали над нами яркие радуги.

Несколько белух уже запутались в сетях, сквозь воду матово белели их огромные тела, они дергались, рвались там, в глубине, казалось бы, море должно было вспениться от их усилий, но только едва поводило поплавки наверху, едва они вздрагивали, погружались ненамного и снова всплывали.

Остальные белухи повернули назад, но все уже было кончено: поперечная сеть у входа в загон поставлена и уж оттуда спешил к нам третий катер.

Белухи на минуту ушли в глубину, и мы остановились в растерянности, во все глаза глядя кругом. Как ни прятались от нас белухи, они были теперь как в огромном садке, они были все до единой обречены — сколько лет и по каким океанам носили они свои жизни, а теперь все до единой были обречены, и тоска сжала мое сердце. А ведь могучи были они, и каждая из них одним мановением хвоста могла раскидать нас, перебить ничтожные наши кости. Но им, наверное, и мысли такой в голову не приходило, и они только таились до времени...

И вот под нами, перед носом катера, наискосок прошла огромная веретенообразная светлая тень. Стрелок наш напрягся, пригнулся, крикнул сдавленно: «Лево!» Мотор взревел, мы стали вслед за белухой поворачивать налево, а стрелок трижды, раз за разом, ударил из винтовки в воду еще левее белухи. Белуха изменила направление и как будто неохотно, лениво, а на самом деле очень быстро стала забирать вправо. И опять выстрелы, уже правее белухи, со звоном вылетают из-под затвора стреляные гильзы, булькают в воду.

— Обойму! Скорее! — яростно кричит стрелок.

Кто-то рабски подает ему обойму, стрелок вгоняет ее в магазин, передергивает затвор и опять стреляет, стреляет, то правее, то левее огромной белой тени впереди нас. Как длинный хорей ненца управляет упряжкой собак, так точно наш стрелок ударами разрывных пуль не дает белухе круто развернуться, поднырнуть под катер и гонит, гонит ее перед собой, пока не кончится у нее запас воздуха.

Она больше не может, она уже изнемогает под водой и — будь что будет! — начинает подниматься. Очертания ее тела становятся отчетливее, цвет — белее, она как бы растет, с шелковым плеском расступается вода, показывается округлый, тупой купол лба с темным дыхалом, и

в этот лоб, в дыхало, раз и еще раз всаживает наш стрелок свои пули.

Еще за минуту до этих последних выстрелов мне представлялась бурная агония зверя, кипящая вода, хрип, пушечные удары хвоста... Но совсем не так все кончилось. Лоб белухи после выстрелов скрылся, хвост ее остановился, тело онемело, вольно расслабилось, плавники разошлись, как будто от наслаждения, и она начала, слегка заваливаясь на бок, медленно погружаться в пучину.

Солнце пронизывало воду, нежные блики его играли на теле белухи, а она была мертва, все ушло от нее, и только сердце могуче сокращалось — клубы розовой крови толчками вырывались из бледной, опускающейся вниз головы и облаками расплывались кругом.

Но это все длилось мгновение спустя, а до этого был громовой крик стрелка:

— Задний ход! — и винт пробурлил, выпустив из-под носа катера миллиарды сверкающих пузырьков, и вслед за первым криком был второй:

— Багры! — и два или три багра уже опустились за борт, и катер наш, по-прежнему срабатывая назад, почти остановился, и все эти бесчисленные пузырьки облепили тело белухи, и багры зацепили за ее нежное, женственное тело и начали осторожно, чтобы не сорвалось, подтягивать его к носу, и тут только заметил я на носу несколько палаческих петель-удавок.

Показался над водой прекрасный голубоватый хвост, тотчас на него накинули петлю, затянули, отпустили, откинулись, вытерли лбы, оглядываясь, жадно озирая загон, восторженно вслушиваясь в трескотню выстрелов с других катеров, и Илья Николаевич счастливо крикнул мне:

— Во, Юра, стрельба, как на войне!

Через час все белухи были убиты. Подняли на поверхность и все-таки выстрелили им в головы на всякий случай, и те, что в самом начале ринулись через сети, запутались там и задохнулись. И хвосты убитых вдеты были в петли и затянуты, носы наших катеров огрузли так, что винты жужжали над водой, и нам пришлось всем пересаживаться на корму, чтобы хоть немного погрузить в воду винты, и медленно, оставляя за собой кровавые дороги, пошли мы к шхуне.

А потом эти белухи по очереди висели над палубой, их распарывали, лилась кровь, внутренности швабрами сгоняли за борт, туча чаек и кайр вилась возле шхуны, крик и

гомон стояли невообразимые, сапоги, фартуки, руки моряков, палуба, белые борта, вся вода вокруг шхуны — все было красно, ножи тупились, и их снова направляли, солнце сияло безмятежно, льдины почти незаметно для глаза проплывали мимо.

Еще позже темно-багровые обнаженные тела белух были брошены в трюм и засолены, сальные шкуры, толщиной в ладонь, нанизанные на пеньковый канат, плавали за бортом в ледяной воде, алея своей изнанкой, веерообразно расходясь, и были похожи на лепестки громадного цветка, палубу чисто умыли, вода вокруг шхуны стала опять бирюзовой, чайки улетели, матросы, умывшись, переодевшись, похлебали уже утиной похлебки, и — кто спал, кто говорил о женщинах, кто крутил в радиорубке ручки, ища подходящую станцию, кто просто покуривал на полубаке, кто чистил винтовки, а на мачте в бочке сидел вахтенный с биноклем, всматриваясь в прибрежные воды, чтобы в какой-то миг огласить нашу дремлющую шхуну воплем:

— Белуха идет!!!

1963—1972



ДОЛГИЕ КРИКИ

Сколько раз я читал, как кого-нибудь еще в детстве или в ранней юности взяли на охоту — отец или дядя или деревенский старик (почему-то всех этих литературных стариков звать Флегонтычами, Ферапонтычами и тому подобными дикими кличками, и все они «лукаво» усмехаются в свои бороды и усы и говорят на нестерпимом книжно-народном наречии, которого не существует в природе), — словом, каждого будущего охотника кто-то привел в лес, и была, конечно, славная охота, и потом дома юный герой любовно глядел на картинно повешенных в сенях краснобровых косачей и на толстоусых зайцев...

Моя охота началась тридцать лет назад, на Арбате, в здании нынешнего ресторана «Прага» — тогда дом этот был набит всевозможными учреждениями, от милиции до собеса, — в читальном зале библиотеки.

В детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым бы я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбатских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... Тем удивительнее теперь кажется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в темной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И до чтения ли было тогда мне?

Но ежедневно, покачиваясь иногда от слабости, брел я к вечеру в читальный зал и сидел там до закрытия, набирая каждый раз гору книжек про охоту. До сих пор помню запах этих книг, шрифт, рисунки, чертежи, описания птиц и зверей. Сотни книг прочитал я, в том числе и специальных, с математическими формулами, с баллистическими кривыми, знал сравнительные достоинства чуть ли не всех ружей.

А какие ружья я изучал, Господи, Боже мой!

Наперечет знал я системы замков, сверловку и качество сталей у англичан Джеймса Пёрдея, Ланкастера, Голланд-Голланда, Вестлея, Скотта... За англичанами шли божественные бельгийцы Лебо, Франкотт, Пипер Байард, Ле-

паж, потом французы Верней, Каррон, Галан. «Зауэр» и «зимсон» перед ними были просто деловые, рабочие ружья. За ними шли «винчестеры», «браунинги» и «маузеры», с экстракторами и эжекторами, трех- и четырехзарядные...

Я узнал, как ставить капканы, как обрабатывать шкурки, как определять свежесть следа, как ставить силки, знал, когда и где залегают медведи, когда сбрасывают рога лоси. А как упивался я словами: «бюксфлинт», «выжлец», «жировка», «выскирь», «отрыщь!», «перевидеть», как ликовал вместе со счастливыми охотниками, перебиравшими маховые перья косачей и глухарей!

Замечу кстати, что авторы тех давних охотничьих книжек удивительно были почему-то удачливы на охоте — каждый рассказ кончался тем, что охотники что-то там заполевали и конечно же затрубили рога «на крови».

Теперь-то я понимаю, что описать, например, день, окончившийся совершенной неудачей, отважится только хороший писатель, потому что в рассказе ему не добыча важна, а другое — облака, люди, запах дыма, грязь, полустанки, дорожные разговоры, мало ли что... Писатель же, не слишком уверенно водящий пером, полагает, что для чего же писать, если в конце рассказа не последует великолепный выстрел и не грянется оземь русак или селезень?

Но чтение чтением, а было в Москве тогда еще одно место, место особенное, странное: охотничий магазин на Неглинной. Магазин этот существует и сейчас, но что это за магазин! Целые полки одинаковых, как новенькие гривенники, ружей, спиннингов, удочек...

А тогда! Бог ты мой, какие чудаки там собирались, какие страшные старухи, какие фантастические старики, какие нищие приползали туда из своих холодных нор, какие калеки, гугнявые, заики, помешанные на охоте! Какие сытые бандитские хари вдруг таинственно моргали тебе и, дыша водкой и салом, предлагали шепотом купить по случаю «вальтер», «парабеллум» или наш ТТ. А какие споры бывали там, — до ненависти, до презрения! — можно ли взять утку за сто шагов? Можно ли убить медведя дробью?

В левом углу этого магазина стояли простенькие «тулки» и «ижевки», и продавец там был простой, небрежный, можно было попросить: «Покажите!» — и он равнодушной рукой, не глядя ни на ружья, ни на покупателя, снимал с полки и давал поглядеть, пощелкать, — а что там было глядеть?

Зато направо от двери был отдел особенный, и продавцы там были неприступные, глядели скучающе поверх голов. Ружей своих в руки они никому не давали, то есть не давали кому попало. Глаз у них был наметанный, и они мгновенно отличали настоящего покупателя.

А ружья там были... Те самые ружья, тех самых фирм, о которых с такой страстью читал я в библиотеке на Арбате. Попадались ружья музейной работы, ружья поистине царские. Неимоверных денег стоили они, и покупали их, как правило, мордастые подмосковные мужички из тех, что умели извлекать выгоду даже и из войны. Приезжали в магазин они вдвоем или втроем, с чемоданчиком денег и принимались разглядывать, пробовать, прикладываться, глядеть чоки и получоки, совать свои толстые грубые пальцы в стволы...

Были там ружья изумительной красоты с выложенными инкрустацией ложами, с серебряной и золотой гравировкой на замках и стволах — целые охотничьи сюжеты в духе старинных французских гобеленов были выгравированы: и охотники в шляпах с перьями, и собаки, во всю прыть несущиеся по очаровательным лужайкам, и дамы, которым охотники с поклоном подносили свою дичь, и роскошные натюрморты из оленей, кабанов, кроликов и фазанов.

Были ружья с дамасскими стволами, сплошь состоявшие из тончайших спиралевидных узоров, были ружья с лилейными шейками, столь нежными, что не верилось даже, что такая шейка выдержит отдачу и не расколется.

Попадались ружья со стволами неимоверной длины, и такие ружья ценились особенно, потому что тогда считалось, да и теперь некоторыми охотниками считается, что чем длиннее стволы, тем дальше и резче бьет ружье.

Особым синим воронением, полным отсутствием украшения, простотой и какой-то будничной деловитостью выделялись стоявшие особняком «браунинги» и «винчестеры». Стоили они сравнительно недорого, и их покупали охотники того сорта, которых сразу было видно, что покупают не для баловства и что охота для них не лесочки, рассветы и прочая поэтическая чепуха, а заработок.

Сколько часов провел я в этом магазине, да что там часов — месяцев, если сложить все время! Торчал я и в оружейной мастерской, которая была тогда на Трубной, с упоением обоняя запахи масла и металла и глядя, как мастер ковыряется в замках...

Но пришла пора купить и мне ружье.

Я уж сейчас не помню, как и где (скорей всего, в том же магазине) познакомился я с этим человеком.

Был он немного ненормален, как я теперь думаю, со скопческой бородкой, в проволочных добролюбовских очках — грязен, неряшлив неимоверно даже и для войны.

Жил он в голой страшной комнате, которая не убиралась, наверное, лет пять. Посреди комнаты стояла железная койка с серым сальным одеялом, каждая ножка которой была поставлена в консервную банку с водой, — преграда от клопов.

— Но ты не представляешь! — таинственно шептал он, косясь по сторонам. — До чего же они гениальны!

— Кто?

— Тсс! А то услышат... Клопы! Человек — венец природы — ничто перед ними! Ты думаешь, я избавился от них? Ничуть не бывало! Они, видишь ли, поднимаются на потолок и оттуда пикируют на меня.

— Тогда зачем же ножки в банках? — спрашивал я.

— О! Я ведь тоже гениален не менее, чем клопы! Дело в том, что, поставь я койку просто к стене, ко мне полезут все клопы, сколько их есть в Москве. А так — с потолка ко мне попадают самые умные, самые одаренные особи. А ведь когда твою кровь пьет талант — не так уж и обидно, не правда ли?

Вот у такого человека и стал я торговать ружье.

«Франкотты» и «голланд-голланды» стояли в магазине на Неглинной. А я покупал старую, захватанную берданку тридцать второго калибра, пересверленную из винтовки образца Бог знает какого года. В придачу к берданке хозяин давал две пачки пороха, разные мелочи, десятка три гильз и мешочек дроби.

Некоторые гильзы были стреляные, темные, с прозеленью. Зато остальные — новенькие, золотистого, переходящего в оранжевость цвета. Была еще коробка красных, серебристых изнутри пистонов, просаленные пыжи, картонные восхитительные кружочки, машинка для снаряжения патронов и дробь — тускло блистающая, тяжело и холодновато перекатывающаяся на ладони.

Порох был в красивых пачках, на одной из которых изображен был медведь, а на другой — токующий в румяном рассветном лесу глухарь. И мой странный продавец, чтобы доставить себе и мне наслаждение, брал иногда щепотку жемчужно-черных зерен, клал на лист бумаги и поджигал... Возникало мгновенное ярчайшее пламя, и по комнате долго потом тянуло прекрасным сероводородным дымком!

— Пст! — говорил владелец ружья, показывая тонким грязным пальцем опаленное пятнышко на бумаге. — Бума-

га не загорелась? Копоти почти нет? Это не порох, это люкс, экстра, это... А ты знаешь, что это за порох? В нем только одна упаковка наша, советская... — он оглядывался и понижал голос. — Только — слово чести — никому! Хорошо? Этот порох прислан нам из... — он замялся на миг, поводя глазами, как бы выбирая страну, — из Англии! Двести килограммов — личный подарок английского короля, знаешь кому? Тсс! Ворошилову и Буденному! Они же страстные охотники, это всему миру известно. Так вот, на королевской парусной яхте этот порох ночью доставили в Ленинград, оттуда в Кремль, а там его упаковали в нашу упаковку. Только это военная тайна, понимаешь? Моему отцу достался один килограмм — за особые заслуги, это все произошло перед самой войной. Так что три человека в мире будут стрелять этим порохом: ты, Ворошилов и английский король!

Приходил его отец и еще с порога воздевал дрожащие руки.

— А-а, наш юный друг, новый слуга богини Дианы! Здравствуйте!

Отец был такой же сумасшедший, как и сын. И так же, как и сын, был грязен, голоден, только неряшливость его усугублялась еще старостью.

— Ах, охота! Благородная страсть! — говорил он, пожимая мне руки своими дрожащими пальцами. — Вы, конечно, принесли нам очередной подарочек? (Я выкупал у них ружье за хлебные и крупяные талончики.) Торопитесь, юный друг, еще одно усилие, и ружье ваше! Было время, я мог иметь десяток превосходных английских ружей, но я... О чем я говорю? А! Да, я всегда предпочитал... Послушай, дружок, — умоляюще взглядывал он на сына, — у тебя не найдется кусочка хлеба? Нет? Гм... Смешно! Вы знаете, о чем я сегодня вспоминал? Был у меня до революции друг, преданный мой слуга, ну потом, представьте себе, всевозможные перетурбации, и вот уже мой бывший слуга служит дворником в посольстве, отыскивает меня в бедности, сострадает, так сказать, и, представьте себе, раз в неделю приходит ко мне пьяненький, весь увешанный всевозможными пакетами, танцует и напевает: «Ай, Люлюшка, ай, Люлюшка, ай да чего я тебе принес? И колбаски, и ветчинки, и бутылочку винца!» А? Но я отвлекаюсь... Проклятые фашисты! О чем я говорил?

— Об охоте! — нетерпеливо напоминал я.

— А! Вот я и говорю: великое счастье ждет вас, мой юный друг! Я всегда любил многозарядные ружья. Бывало,

охочусь в наследственных своих вотчинах, в руках у меня точно такая же винтовка. Иду я жарким полднем по мелколесью, вдруг... Прошу, пистончики, пистончики вставь скорее, я хочу продемонстрировать нашему юному другу... — просил он сына. — Собака моя прихватывает след, в высшей степени экстравагантно тянет, я весь горю, сердце мое выпрыгивает из груди... Вставил? Мерси. Вот смотрите, юноша, один патрон в ствол, так... Теперь открываем магазин и сюда еще три патрона, силенсе, но я, представьте себе, иду чудной поляной, осененной купами деревьев, ружье давно заряжено, собака экстравагантно... Н-да... Вдруг! — он вскидывал вверх растопыренные пальцы. — Фррр! Фррр!.. Ветер от крыльев пахнул мне в лицо... Фррр!.. — вскидывал берданку, щелкал пистоном, передергивал затвор, опять щелкал, целясь уже в другой угол комнаты, золотистые гильзы с нежным звоном раскатывались по грязному полу. — И, обласкав мою верную собаку, чувствуя упоительную тяжесть тетеревов в ягдташе, я шел дальше, предварительно, представьте себе, зарядив свою верную берданку! Торопитесь, юноша, приобщиться к этой великой страсти!

С замиравшим сердцем собирал я на полу гильзы, заглядывал в их нутро, обметанное после взрыва пистона беловатым налетом...

Чуть не всю зиму ходил я на дровяные склады, и чаще всего мне не везло, но иногда случалась и удача — дотащив какой-нибудь старухе до дому санки с дровами, я получал крупяной или хлебный талончик и нес его хозяину ружья.

Выкупив ружье весной, поехал я на охоту только в августе. Зато и попал я, как я теперь понимаю, в места благословенные. Какие дни и ночи проводил я в одиночестве, как обмирал от страха, проснувшись внезапно среди ночи под стогом оттого, что в ухо мне дышала и фыркала лошадь, какой мороз по коже продирал, когда ночью слышал я в ближайшем озере женские взвизгиванья, хихиканье и шлепки ладоней по телу!

Охотился я только на уток. Выходил к озеру, замечал где-нибудь на той стороне выводок, бежал кругом, потом крался, согнувшись в три погибели, потом вообще ложился, полз. И часто, пока я бежал и полз, утки, вовсе не подозревая о моем присутствии, спокойно переплывали на другую сторону. И все начиналось сначала: опять я мчался вокруг... О глухарях же, тетеревах и рябчиках я только мечтал. Идешь, бывало, лесом, вдруг где-нибудь в двух шагах

сбоку и обязательно в чащобе с громом поднимается глухарь! Цепенеешь сперва от испуга, потом сердце подпрыгивает, сдергиваешь с плеча ружье, трясущимися пальцами переводишь затвор с предохранителя, поворачиваешься, вскидываешь ружье... А глухарь лопочет уже метрах в ста от тебя, мелькая изредка между стволами сосен. Вытираешь испарину со лба, закуриваешь и с колотящимся сердцем идешь дальше.

Берданка же моя оказалась преотвратительным ружьем: дробь она разбрасывала веерообразно, и мне то и дело случалось промазывать в спокойно сидящую в пятнадцати шагах утку.

Прошло двадцать лет, а я и не охотился почти, все что-нибудь мешало, и юношеская страсть моя начала глохнуть. Много потерь в нашей жизни, приобретений мало, и все какие-то неважные, а потерь много. Уходят, уходят застенчивость, наивность, доверчивость...

Но наступила однажды и для меня весна, которая длилась, длилась, как теперь кажется, целую вечность. Солнечная это была весна, ослепительная, но и холодная, ветреная. Началась она для меня на берегу Оки бурным ледоходом, стеклом полой воды по лугам, выпуклыми, бурыми ручьями по оврагам, а кончилась — в дельте Печоры.

Встретил я ее на Оке и проводил, и, как перелетную птицу, потянуло меня на Север, где я бывал уже много раз, летом и осенью, а весною — никогда... Но я уже не мог, как в юности, ехать один, мерзнуть по ночам у костра и воображать себя канадским траппером — мне нужны были люди, виделись мне какие-то лесные кордоны, слышались задушевные разговоры до рассвета, и еще нужно мне было, чтобы кто-нибудь ехал со мной все дальше, дальше, чтобы я мог показать ему все, от чего у меня ныло сердце когда-то.

И тронулись в путь мы втроем.

Есть в прощании, в предотъездном волнении, в счастье перед дальней дорогой один миг, когда тебя, будто ножом, полоснет мысль...

И мы всё смотрели назад, стояли на вагонной площадке, плечом к плечу, напирая на проводницу, тянулись — глядели, как все прощальней и слабее машут нам с перрона, как уходят они от нас на какой-то срок нашей ничтожно короткой жизни. Потом вокзал скрылся, мимо пошли пакгаузы, пустые составы на запасных путях, будки, водокачки — и мы вернулись в купе. Удивительный, сложный

и приятный запах встретил нас — все пахло, все заявляло о себе: и маслянистые стволы наших ружей в кожаных футлярах, завернутые еще в пятнистую от масла фланель, и новая кожа скрипучих патронташей, и пачки патронов, и сапоги, и егерское шерстяное белье в рюкзаках, и самые рюкзаки, пахнущие еще прошлыми дорогами, и дорогобужский сыр... Пока мы сидели первые минуты друг против друга, расстегнув рубашки, вытянув ноги, и глядели в окно, — а еще светло было, наступал май тогда, самое начало мая, — души наши успели слетать на Север, вернулись на далекий уже перрон, покружили по Москве и опять вернулись к нам. Промелькнули за окном Загорск, Ростов, а купе все темнело, но ночь не наступала, и лица наши бледно светились, и сигареты возносились огоньками к нашим губам.

Наконец мы очнулись, зажгли настольную лампу, поглядели на свои рюкзаки и ружья и опять подумали об охоте, о Севере, но теперь уже с горячей тоской, и заговорили, и начались стихи, стихи обо всем, о том, что смеялись люди за стеной, а я глядел на эту стену с душой, как с девочкой больной, в руках, пустевших постепенно... Я не знал тогда еще, что начинается побег от чего-то, от кого-то, начинается сумасшествие, не знал, что целый месяц не придется мне спать по ночам.

Поезд покачивался, под полом мягко постукивало, проводники давно разнесли чай, а потом и стаканы собрали, по коридору сначала ходили, затем перестали, и радио замолчало, а тьма за окном была неполной какой-то, и когда я прислонялся к стеклу, заглядывая вперед, в ту сторону, куда мы ехали, — по далекому горизонту расплывалась глухая зеленоватость, и огни на станциях горели бледно.

Наговорившись, начитавшись, наслушавшись стихов, легли мы спать часа в три ночи, а в Вологду поезд пришел в шесть утра, и вот тогда-то я и понял, что началось для нас смещение дней и ночей.

Спотыкаясь, покачиваясь со сна под тяжестью рюкзаков и ружей, вышли мы один за другим из вагона — нас встречал вологодский писатель Иван П. Он показался мне почему-то испуганным. Наверное, потому, что ждал он меня одного, а приехали трое. Вокзал был бледен на рассвете, встречающих немного, утренний холодный ветерок катил бумажки по перрону, невыспавшиеся носильщики сипло переговаривались с проводниками. Мы вышли на пустую площадь перед вокзалом, такси не было, нас нача-

ло познабливать, дома вокруг площади выглядели спящими, и от их безмолвного вида еще сильнее захотелось спать.

Перебив сон крепким чаем, пошли мы бродить по Вологде, хотя зачем нам была Вологда? Зачем нам эти чужие площади, чужие улицы, чужие дворы? Нет, чувствовал я, что-то мы не так делаем, надо ехать куда-то дальше, но — куда ехать? Судьба...

Между тем весенняя интерлюдия разыгрывалась без нашего участия, высшие силы пришли в движение, приуготовляя нам награду впереди, а пока мы должны были пройти как бы некий искус, довольствуясь на первых порах малым.

И вот мы уже мчимся на такси по пригородному шоссе, вылезаем, идем в сторону от шоссе, к недалекой деревеньке, идем мокрыми лугами, вот уж и чибисы пронзительно кричат над нами, и меня уже волнует их прерывистый, извилистый полет.

Наскоро устроились мы в какой-то избушке, и хоть было далеко еще до тяги — распаковали свои ружья, набили патронташи, вышли из деревни и пошли опушками мимо крохотных озер, мимо болот, мимо наполовину съеденных прошлогодних стогов, и лес, налитой предвечерним светом, расступался, открывал нам все новые поляны, и сквозь его голые ветви, сквозь напряженные, тугие лозины кустов далеко было видно кругом, далеко во все стороны открывалась нам гулкая мокрая земля с рыжими клюками прошлогодней травы.

Трепетным звуком рассыпались со всех сторон камнем падающие с высоты бекасы, парами летали над лесом утки и опускались куда-то на невидимые озерца — будто проваливались.

Один из моих товарищей в первый раз был на охоте и учился стрелять. Он останавливался и начинал водить ружьем, отыскивая себе цель. Мы на всякий случай старались держаться подальше и несколько позади. Выбрав цель, он долго целился, зажмуривался, вздрагивал заранее, стрелял — ломкое эхо сыпалось по ближайшим опушкам. Потом, вихляясь в своих высоких сапогах, он бежал глядеть, куда попали дробины, и говорил страдальчески:

— Ребята, но это же ужасно, ужасно... Как вы можете убивать живое существо? Вы такие добрые — никогда не поверю! Нет, это ужасно, ужасно...

И дико схватывался за ружье, когда из-под ног его выпархивал жаворонок.

— Стой! Не стреляй! — вопили мы, разбегаясь в стороны.

Так, разговаривая о смысле охоты и останавливаясь в ожидании, когда товарищ наш стрельнет еще в один пень, мы шли, шли дальше и дальше, уже с замиранием сердца оглядывая полянки и прикидывая, удобно ли будет стоять на тяге и как видно во все стороны.

Но вот пробил некий таинственный час, и мы поняли, что пора становиться по местам. Я облюбовал себе большую поляну, походил по ней, выбирая самое удобное место, взглянул на небо, и мне показалось, что поляна хороша, хоть была она не лучше и не хуже других полян. Закурив, я поглядел сквозь лес, стараясь угадать, где станут мои товарищи. Ничего мне не было видно, хоть лес и был прозрачен, но я чувствовал по тишине, что оба стоят уже, задрав головы, разглядывая высочайшие облачка в небе и напряженно вслушиваясь.

Перелетали с дерева на дерево угольно-черные дрозды, высоко тянула в соловеющем небе сойка, вздымаясь и проваливаясь, как бы купаясь в холодном вечереющем воздухе, а снизу резко ударил выстрел. Тотчас подумал я на моего начинающего охотника. Сойка сбилась с ритма, потом спохватилась и стала забирать еще выше. И опять стало тихо.

Вдруг прокатился еще выстрел, но уже далекий, не наш. В другой стороне ему отозвался кто-то, будто бы еще дальше, и пошло, пошло — то там, то здесь ахало, а мы все молчали... Но вот ударил кто-то из наших, и я посмотрел туда в слабой надежде, что, может быть, от него вальдшнеп натянет на меня, но ни единой тени не мелькнуло на небе.

Все, все было у меня: и Венера, как всегда, незаметно и будто внезапно объявилась, и дрозды посвистывали и дудели в стеклянные свои дудочки и резко замолкали, заснув на полупесне, лес коричневел, и холодом тянуло от земли, небо как будто поднялось и отдалилось, далекие выстрелы раскатывались по голым далям, по голым лесам, меня знобило от волнения, от нетерпения — мои вальдшнепы не летели...

Опять близко ударил мой начинающий охотник, мгновенно обшарил взглядом я небо над его поляной и никого не увидал. «В кого же это он?» — подумал я, потому что тот стоял близко, я бы видел вальдшнепа, если бы летел. Но тут меня опять отвлек второй мой товарищ, сдуплетил, а когда стихло эхо, мне послышалось, вернее, показалось, что послышалось, как он побежал куда-то, треща прошлогодним валежником.

Наконец один за другим протянули и у меня вальдшнепы, явно далеко они летели, но я так истомился, что не стерпел, выстрелил и раз и другой, мимо, конечно, не достал...

Мы сошлись, когда совсем стемнело. У одного ничего не было, он только шумно дышал с волнения и, забыв, что убивать ужасно, рассказывал, как у него что-то пролетело, но он забыл передвинуть предохранитель, потом выстрелил, но уже поздно было, а что пролетело, он не знал. Другой держал пепельно-рыжего вальдшнепа и скромно улыбался своим круглым, тугим лицом, и тут, рассказав друг другу, как всегда это бывает, кто где стоял и как стрелял, покурив и успокоившись, мы пошли домой.

Опять мы шли опушками, слабая буроватая заря светилась у нас за спиной, а впереди ничего не было видно, только синевато-темная мгла над лесом, и лес был темен, и не понять даже было, близко ли, далеко ли стоят деревья. Мы шли, а тяга не прекращалась, в отдалении, то тут, то там хоркали и чиркали вальдшнепы, и мы нервно оглядывались. Вдруг очередной хоркающий звук стал приближаться, мы остановились, лицом к закату, и через секунду увидели, как, мелко подрагивая крыльями, вдоль опушки, совсем низко, вполдерева, летел на нас вальдшнеп. Шесть выстрелов дали мы, торопясь, по нему, шесть фиолетово-красных снопов огня полоснули во тьме, а вальдшнеп будто и не слыхал даже и, так же хоркая, трепеща крыльями, прошел мимо нас и, завернув вправо, скрылся в лесу.

Не успели мы пройти десяти шагов, как нас стал нагонять еще один, и мы опять повернулись, все сразу его увидели, и опять каждый поспешил свалить его первым, опять пошло стукаться, перекатываться, схлестываться по опушкам: «трах-тах-тах-тах!..»

Через пять дней уже вдвоем ехали мы дальше на север. Круглолицый товарищ мой, не выдержав бессонных ночей, холодов и стихов, собрался домой.

— Воще-то... собака... натаскивать... Лялька там... дачу снимать... — бормотал он, нашпиговывая своих уток солью, и уж лицо у него размякло, думал небось, как домой приедет, как выложит своих уток.

Еще в Вологде сидел писатель П. среди своих охотничьих книг, под медвежьей шкурой, жаловался на сердце и говорил о глухарях, о шелковом треске их хвостовых перьев, о немногих теперь глухариных токах, которые, как он

хорошо выразился, засекречены сейчас лучше военных аэродромов.

Рассказывал он нам об одном озере, как он там жил и охотился и какая была там тишина, какой покой. О деревянной тропе рассказывал, которая ведет через гиблые болота, и что идти по ней нужно двадцать километров, а потом уже и озеро выглянет, на другой стороне которого стояла когда-то обитель, а теперь ничего нет, только один дом, в котором живет старик со старухой. Деревянная тропа приводит к берегу и обрывается, а на берегу стол и лавки в землю врыты, и висит на елке обрезок железной трубы. В эту трубу и нужно колотить и кричать, чтобы старик приехал и забрал к себе. Это и будет пристань, конец всего сущего, начало иного мира, а называется пристань — «Долгие Крики». Так и сказал нам П. в Вологде, сидя под своими книгами, под ружьем, висящим на стене, сказал тихо и нежно:

— Долгие Крики...

Все-таки П. решил удружить нам, позвонил в Архангельск кому-то, тот еще кому-то позвонил, и нас уже ждали, чтобы отвезти на это озеро, на глухариный ток.

На другой день поезд наш подошел к деревянному архангельскому вокзалу, вместе со всеми пошли мы на пристань, и ударила в глаза нам ширина Северной Двины — пароходы, танкеры, лихтеры, шхуны с паутинкой такелажа, буксиры, лесовозы, катера — все было в движении, и с севера, как всегда, дышало морем, свежими досками, а кругом уж слышался северный торопливый говор. А проведя две или три совершенно немыслимые бессонные ночи в Архангельске, однажды под вечер взвалили мы свои рюкзаки и ружья, вышли на Поморскую, встретились с нашим проводником и поехали опять через Двину на поезд.

В поезде ехали мы долго ли, коротко ли, а приехали, вышли на глухой станции, пошли за проводником какими-то проулками, по опилкам, по влажному мху, в прохладе, в свете долгого заката, зашли наконец в какой-то дом, и встретил всех нас милый хозяин. Вышел из горницы, мягко ступая своими бroднями, улыбнулся, тихо поздоровался... Какое-то отношение имел он к нашей предстоящей охоте, то ли объездчиком был или егерем, потому что проводник наш разговорился с ним о разных лесных делах, а хозяин между тем маленький самоварчик поставил, белого хлеба нарезал и стал потчевать нас.

— Это хорошо вам будет, — приговаривал он. — На дорожку-то. В животе хорошо будет, горячо эдак-то, пей-

те, пейте, дорожка-то у нас тяжелая, с палками пойдете дак, подпираться придется, чтобы не упасть. Не ходили эдак-то? А вот и пойдете, вот и узнаете...

И тут же стал жаловаться нашему проводнику, что плоха стала тропа, на стыках погнила, то и дело приходится прыгать или перебредать болотом.

— А давно ли тропа сделана? — поинтересовались мы.

— Да уж давненько, лет сорок будет. Будет? — обратился хозяин к нашему проводнику.

Тот сдвинул густые свои звероватые брови, подумал секунду и кивнул утвердительно, хоть и не мог он этого знать, молод был. А мы с наслаждением подумали об этом тихом крае, о том, что мы и не родились еще, а тут вот тропу по болотам гатили и ходили, и ходят, а теперь наконец и мы пойдем.

И как всегда, перед трудной дорогой, не хотелось нам сразу вставать, не хотелось спешить, сидели мы возле окна, поглядывали на улицу, на гусей, на кур, на то, как девушка за водой шла, как, напрягаясь, крутила она колодезный ворот, на ноги ее глядели, потом на дома, которые еще поблескивали последними вспышками окон, пили чай, слушали, как проводник наш с хозяином говорит.

А говорил он о том, что три дня назад уже был на озере, двух глухарей убил. Мясо там же съел, на озере, у костра, а желудки в Архангельск увез на исследование.

— А чего в них исследуют?

— А исследуют, чего они едят.

— Ну и что нашли?

— А нашли разное. Камушки едят, песочек. Клюкву едят, хвою, потом еще листья прошлогодние...

— А-а!

И так нам радостно стало, что где-то есть глухари, что не выдумка все это про глухарей, что в самом деле живут они где-то за озером, токуют на одном месте вот уже сотни лет и хвою с камушками едят, что приходят туда каждую весну всего три-четыре человека, что тихо, пустынно там все остальное время. И еще нам весело, гордо было: сколько охотников в Архангельске, а никто этого места не знает, а мы вот сейчас чайку напьемся и пойдем себе помаленьку.

Впрочем, чай пили только мы с проводником, а товарищ мой нацедил себе кипяточку, достал бутылку клюквенного экстракта, разбавил, прихлебывал и фукал от удовольствия.

Потом вынули мы свои ружья из футляров, распечатали пачки с патронами, набили патронташи, выложили из рюкзаков лишнее, чтобы легче было идти, простились с милым хозяином и пошли.

Опять шли мы проулками мимо редких домов, закат все не гас, но вечер уже настал, женщины скликали коров, а коровы появлялись из низенького соснового леска, мелькали там своими светлыми боками, выходили к деревне, к околице, останавливались на минуту в задумчивости, взмыкивали и брели каждая на голос своей хозяйки.

Вот и последний дом мы миновали, вышли за околицу, и теперь уж нам надо было бы пройти, быть может, сотни километров, чтобы дойти до какого-нибудь поселения. Впереди были леса, болота, озера, глухие реки, и еще небо, и еще нечто, что манило нас, уводило все дальше, дальше...

Удивительно шел наш проводник! Ступал он своими кривоватыми ногами будто бы не торопясь, как бы задумчиво, в фигуре его не было видно напряженности, а, наоборот, лень, но подвигался он так быстро, что через полчаса стали мы выдыхаться, начали приставать.

Шагали мы и шагали, мох пружинил под ногами, по сторонам был чахлый соснячок, всюду вышла на свет Божий первая яркая зелень, нигде никаких следов, попадались разве иногда то тряпочка брошенная, то кусок бересты, но я заметил, что идем мы ровно, не петляя, значит, точно идем. И комаров не было, рано еще было для комаров.

И вот пришли к началу тропы. Проводник остановился, обернулся, поджидая нас, а когда мы подоспели, запыхавшись, — сказал веселой скороговоркой:

— Ну вот она, тропа, ребята, бери по палке, а то и по две! Сейчас вам достанется! Покурим или сразу пойдем? Только осторожно, а то тут места есть — ухнешь, сразу по пупок, ясно? А так повезло вам, ребята, честно говорю, повезло, в самый раз приехали, как знали все равно, дайка американской сигаретки попробовать...

Взял сигарету, закурил, затянулся глубоко раза три, сказал только:

— Слабоваты, а так ничего, запашок приятный...

От места, где мы стояли и курили, уходила в болото тропа из брошенных прямо в топь толстых досок и стесанных бревен, узкая, как раз только чтобы пройти одному, а уж если встретится кто-нибудь... Хотя кто тут мог встретиться? Возле начала тропы было воткнуто и просто броше-

но несколько палок, и еще отдыхая, покуривая, мы уже выбирали себе палки по росту и по весу.

— Ну, пошли! — сказал проводник, бросил сигарету, длинно сплюнул и зашагал первый, опять как бы неторопливо, а на самом деле быстро.

Сначала идти нам показалось легко по гладким доскам, и палки вроде были не нужны, но это обманчивое впечатление длилось недолго. Человек не замечает, когда идет, как его слегка поводит по сторонам — полшага вправо, полшага влево, — а тут идти нужно было ровно, как по струне, и скоро поняли мы предназначение палок, скоро заболели у нас сперва шеи, потом спина и плечи, потом уж и все тело, а присесть было некуда и остановиться нельзя — проводник наш все удалялся, сумеречно маяча на серо-коричневом фоне бесконечных болот.

В десять часов стало темнеть, короткая наша цепочка растянулась, проводник, шедший впереди, исчез, товарищ мой, который шел за мной, тоже исчез. Каждый оказался одинок в этих сумерках, в мертвой тишине, доски колыхались под ногами, медленные вязкие волны расходились в стороны, и все чаще среди красноватой торфяной жижи попадались окна мертвой воды. Они казались черными на фоне восточной сумрачной стороны и свинцово поблескивали, когда я оглядывался, отражая бледнеющий закат.

Мне стало нехорошо одному, и я остановился, поджидая приятеля. Я ждал долго. По горизонту темнела полоска лесов, а вблизи видны были только изуродованные елки и сосенки, заморенные березки и осинки, Бог знает как державшиеся за кочки. Вечерний жидкий туман поднимался над красновато-маслянистыми болотами. Хотелось выйти на твердую землю, на холм, присесть, оглядеться...

Показалась в тумане длинная фигура моего товарища. Тонкая шея его свернута была набок. Потеряв надежду догнать нас, брел он медленно, с усилием подпираясь палками. Когда он подошел совсем близко, я вгляделся в его испепеленное лицо и опять подумал, что мы бежим от чего-то, и, как сказал Поэт, на половине странствия нашей жизни оказались мы в некоем темном лесу, ибо сбились с праведного пути. Но в сон ли погружены мы были, когда покидали истинный путь?

Внезапно донесся до нас громоподобный рык сверху, и, оторвав взгляд свой от болот, мы сразу увидели прекрасный самолет, идущий на снижение в сторону Архангельска. Он летел уже невысоко, и хорошо было видно, как

сиренево поблескивают стекла в длинном его носу, а рубиновые вспышки под его округлым брюхом и в хвосте казались ослепительными.

— Вот так и жизнь, — вдруг сказал мой приятель. — То летишь, то ползешь в болоте, а?

Самолет скрылся, гром его двигателей постепенно растаял, мы поправили свои рюкзаки и побрели дальше. Все темнело и темнело, туман находил волнами, справа тускло сияла молодая луна, резко, грубо пахло болотной утробой, все вокруг приняло неопределенный темно-серый цвет, и даже окна черной мертвой воды стали неразличимыми, и только деревянная тропа путеводно белела... Но во втором часу ночи на северо-востоке стало светать, потом и робкий румянец заиграл там, туман стал расходиться, полоска леса, которая с вечера виднелась на горизонте, чудесно приблизилась, уже различимы стали большие деревья, и мы поняли, что конец пути близок.

— Эге-гееее... — еле слышно долетел к нам голос проводника.

— Ого-го! Иде-ем! — дружно отозвалимь мы и радостно прибавили шагу.

— Эге-гееее... — опять заунывно завел проводник.

— Иде-е-ем! — еще громче крикнули мы в ответ.

— Эге-геееее... — еще тоньше заголосил проводник, и тут же вслед за криком услышали мы какое-то бляканье по железу, будто лошадь с боталом бродила по лесу.

— Слушай! — остановился я. — Так ведь это же Долгие Крики! Это он не нам, это он мужика зовет с той стороны...

С удовольствием вслушиваясь в дребезжащие и в то же время чистые металлические звуки, мы закурили и из последних сил зашагали к невидимому озеру.

— Сейчас самоварчик, Юра, а? — счастливо бормотал мой приятель сзади. — Горячего чайку, а?

Деревянная тропа вошла в лес и внезапно оборвалась. Так же как и у начала, у конца ее воткнуто в мокрую землю было несколько палок. Воткнули и мы свои палки и пошли уже свободнее, рядом, по веселой робкой тропинке. Редко тут ходили, но все же ходили, и дорожка во мху обозначалась явственно.

По мере того как мы шли лесом, впереди все светлело, светлело, потом деревья разбежались по сторонам, и нам открылось большое, неправдоподобно гладкое, розовое под зарею озеро.

На берегу был вкопан стол и по бокам его — две лавки. Проводник наш сидел, вольно облокотившись, спиной к нам, глядел на озеро и курил. Услыхав наши шаги, он обернулся.

— Дошли? Я уж думал, не потопли в болоте-то? А хозяин-то наш, видно, хозяюшку долго ласкал, уморился — не слышит ничего...

— Что же делать? — растерянно спросили мы. Мысль о горячем чае, о постели так радовала нас...

— А вы покричите! — посоветовал проводник и хохотнул почему-то. — А я уж голос сорвал.

Долго мы кричали вместе и по отдельности, а избушка на том берегу спала, никто не показывался.

— Да где у него собака-то? — изумился вдруг проводник. — Собака услыхала — разбудила бы их... В лес убегла, что ли?

— Может быть, выстрелить? — спросил я.

— Во-во, давайте, дуйте! — обрадовался проводник, косясь на наши ружья. — Московскими-то патронами оно громчей будет!

Мы выстрелили по два раза. Какое чистое, утреннее эхо пошло раскатываться по озеру, возвращаясь к нам, отдаваясь от нашего берега и снова возвращаясь!

— А, ёшь твою корень! — плюнул проводник. — Давайте, ребята, костер жечь, ночевать будем. У вас как с харчами? Консервы есть какие?

— Есть, — сказали мы.

— Ну, вот, сейчас откроем, на огне разогреем... А насчет этого самого как?

— И это есть.

— А что! Заслужили!

Минут через десять ярко пылал небольшой костерчик на берегу, грелась в открытых банках свиная тушенка, утки проснулись и летали парами над самой водой, далеко где-то заигрывали тетерева, будто бы накручивал кто-то ручку детской балалаечки, взошло солнце, крупная рыба всплескивала вовсю, птицы заливались в лесу, но и ноги наши гудели, и сон нас обрывал...

Так мы и задремали, рухнув головами на стол, а когда очнулись, солнце сияло и пекло, и, освещенный солнцем, стоя в корме большого черного карбаса, огребаясь кормовым веслом то с одной, то с другой стороны, подплывал к нам хозяин.

— Ах, я старый пень! — смущенно ругал он себя, помогая нам забраться в карбас. — Заснул-то как! Утром встал,

вышел, глядь — дымок на той стороне, что такое? Вроде никто не обещал... В бинокль поглядел: трое на столу спят, ну надо же! Ах, ты, думаю, такой-сякой, людей всю ночь проморил, я скорей тогда старуху будить, она там сейчас самовар наставила, завтрак кой-какой, рыбки там, рябчиков я вчера троих принес, я ведь вчера сорок километров отшагал, обход совершал...

Хозяин говорил, говорил, проводник сильно греб, журчала под носом вода, иногда всплескивали весла, а нам дремалось, а нам казалось, приехали мы к родному человеку, и так много нужно ему сказать, и так много накопилось у него сказать нам, но это потом, а теперь спать...

И уже в доме, раздевшись, стащив нога об ногу сапоги, кое-как позавтракав и напившись чаю, жадно смотрели мы, как хозяйка стелет нам на полу матрасы, и уже почти бессознательно накуривались перед сном.

Хозяйка ушла зачем-то в другую комнату, а мы, не сговариваясь, бросили в головы свои рюкзаки и повалились... Кто-то стащил с нас, сонных, брюки и носки, кто-то вытащил из-под наших голов рюкзаки, подложил подушки, кто-то укрыл нас одеялами — мы ничего не слыхали...

Приятель мой и проводник еще спали, когда я проснулся и потихоньку вышел из дому.

Все-таки прекрасно стоял наш дом — на песчаном мыске, с трех сторон окруженном водой. Невдалеке от дома, поближе к лесу, виднелись какие-то темные кучи, заросшие мхом. Я пошел туда, еще на ходу догадываясь, что это и есть, должно быть, остатки старой обители. Я стал искать взглядом бревно или сваю поцелее, чтобы присесть, покурить, посмотреть в одиночестве на озеро, как вдруг внимание мое отвлекли несколько бугорков, еле заметно возвышавшихся между обителью и озером. И я сразу свернул к ним, будто кто-то отдаленно позвал меня.

Это было кладбище. Многие могилы почти сровнялись с землей. Другие, из-за каменных плит, покрывавших их, были повыше, хотя и плиты уже опустились глубоко и заросли мхом. Я присел на одну из плит лицом к озеру. Дом теперь оказался у меня по правую руку. С моей стороны на мысок вытащены были два черных карбаса, и сушилась на кольях сеть. Не было ни дуновения, и вода в озере была такого же сиренево-голубоватого цвета, как и небо, и, как и в небе, неподвижно стояли в ней розовые тугие облачка. Лес невысокой чертой виднелся на той стороне, откуда мы пришли вчера.

Да вчера ли? А не много ли лет назад?

Поворотясь, я некоторое время глядел на место, где некогда стояла обитель, на темные чытырехугольники во мху, какие-то трухлявые кучи, на ровные рядки розовых валунов. Какая стена кипрея заглушает, наверное, все это летом!

Потом опять стал я бродить глазами по озеру, воображая пустынность, нетронутые безлюдные леса и «топи блат» — на сколько? — может быть, даже на сотни километров вокруг. Как, должно быть, прекрасно, возвышенно становилось на сердце богомольца, когда после утомительного пути тропа выводила его к Долгим Крикам, и он видел опрокинутые в озера кельи обители, колоколенку, слышал ее звон, крестился и думал: «Привел Бог!» Святыня...

Хотя какая же святыня? Пятнадцать — двадцать мужиков в черных скуфьях, деревянная церковка, колокол, спасенный, может быть, еще от Петра, тайно привезенный зимой на санях. Кельи, амбары, пекарня, трапезная. Карбасы на берегу, ловят рыбу. Пилят дрова, топят зимой печи... Равенство? Нет, конечно, — есть брат-пекарь, брат-пильщик, брат-рыбак, брат-истопник, но есть и настоятель, и казначей — эти уже отцы. Но тогда, может быть, святая жизнь?

Вспомнился мне Пришвин, который за пятьдесят лет до меня побывал на Соловках и поэтически описал их. Потрапезовав с монахами «шти-рыбой и шти-лапшой», пошел он ночевать в келью к монаху, и как только они пришли и закрылись, монах сел к окошку, отворил, поглядел с удовольствием на море и спросил:

— А покурить у тебя есть?

— А можно? — удивился Пришвин.

— Можно.

Закурили у окна. Замечательно!

— А может, и выпить есть? — спросил монах.

— А можно?

— Можно.

И выпить нашлось. Славно выпить белой ночью у келейного окошка, растворенного на море!

Но ведь были, были же и настоящие пустынники! Истязали плоть свою. Молчали десятилетиями. Лежали в гробах повапленных. В смрадных пещерах жили, приковавшись к самому темному углу, боролись с искушениями, являя мирянам образец безгреховной жизни.

Но нужно ли это? Даже если думать о Боге, то для Бога — нужно ли?

Я встал, поискал щепку какую-нибудь, палку, чтобы содрать с плиты мох. Ничего не найдя поблизости, стал я расчищать небольшое место на плитке каблуком. На камне проступали следы надписи, но были эти следы столь невнятны, что ничего нельзя было разобрать, ни единого слова, и только цифра виднелась поотчетливее, и после долгих усилий, водя даже пальцами по вмятинкам, подобно слепому, я угадал цифру «1792».

Год рождения ли был это или год смерти, так я и не узнал... Но все равно! — сорок лет назад тропа строена, сказали нам возле станции, и еще проводник подтвердил, хоть и не мог этого знать, — нет, не сорок, а двести лет назад проложена была в этих болотах тропа, и богомольцы шли, выходили к озеру, кричали, и спускался к берегу монах в черной своей скуфейке, садился в карбас, греб, откидывался при каждом гребке, поднимая кверху худое, заросшее лицо, взглядывал в северные небеса...

Негромко хлопнула дверь в доме, вышел на крыльцо мой товарищ, увидел меня, подошел, сел рядом и оглядел озеро. Потом обнял меня и забормотал:

— Ну как, Юра, хорошо тебе, а?

И заулыбался ослепительно, будто не я его, а он меня позвал на Север.

— Пойдем чай пить, Юра, посидим и пойдем. Скоро ехать, скоро, скоро, скоро ехать...

Мы посидели еще и пошли в дом, но я все оглядывался на место, где так долго стояла обитель, все не оставляло меня видение сизых рубленых ее келий с окошечками, чудесной ее церковки, все слышался мне такой живой в этой пустыне колокольный звон, и вспомнилось, как плыл я однажды по Волге, и сколько ни плыл — все показывались на горизонте, проходили мимо и скрывались за другим горизонтом колокольни церквей по высоким берегам, и как вообразилась мне тогда минута, когда все церкви, сколько их было на всей реке от истока до устья, начинают звонить одновременно в какой-нибудь праздник, как звук колоколов летит по воде от одной церкви до другой, — и вся великая река из конца в конец звучит, как огромная дивная струна, протянутая через всю Россию!

Не было еще и восьми часов вечера, когда мы все собрались. Взяли котомку, закопченный жестяной чайник, хлеба, сахару и вышли к озеру. Умостившись в карбасе, проверив еще раз патроны, зарядив ружья и уложив их осторожно стволами в стороны, поплыли мы вдоль берега. Мимо нас медленно проходили склоненные над водой сосны и ели,

картина все время менялась, берега разворачивались, озеро открывалось нам в длину. Мы постоянно озирались, ожидая, что вот-вот пролетят мимо утки и можно будет стрелять. Но озеро было величаво, зеркально и пустынно.

Через час слева показались полузатопленные водой кусты и редкие прошлогодние камыши. Гладкая вода озера здесь как будто проседала, завивалась в воронки, шла вся шелковыми складками. Это вытекала из озера река, это был ее исток, а дальше она шла в глушь, в таинственность, в распадок между высокими лесистыми берегами.

Мы свернули туда и почти не гребли — так сильно было течение, так завихривались вокруг нас бесшумные воронки. Зато далеко впереди, там, где река заворачивала, где виднелись по берегам хрящеватые выступы, похожие на остатки бывшего когда-то здесь моста, — там клокотало, и шумело, и пенилось, и потом, по уже медленному течению, ниже, по темной воде плыли крупные смугло-белые шапки пены.

Тут мы и вылезли, вытянули насколько было возможно карбас, покурили, созерцая предвечерний покой реки, и пошли. Солнце стояло высоко, и было светло и жарко, как днем. Между ярко-зелеными кочками молодого мха едва заметно петляла желтоватая тропинка. Хозяин говорил вполголоса, что в прошлом году над лесом прошел сильный шторм, и много сосен посваляло, особенно много упало самых старых, крупных сосен, и что теперь трудно ходить по лесу. Говоря это, он попыхивал махоркой, ступал свободно, и было видно, что ему совсем не трудно.

Чем глубже входили мы в лес, тем выше становились сосны и больше было бурелому. Иногда мы обходили завалы, иногда перелезали, опять обходили и перелезали, и этому не было конца, все становилось монотонным, раздражающе-утомительным, и не хотелось уж смотреть вокруг, не хотелось думать об охоте. Но проводник шибко бежал впереди, за ним наш хозяин, а за хозяином уж и мы...

Солнце еще согревало верхушки сосен, когда мы дошли до места. Мы очутились в переплетении всех этих поваленных и наклоненных стволов. Вода поблескивала в ямах под вывороченными стенами корней. Громко, отчетливо, совсем рядом и подальше посвистывали птицы, и где-то уж совсем далеко, на берегу озера — будто вода играла, будто несколько ручьев перебивали друг друга глуше и звонче: токовали на болотах тетерева.

— Ну что ж, — сказал наш хозяин, когда мы сложили в кучку под поваленным стволом сосны наши припасы. — Пошли, послухаем!

И мы пошли на подслух. От того места, где мы остановились на ночевку, надо нам было пройти метров двести — триста к северу. Мы шли осторожно, вразброд, чтобы стать подальше друг от друга. А потом остановились, прижались к стволам сосен, стали неслышны и неразличимы, стали смотреть вверх и по сторонам и слушать. Сильно стучало сердце, шуршала одежда по коре... Так мы стояли долго; солнце зашло, стемнело, и птицы смолкли, только вдали еще яростнее бормотали тетерева.

Вдруг я увидел метрах в ста, за частоколом леса, тень, которая мне в первое мгновение показалась длинной, как веретено, от быстрого полета. Тень пропадала и появлялась, описывала гигантскую кривую и, переместившись с востока на север, туда, где небо было еще цвета шафрана, села, успокоилась, замерла на одной из сосен. А через секунду к нам донеслось мощное тугое лопотанье крыльев при посадке.

Так появился первый глухарь. Потом я услышал такое же лопотанье и значительно ближе, с другой стороны, но тени на этот раз не видел. И потом еще в течение получаса то там, то здесь шумели крылья садящихся птиц. Мне вдруг стало холодно, озноб волнами пошел по телу. Я не знал, слетаются ли каждый раз все новые глухари или уже севшие снова перелетают.

Уже в совсем смутном свете ночи я заметил краем глаза какое-то движение над землей, низко, повернулся и увидел, как хозяин молча махал мне рукой, что надо идти назад. Тогда я отделился от дерева и осторожно пошел, уже ничего не слыша, а видя только смутные фигуры сходившихся людей.

Метров через двести мы пошли смелее, стали переговариваться вполголоса, а когда пришли опять в буреломное место, обходя поваленные деревья, и нашли свой чайник, хлеб и сахар — стали совсем уже смело ломать сучья для костра.

Тогда, в начале мая, еще не было белых ночей. А был жидкий сумрак, рассеянный в лесу, и все коряги, стволы, сучья стали похожи на притаившиеся живые существа. Костерчик наш весело трещал, ярко полыхал, дымил, когда мы совали в него обомшелую сухую кору. Дым синим столбом поднимался вверх, потом растекался по лесу, и я подумал, что дым этот далеко можно учуять.

— А как глухари? Не спугнет их дым? — спросил я.

— Что ты! — сказали мне. — Ни одна птица дыму не боится.

Было часов одиннадцать, глухари начинали токовать в час ночи — два часа надо было просидеть нам у костра. И мы устроились кто как хотел. Один сел на ствол, другой — на кочку, третий — на корточках, палкой в костре ворошил, и искры взлетали вверх. Хозяин наш покашливал, сильно дул в кружку с чаем, громко прихлебывал. А проводник все похохатывал, весело ему было жить, сидеть у костра в предвкушении охоты, и вообще был он какой-то хищный на своих гнутых ногах, крепкий, жилистый, молодой еще, с раскрытой грудью...

— Это вам повезло, повезло вам, ребята, — говорил он, — глухарь тут есть, есть, это я вам точно говорю! Точно! Много ли, мало — а штук тридцать на току имеется, правду я говорю? — обращался он к хозяину.

— Тут у нас и бобры есть, — рассеянно сказал хозяин. — Пониже по реке хатки у них... Река тут глухая, жилья нигде нету. Они это любят, бобры-то.

Вдалеке в ра́зных местах токовали тетерева.

— А весна! — громко сказал проводник и ухо поставил, послушал, как наигрывают тетерева. И мы все послушали.

— И комаров, чертей, нету! — с удовольствием выговорил хозяин, шапку снял, утерся. Волосы у него взмокли от испарины, от горячего чая, и видно было, что хорошо ему.

— Здорово вы тут живете, — сказал я, думая о бобрах и об охоте. И о хозяине подумал, как он тут живет, один на всю округу, лыжи у него, собака, как зимой он тут ходит — птицы, зверя много. Не знаю, почему-то о зиме, о снеге мне подумалось.

— Хорошо, не хорошо — вольно!

— Что вольно, то вольно, это ты верно! — поддержал проводник. — Ты ведь тут давно? Я на работу поступил, ты ведь тут уж был?

— Я тут шешнадцать годов, вскоре после войны, — как отвоевался, домой приехал, бабу забрал (в Архангельске она у меня жила), — так и суда поступил.

Помолчали. Сильно пахло мхом, сладкий это был запах, весенний, сырой, тянуло еще черникой, клюквой, талой снежной водой из ямок, из-под выворотней. Когда мы шли сюда, нам все мыши попадались, шныряли во мху и мокрые были, даже на спинках шерсть торчком стояла мокрая. Они и сейчас бегали озабоченно вокруг нас, попискивали, выгнала их всех вода. А может, и не вода, а весеннее беспокойство.

Ах, время-то какое было, май — и этот Север, эта глушь, робкий холод по ночам, костерчик, дымок, чай распарен-

ный в черном жестяном чайнике, мужики эти с нами, и мы там, в том лесу, а вокруг нас чутко дремали глухари по соснам, а еще дальше на лесной речке выходили в эту минуту из воды бобры.

— Сам-то ты из Архангельска? — спросил проводник хозяина.

— Нет, я северный, с Куи, слыхал?

— Это что на Белом море?

— Нет, под Нарьян-Маром...

— Ого! Чего ж ты оттуда подался?

— Да, я там, в Куе-то, почти и не жил.

— А где же?

— А на берегу океана, на промыслах семги да песца.

— Это в коем же месте?

— От Печоры поправее будет.

— А сюда чего перебрался?

Хозяин наш помолчал, потом неуверенно:

— Летом там беспокойно жить. А зимой ночи долгие, дня не видать. Да я и так до самой войны почти отгрубил. А попал я туда мальчонкой совсем, в двадцатые годы.

— Один, что ли, или как?

— А так вот, что время было голодное, нужда заставила. Батя мой договор заключил.

— Постой! — перебил мой приятель. — Ты сказал, летом беспокойно жить — в каком смысле?

— Солнце не садится, днем и ночью светит, спать совсем неохота, и усталость сильная от этого происходит. А еще сказать — как-то оно все грезится тебе чего-то...

— Грезится?

— Ну да, тянет тебя всего как-то, места себе не находишь, беспокойство, словом...

Хозяин стал закуривать, пыхнул раз-два дымком, закашлялся, поглядел в сторону тока, спросил:

— Время-то сколько?

— Полдвенадцатого, — сказал мой приятель, приглядевшись к треугольным своим швейцарским часам.

— А! — протяжно выговорил хозяин и опять пыхнул раза два дымком. — Дак вот... О чем это мы?

— Насчет грезится, — быстро сказал проводник и хохотнул почему-то, завозился.

— Да! Вот так, значит, мы и снарядились. Батя мой всю семью с собой взял, а еще сосед был с нами — Артемий Кожевин, — тот сына только взял. Договор заключили на лов семги и поехали. Мой, значит, батя с нами да Артемий с сыном. А поехали из Куи на боту, поехали на

мыс Горелка. Высадили нас, кругом ни души, тундра одна, снег под берегом, а дело в июле, смекаешь? Свезли нас с карбаса на берег, сети, барахлишко наше какое-никакое, а на берегу хибара такая стояла, развалюха совсем, бревенчатая такая, тоня, одним словом. Отец печь слепил, стенку пристроил, баньку там сделал, чтобы помыться было когда. Так и зажили, все лето семгу ловили, стали муку получать, сахар, масло — это авансом за рыбу. Артемий-то с нами жил в одной избе, ему там не понравилось, не стал строиться. «До осени побуду, говорит, и уеду, ну ее к дьяволу!» Скучно ему там показалось, жилье-то в одну сторону на двадцать пять, в другую на сорок пять километров.

Вот он сезон отловил, а осенью стал это, значит, домой подаваться. А бота к нам не приворачивали, бота заходили только на фактории. И вот в сторону Печоры стояла такая фактория. Дресвянка по имени.

— Погоди! — перебил проводник. — Это где Болванская губа, что ли?

— Во-во... А ты дак бывал там?

— Я там в Носовой бывал. Как раз с оленями кочевали, в Носовую завернули, а там уж знают! Сейчас спирт этот, НЗ это сейчас в магазин забросили — и пошло! Это в шестидесятом было...

Проводник даже заерзал от сладких воспоминаний.

— Ну, это... — хозяин сморщился. — Не уважаю я, когда так-то пьют... Они, понимаешь, — он повернулся к нам, — в тундре месяцами живут, а потом как дорвутся, пьют до того, что уж и ползать не могут. Право слово! Нет, я бы им вообще спирту не продавал. Не уважаю я так-то пить.

— Ну, а про факторию-то, — напомнил я.

— Дак что ж про факторию? Отправились это, значит, мы на эту самую Дресвянку втроем. Батя меня пустил, собачонка с нами, мне двенадцать лет, а сыну Артемия, Петькой звали, тому лет тринадцать, постарше меня был. Это я вам все к тому, чтобы понятней было, как там зимой жить. Хотя так-то сказать, кто там не зимовал, все равно не поймет... Страшно! В бурю, в пургу страшно, а когда тихо, еще того хуже. Снег белеет, а ты один в тундре!

И тут возник некто за моим плечом, в глухом месте северного леса, и задышал мне холодом в затылок и глухо зашептал:

— Небеса и земля погружены в вечный покой. Нигде ни одного признака жизни, ни одного воспоминания о ней.

Ум ни над чем не работает, ни на чем не отдыхает. Бесконечные созвездия не могут уронить ни одной радостной искорки в эту мертвую атмосферу. Холодные безжизненные звезды ничего не говорят сердцу. Глаза устают смотреть на них и снова обращаются к земле, ухо чутко прислушивается, не нарушит ли хоть малейший шум это подавляющее молчание, — но нет, не раздается ни одного человеческого шага, ни одного живого голоса. Не слышно даже слабого крика птиц, даже легкого шелеста снастей, колеблемых ветром. В этой беспредельной пустоте я слышу только биение собственного сердца; кровь, бьющая в моих артериях, утомляет меня своими сильными ударами. Молчание перестает быть отрицательным понятием, оно наделяется положительными качествами. Я его слышу, и вижу, и чувствую. Страшным призраком встает оно передо мною, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегаю со скалы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляя скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти...

Хозяин почему-то прислушивался — слышал? Проводник наш вдруг клюнул носом, очнулся, посмеялся немного и стал по-собачьи ворочаться вокруг себя, укладываться.

— Давай, давай, — приговаривал он. — Это мне все знакомо, я там, в Амдерме, бывал везде, это ты верно говоришь, вот им, московским, это в диковинку, а нам... Слушаю, слушаю, давай, давай...

А сам уж улегся, ямку во мху утоптал, сучки какие-то из-под себя повыгреб, глаза прикрыл.

— Давай, давай, слушаю...

— Заморился, — сказал хозяин. — Ну вот, а Артемию — тому тогда лет сорок было, молодой. Взяли мы чунки, санки такие, узенькие и низкие...

— Вроде нарт?

— Не-е, нарты — те высокие, а эти низенькие, узенькие. А батя наказывал мне там кое-что взять, на фактории, пороху там, дроби, соли и всякого припасу. Ну, лямку через плечо, надеты на нас малицы были, но малички такие пробивные, одна мездра. Километров двадцать прошли, а идти томно, день короткий, темный, слева тундра, холмы такие плоские, снег, справа море, припай уж возле берега, торосы, куда ни поглядишь, одно и то же, скучно было идти. Разговаривали между собой маленько, да и то

нечасто, друг за другом шли, неспособно было говорить, да уже и переговорено все было, когда вместе жили.

И вот прошли это, значит, километров двадцать, смотрим — что такое? Смотрим, погода захужела. Сделали привал, покушали немного, слушаем тундру, как она погуливать начинает. А уж и стемнело почти совсем. Так все в глазах что-то змеится, ползет, переливается, и уж понизу вроде как туман бежит, а это снег, пурга! Мы скорей идем и уже давно сбились бы, да только справа нам все море кажет, темнеет, вот так и идем — справа море, слева тундра. Вскоре и пурга настоящая началась, так завыло, замело, не знамо, где небо, где земля. Дошли мы до речки Дресвянки, а фактория стояла отступя от моря, на этой самой речке. Завернули в глубь земли, в тундру. Идем, идем, а фактории все нету. Заблудились мы, одним словом, решили ночевать. Речка небольшая была, берега низкие, снегом все перемело, не понять — по речке идем или уж давно сбились, тундру меряем. А я маленький тогда был, шибко забоялся, и Петька забоялся, идем, плачем. Только Артемий держится, а сам тоже в сомнение впал, помирать-то кому охота?

Вырыли мы тогда яму, легли прямо в снег. Маличка у меня, я уж говорил, совсем никакая, холодно, дует. Подремлем, потом все проснемся, из ямы своей выстанем, начинаем другую яму копать.

— Зачем другую-то?

— А все нам кажется, что, может, в другом месте потише будет. Вот так-то рыли, рыли, устали совсем, сморились, сон нас взял. Не помню, как и заснул совсем, а проснулся, чую тяжесть на себе, ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Закричал я тогда. Петька проснулся, тоже заорал, отца распихал, Артемий выстал и раскопал нас. А ветер так и рвет, на пять метров никуда не видно. Видим мы, плохо наше дело, нельзя нам под снегом спасаться, стали соображать. А так дуло, что снег вокруг следов обметало, след это, значит, наружу вылезал. Стали мы ходить все вместе, следы руками да ногами щупать, думаем, может, какие следы на факторию найдем, ходят же вокруг нас люди, ездят... Ходим, щупаем, только все нам наши следы попадаются, вдруг Петька как заорет: «Волк!» А это была бочка! Потом — шага два прошли, — вешала! Это жерди такие, на столбы положены, — сети сушить. Стали мы дальше искать, глядим — сугроб, а из сугроба труба торчит, из трубы дым и искры. И тепло дует. Вот она, фактория! Залезли мы на сугроб, стали орать в трубу, хозяев звать. Хозяева нас услыхали, начали снизу раскапываться, а мы

им и помочь не можем, лопаты у нас нет, понимаешь, какая вещь. Ну, хозяева скоро все ж таки откопались, свет снизу блеснул, залезли мы, как в траншею, и в дом попали. А потом, понимаешь, шесть дней мы там жили. Как ни послушаем — гудит наверху, нельзя выйти. Шесть дней!

Я представил себе эти шесть дней в духоте, в сне до одурения, в сумрачном свете коптилки, а наверху — пляшущие космы снега, потом вспомнил все белые ночи, какие я видел, в какие не спал, неясно думая о чем-то, вообразил и тот далекий берег, где жил когда-то наш хозяин, и сказал, слабо надеясь на поэзию:

— Зато летом, наверно, хорошо было?

— Как тебе сказать... — подумавши, ответил хозяин. — Там и летом несладко. И спать не спишь, и комаров в тундре — никуда не пойдешь, и цинга приступает. Да вот тогда же, после той зимы, мы там чуть все не померли... Сколько время-то?

— Двенадцать, — сказал приятель, блеснув своими швейцарскими.

— А-а... Через час пойдем, не ране. Тогда слушайте дальше. Зимовали мы неплохо, семья у нас большая была, не скучали. Продуктов питания, припасов всяких тоже хватало. Да промысел-то, видишь ты, не совсем хорош был. Шестьдесят девять песцов всего взяли. Батя-то зачем остался зимовать? Думал на песце хорошо заработать, чтобы это, значит, года на три вперед обеспечить нас, а весна — и домой подаваться. В тех местах тогда хорошие промыслы были. Сейчас-то не знаю, теперь, слыхал я, мало песца стало, распугали. А тогда в иную зиму поболе трехсот штук один промышленник добывал.

Сигарета у него погасла, он ее стал раскуривать опять от уголька, и, пока раскуривал, видно, мысль какая-то пришла ему в голову, постороннее соображение, потому что, затянувшись, он вдруг быстро и другим совсем голосом сказал:

— Вообще-то жить там можно, да и привычные мы были. Ведь у нас в Куе-то то же самое, и тундра, и пуржит зимой, и тоже летом солнце все, а зимой тьма. Да, видишь ты, у нас-то все же деревня, поселение, народ там всякий, братья, сваты, в гости ездят, праздники там разные, весело... И на семгу артельно собирались, и всяко работали вместе же, общество, одним словом, понимаешь ты. А там, на этой Горелке-то, там, братцы, ни в кую сторону никого, и ненцев не слыхать, откочевали.

— А сюда-то почему забрался? — спросил я. — Ведь и тут одиноко.

— Что ты! Тут много народу ездит. Летом из Архангельска приезжают на охоту, рыбки половить, научные работники всякие. И зимой... Лошадь у меня, зимой на станцию поедешь, лошадь оставишь, в город съездиешь, там очумеешь — и назад. Да и попривык я теперь-то, считай, всю жизнь в одиночку жил.

А тогда... Первое ведь зимовье наше было. Ну вот, думал батя разбогатеть на песце, да не по евоно вышло. Песца мало добыл, с чем в деревню ворочаться? Вот батя и говорит как-то матери. «А! — говорит. — Не остаться ли нам на летний промысел семги? Уж летом заработаем, тогда и домой». И порешили родители мои летовать.

Весна приходит, распутица началась, лед должен скоро на Печоре пойти, припай от берега тоже скоро должен был отойти. А у бати на фактории Черной карбас был, он туда его еще осенью согнал, думал, не понадобится больше. Вот он это, значит, дождался распутицы да по обтаявшему и ушел на факторию, а нам наказал ждать. Решил он на фактории припасов всяких на лето авансом попросить да назад уж в карбасе прибыть. И вот он ушел, а мы его ждать стали.

— Много же вас было?

— А вот считай: мать! Она тогда молодая была, всего ей тридцать годов сполнилось, рано замуж вышла. Потом я. Мне двенадцать было. Потом два брата, девять и семь лет. И еще девчонки две — одной пять, другой два годика.

А весна в тот год плохая приключилась, затяжная. Никак не теплеет, птица не летит, а батя нам ружье оставил и патроны, чтобы птицей кормились. Из припасов же у нас вот чего было. Муки гнилой мешок, зелена вся, и хлеб из нее худой выходил. Потом овсянки немного и рыбы соленой полбочки.

Ждем мы батю нашего неделю, другую, а у нас уже цинга началась, опухать стали, и зубы у всех кровоточат и шатаются. До того доходило, что можно было зуб свободно из рота вынуть и назад вставить.

Птицы налетело видимо-невидимо, а взять ее трудно было. Возле нашего дома они не садились, а были там небольшие такие озерки, от нас километра три. Вот мы с братом, которому девять лет, Генкой звали, и идем, бывало, на те озерки. Ружье возьмем, патронов десяток и пойдем. А слабые совсем, качаемся, десять раз отдыхать садимся, пока дойдем. Придем, а что делать, не знаем. Птица еще на гнезда не села, осторожная, держится посередке, от берега далеко. А кругом тундра, ни кустика,

спрятаться некуда. Птица, которая у берега кормится, как нас увидит, так к середке озерца отплывет и сидит, поглядывает на нас. А мы — на нее.

И вот мы ползаем, ползаем, и так хитрим, и этак, а самое большее три штуки убивали за день. А чаще всего две, а то и одну. Бывало, что и пустые назад придем. А идем назад, от боли ревем в голос, ноги-то совсем пропадали у нас, язвами шли. Домой вернемся, ляжем на лавку, мать нам ноги растирает, отваром из березовых почек поит.

Июнь прошел, в первых числах июля теплый ветер из тундры подул, два дня дул, и весь лед от берега в океан ушел. Море очистилось, стали мы отца ждать. Уж из избы не выходим, лежим кто где. Голову подымешь, на море поглядишь — пусто. И опять лежишь. Бредить стали, никто ничего не соображает, день за окном или ночь. Солнце-то уже все время светило. Задремлешь, солнце в избе, проснешься — опять солнце, только в другое окошко светит. А все батю ждем...

Пошел раз брат до ветру, слышим — кричит. В окно поглядели, видим, бежит назад. Только и не бежит вовсе, а так — еле ногами перебирает и кричит: «Батя едет! Батя едет!»

Мать заплакала, все заревели в голос, кое-как стали подыматься, друг дружку поддерживаем, вышли за порог, глядим на восток, солнце сияет, видим, лодка вдали чернеет, карбас отцовский. К берегу приползли, на плавник легли и ждем. Вот час проходит, другой, только, думаем, чего бы это карбас так медленно идет? Еще час прошел, и вдруг видим мы, что карбас пустой плывет. Течение его тянет вдоль берега. И близко так карбас этот от нас прошел, метрах в тридцати, страшный такой, пустой... Карбас плывет, а перед глазами у меня все зыблется, зыблется...

Приволоклись мы домой, легли кто где и лежим молча. Потом мать как заголосит! Причитать над нами начала, как над покойниками, прощаться стала, всем по чистой рубахе достала — это на смерть, значит. А потом мы по лавкам и на полу легли и заснули уже последним сном, умирать стали. Только вдруг слышим шум в избе, стук, трясет нас кто-то, а мы и проснуться не можем. А это батя наш приплыл, еле добудился нас.

— А как же карбас-то пустой? — спросил я.

— А это чужой чей-то мимо нас пронесло, похожий на наш...

Хозяин встал, потянулся, поглядел на восток, на верхушки сосен, которые теперь бронзовели уже от утренней розовости, и пнул нашего проводника.

— А? Чего? — поднял тот голову.

Шапка у него свалилась, он сел, нашарил ее, нахлобучил, потер глаза.

— Пора?

— Надо идить, в самое время на месте будем.

Мы затоптали костер, сполоснули чайник снежной водой, положили кружки, сахар и оставшийся хлеб в котомку, хозяин закинул ее за спину, и мы пошли на восток от тропы, которая еле угадывалась, пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, еще молчавших в предчувствии любви и смерти.

Неяркая, зеленовато-желтая заря переместилась уже к северо-востоку, небеса были глубоки и чисты, но мох под ногами — темен. Темны были и громоздящиеся друг на друга стволы, надо было перелезать их, страшно было споткнуться, затрещать, и мы все глядели напряженно под ноги, тогда как хотелось смотреть вверх.

Мы уже порядочно отошли от тропы в сторону тока, и чем дальше, тем шли осторожнее, как вдруг хозяин наш закашлялся. Как подбитый, повалился он тут же на землю, успев одновременно стащить с головы шапку. Уткнувшись лицом в шапку, он долго глухо кашлял, перхал, и лопатки его под телогрейкой сотрясались.

Наконец он поднял голову, чтобы отдышаться.

— Ухи отрежь... — сипло, невнятно попросил он, протягивая проводнику свою шапку.

— Чего? — не понял проводник.

— Ухи!.. Ухи, говорю, отрежь! Слушать мешают...

— А-а! — проводник как будто обрадовался, что может что-то сделать, быстро вытащил нож из ножен и с удовольствием отрезал уши у шапки.

Поднявшись, хозяин наш на подгибающихся ногах, будто падая, поспешил на поляну и замер, приложив совки ладоней к ушам и вытянув шею. Приятель мой качнулся несколько вправо и тоже замер. Я оглянулся — мне показалось сначала, что проводник наш оправляется, но это он так слушал — присев на корточки.

Мы оттопыривали уши, затаивали дыхание, рты наши были раскрыты. Хотелось закурить, но курить мы не осмеливались. Свет усиливался с каждой минутой, мох седел и зеленел внизу, небо будто удалялось от нас, а сосновые ветви все чернели, и уже различимы были все хвоинки... Шорох одежды слышался резко, когда кто-нибудь из нас переменял положение, тетерева проснулись и токовали вдали со

всех сторон, журчали и булькали непрерывно, и хоть в нашем бору держалась еще тень, мне воображались розовеющие березы по краям болот и тетерева на березах, раздувшиеся, готовые слететь вниз для драки, переступающие своими роговыми лапками, — и вздрагивающие, гнущиеся под их тяжестью ветки.

И глухари проснулись уже, мы это знали, но ни один еще не шевельнулся, ни один не развернул веером свой хвост, не вытянул шею...

Неужели, думал я, сейчас все произойдет, и я услышу и увижу то, о чем с таким упоением читал в зимние, голодные, военные вечера? Неужели сейчас он цокнет, как ногтем по табакерке, вслушается, снова цокнет, потом еще и еще, чаще и чаще, и засвиристит, заскиркает, тряся своей бородой, а я, спотыкаясь о коряги, стану скакать на это скирканье? Неужели бывает, что, когда долго кричишь, тебя кто-то и услышит — человек ли, судьба ли?..

А было это на Севере, в пустыне, в мае, в счастливую пору.

1966-1972



СВЕЧЕЧКА

Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться — хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять. Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как об автомашинах. Было их у тебя дюжины две — от самого большого деревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и я возил тебя в нем по комнатам, — до крошечной пластмассовой машинки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вышли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосновения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

— Хочешь кататься на настоящей машине! — сказал ты.

— Что ты, милый! — возразил я. — Теперь поздно, скоро спать... А потом — куда же мы поедем?

— Поедем... поедем... — ты запнулся, перебирая в уме места, куда бы мы могли поехать. — В Москву!

— Ну — в Москву! — сказал я. — Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а потом это ведь так далеко!

— Хочешь далеко! — упрямо возразил ты.

— Ладно, — согласился я, — поедем, но только через три дня. Зато я тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куданибудь и мы пойдем с тобой дальше.

— Слушай, любишь ты позднюю осень? — спросил я у тебя.

— Любишь! — машинально отвечал ты.

— А я не люблю! — сказал я. — Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! *Вся увядоша, яко трава, вся потребишася*... Понимаешь ты, о чем я говорю?

— Понимаешь! — тотчас откликнулся ты.

— Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, то лето было как целая жизнь?

Но и ранняя осень хорошо: тихо светит солнце, по утрам туманы, стекла в доме запотевают — а как горели клены возле нашего дома, какие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь!

Ты молчал, мчась куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам при-

шлось свернуть с тобой вбок по дороге и я свернул, то ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было, куда идти, ведь ты не шел, ты ехал!

— Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво — это просто кажется, а на самом деле все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, то это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву — это ты ехал уже по моей дубленке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побежал впереди.

— Ничего, — заговорил я снова, — скоро ляжет зазимок, станет светлее от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие хорошие горки — как раз для тебя! И станешь ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвращаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сиротливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких фонарей.

— Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! — вдруг неожиданно для самого себя сказал я. — Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром есть такое выражение: «отчий дом»! Хотя не знаю, почему, например, не «материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не проходили мои дни — и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и камины, и даже — представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке — средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы ходили в свои походы, и вместо деревянных полов были каменные плиты, а камин в зале был такой, что быка целого можно в нем зажарить, а рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уж никогда туда не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с приятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, ехали мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни перебросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу...

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лес-

ной или полевой дороге — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только взошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и недаром назывался: «Музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов с погнутыми ножками, резных стульев, столько прекрасных картин висело по стенам, такие заунывные и радостные пейзажи открывались из окон! А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными окнами, узкие, длинные, затененные деревьями и совсем крохотные, с низкими потолками! А какие окна там были — большие, маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А между комнатами, коридорами, закоулками, площадками — какие шли скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми ступеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было — не то пахло чабрецом, сорванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя. Как все-таки мало знаем мы о них и как порою равнодушны к ним и даже насмешливы: подумаешь, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься ты на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери, — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: «Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство!» — вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, — а был он десантником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!

Так, разговаривая о том, о сем, свернули мы с тобой на едва светлевшую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснушке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув несколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших листьев, я решил закурить — и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взяться за твою нежную ладошку и повернуть назад, к дому — тебя не было возле меня!

— Алеша! — позвал я.

Ты не отозвался.

И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался, когда тебя звали!

Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по которой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опята и оглядываясь временами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не подбежал ко мне — ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебывающемся крике, а я тебя уже не услышу!

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я выезжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе дверцу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким маленьким, что, когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колес:

— Ждаль-ждаль!..

И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машину по стволам деревьев или по своим рукавам и уходя все дальше от меня, ты в воображении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок загадочно горит — до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушел. Потом зажег спичку, и, загородив ее ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег еще, пошел в другую... После невер-

ного, колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы еще темнее.

— Алешка! Иди сейчас же ко мне! — звал я тебя то ласково, то строго.

Шумел поверху лес...

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечки зажжем... — жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня, пожалуйста, к выключателю!» — бывало, просил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, щелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал: «Лампочка голи-ит!»

Но и выключатели и свечки не подействовали — ты не откликался.

Тогда мне счастливо пришло в грлову последнее средство, и я оживленно-фальшивым голосом громко воскликнул:

— А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть такая автомашина! Скорей!

И тотчас зашуршали по листве твои торопливые шаги, и ты подбежал ко мне. Острое же зрение было у тебя!

— Хочешь такую машину! — с торопливой готовностью к новому счастью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.

— Никаких тебе машин! — страдальчески, даже злобно закричал я в ответ и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится мое сердце. — Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты не откликаться, когда папа тебя зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машину ты не получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго потом пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!

Домой пришли мы обиженные друг на друга.

— И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше никогда не пойдем! — выговаривал я тебе дорогой. — И вообще, не будь ты такой маленький, я бы

тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. Придя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так долго смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, как бы приобщаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, заранее зная, *что* я скажу:

— Алеша, ну зачем ты это делаешь?

Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» — и ты вздыхал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь препятствие:

— Ждаль-ждаль!

Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать — ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и вопрошения исходил от тебя, и сердце мое забилось.

— Ну-ну, милый, ладно! — сказал я. — Иди ко мне...

А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Хочешь! — тотчас звонко сказал ты.

— Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?

Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четвереньки, потом сел, повернулся ко мне

лицом и — уже придвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робко еще — не раздумал ли я? — взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками и, уже доверчиво, сообщнически глядя на меня, засмеялся своим непрерывно льющимся, закатывающимся смехом, который бывает только у таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепещет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, так же как ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково принадлежащая нам ярко-красная пожарная машина с тонким своим жужжанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой — но ты сидел! — и уже не пускал автомобильчик, а медленно катал его, выделывая самые прихотливые повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вытянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворотами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя ею,— только нежно и обожающе произносил иногда своим свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половицу:

— Ждаль-ждаль!

И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!

Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось ни звука, но я знал, что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник — мне подарили его в Германии. А представлял он из

себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, — с круглым животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе.

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: «Тук! Тук! Тук!» — тотчас услышал стремительный шорох, — ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:

— Све-е-ечечка!

Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» — подумал я и сказал:

— Ну! Давай!

— Это... это... — заторопился ты, трогая пальцем подставку, — подсвечничек!

— Так. Дальше?

— Это животик...

— Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!

— Знаешь, знаешь! — заспешил ты, торопясь поскорее добраться до главного. — Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже животик... Потом головка... шапочка...

— Опять пропустил! — напомнил я.

— Щечки, носик... — спохватился ты. — Потом шапочка, а это... это... — запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, — это — такая штучка...

И вот наконец главное!

— Све-е-ечечка го-ли-и-ит! — с упоением протянул ты.

— Ну вот, — весело сказал я. — Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и — бай-бай, — хорошо?

Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоем промельк-

нула некая таинственная тень, будто хотел ты остановить мгновенье, потом лицо твое опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.

Перекрестив тебя и укрыв одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, — хоть кругом на сотни километров были глухие леса! — а угнетало то, что все было мокро, под ногами чавкало и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это — костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, — я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...

И вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.

Гагра, декабрь 1973 г.



Был один из тех летних теплых дней...

Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты конечно же не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелил-

ся ночью? И валил ли снег еще с вечера или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради Бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам, — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было пе-

чально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

...Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный щелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцеве со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне — или наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло *это*! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих ство-

лов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И — зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужна для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, — Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути,

правда отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порыкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки лаково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели...

Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твое желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня, но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, теплый запах разогретых на солнце лугов.

— Але-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.

— Бегут по до’ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок...

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького березового леска, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, щурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого краю он?» — «Вижу!» — отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе, за то что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш со-

сед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонными куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснушка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровяными каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толклась мошкара, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими, длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему все вперед, не собираемся ли мы поворотить назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!

Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вдохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох

вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.

— Ежик... — сказал ты и тронул его палкой.

Ежик фыркнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.

— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое и живое, хоть лицо твое было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, — но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твое трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты

знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твое приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования, — плакал ли ты, или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, — не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея березы... Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку, — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, — мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои «ва-ва-ва», и «ля-ля-ля», и «ю-ю-ю», и «уип-тип-уип» означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали и укладывали в кровать, — ты не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

— Кака-ая бо'ша-ая, к'аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным тоном, будто видел ее впервые: «Кака-ая ба-аш-ня!»,

потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой ее колонны. Затем ты перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омуток же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у самой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— П’авают ‘ыбки... — сообщил ты мне через минуту.

— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки...

— Майки... — радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камешки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окруженный волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, и взял еще камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаешь или пойдем дальше?

— Пойдем дайше, — решил ты.

Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень таволги. Белые шапки ее, казалось, плавились на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься – сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались, уже по лугу, все выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянущий запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял его обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель – земля радонежская, тихое удельное княжество

Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменилась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему и глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишащих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу и камешки на дне ее, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубовато-серебристой изморозью, и, как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, — этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда.

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер, привычки, научился говорить, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь – все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как увидев что-то, вовсе даже не яркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом – и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. Помоему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким — не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл. Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что Царствие Божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокла. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел, кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, гладя твои волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: «Ну, что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуху и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все прошло... Кто это там идет, не мама ли? — я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою, висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

— Куинчи-ик...

Ты не потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ложкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, — теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоем глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...

А было тебе в то лето полтора года.

1977

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЛОТОЕ ПЕРО РОССИИ

Литературно-художественное издание

КАЗАКОВ Юрий Павлович

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Рассказы

Редактор **В. А. Серганова**
Художественный редактор **В. В. Покатов**
Технический редактор **В. И. Тушева**
Корректоры **О. И. Голева, И. И. Попова**

Издание подготовлено к печати по автоматизированной редакционно-издательской технологии на персональных ЭВМ
Операторы: **Г. П. Аблизина, Е. А. Аристархова, Н. И. Меламед**

ЛР № 010006
28.10.1996 г.

Сдано в набор 15.05.2000. Подписано к печати 22.06.2000. Формат 84×108 1/32. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 23,48. Тираж 4500 экз. Заказ № 4410.

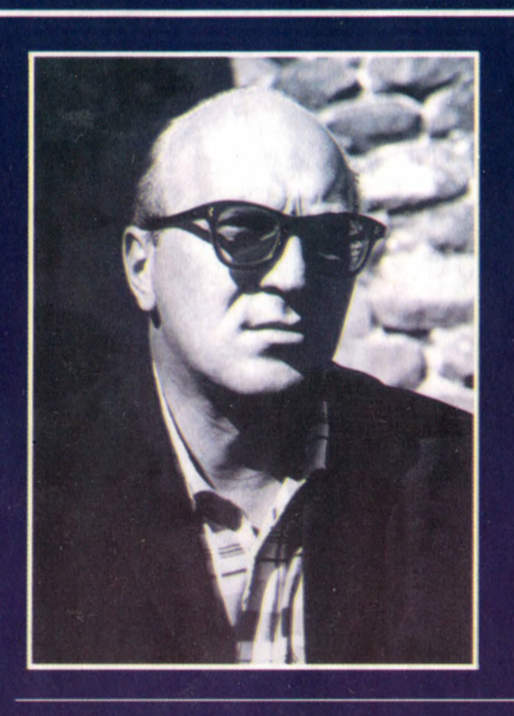
Издательство «Современник»
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Факс 941-35-44
Тел. 941-36-69 (приобретение тиража)
941-29-31 (киоск)

Книжная фабрика № 1 Комитета РФ по печати
140003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25

ISBN 5-270-01312-6



ЗОЛОТОЕ ПЕРО РОССИИ



Юрий Павлович Казаков (1927—1982) родился и жил в Москве. Окончил Гнесинское музыкальное училище (1952) и Литературный институт (1958). Писатель-новеллист, чьи произведения переведены на многие языки мира. В 1970 году в Италии удостоен медали и премии Данте. Автор сборников рассказов «На полустанке», «По дороге»,«Голубое и зеленое», «Двое в декабре», «Запах хлеба», «Осень в дубовых лесах», «Поедемте в Лопшеньгу», «Две ночи» «Плачу и рыдаю...», очерковой книги «Северный дневник», многих книг для детей.